

Annotation

Англичанка Сара Дюнан известна в России как автор детективов из современной британской жизни: среди них вышедшие в «Иностранке» романы «Ножом по сердцу», «Родимые пятна», «На грани». На сей раз она выступает в неожиданном амплуа автора захватывающего исторического романа и погружает читателя в атмосферу политической и религиозной борьбы во Флоренции XV века.

Флорентийское государство охвачено смутой: власть ускользает из рук семьи Медичи, с севера надвигаются войска французского короля, пламенный проповедник Савонарола громит пороки горожан, а тут еще на улицах города снова и снова обнаруживаются трупы, изуродованные загадочным убийцей. Бурные события вовлекли в свой водоворот юную Алессандру Чекки, смысл жизни которой заключался до сих пор лишь в живописи – и одном живописце. Теперь же Алессандре предстоит пережить и разлуку с любимым, и ненавистное замужество, и гибель близких. И раскрыть тайну уличных убийств доведется тоже ей.

-
- [Сара Дюнан](#)
 - [Пролог](#)
 - [Завещание сестры Лукреции](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)

- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [Завещание сестры Лукреции](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
- [Завещание сестры Лукреции](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
- [Завещание сестры Лукреции](#)
 - [47](#)

- [48](#)
 - [49](#)
 - [Эпилог](#)
 - [От автора](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
-

Сара Дюнан
Рождение Венеры

Пролог

При жизни никто не видел ее обнаженной. Согласно правилам ордена сестрам не подобало взирать на человеческую плоть – ни на свою собственную, ни на чужую. В уставе подробно оговаривалось, как себя вести, чтобы не нарушить этого запрета. Под колышущимися складками ряса каждая монахиня носила длинную холщовую рубашку, и эта нижняя одежда оставалась на них всегда – даже когда они мылись, – служа, таким образом, ширмой и отчасти полотенцем, а также ночной сорочкой. Эту сорочку монахини меняли раз в месяц (летом, когда в душном тосканском воздухе тела обливаются потом, – чаще), и на сей счет существовали тщательно разработанные предписания: разоблачаясь, они не должны сводить глаз с распятия, висящего над кроватью. Если кто-нибудь, забывшись, позволит взгляду опуститься на собственное тело, то подобный грех становится достоянием исповедали, но отнюдь не истории. Ходили слухи, что, когда сестра Лукреция только вступила в монастырские стены, она принесла с собой не только благочестие, но и некоторую суетность (среди ее приношений церкви был, поговаривали, пышно изукрашенный свадебный сундук, заполненный книгами и рисунками, достойными внимания Стражи Нравов). Но в ту давнюю пору многие сестры были склонны к излишествам и даже роскоши; это уже после реформирования монастыря правила ужесточились. Ни одна из нынешних насельниц обители уже не помнила тех времен, кроме достопочтенной матушки настоятельницы, которая стала невестой Христовой об ту же пору, что и Лукреция, но давно уже отвратилась от всяких мирских соблазнов. Что до самой сестры Лукреции, то она никогда не говорила о своем прошлом. А в последние годы вообще почти совсем не разговаривала. В ее благочестии сомневаться не приходилось. А когда стан ее согнулся, а суставы одеревенели от старости, то благочестие ее украсилось также скромностью. Что, пожалуй, естественно. Даже прельстись она суетой, где бы ей увидеть свое отражение? В монастырских стенах ныне нет ни единого зеркала, окна лишены стекол, и даже посреди рыбного садка устроен фонтан, который разбрызгивает вокруг себя бесконечный ливень капель, исключая всякую возможность полюбоваться собственным

отражением. Разумеется, внутри даже самого праведного ордена неизбежны небольшие прегрешения, и бывало иной раз такое, что кое-кого из послушниц посмекалистее застигали за тем, что они украдкой разглядывали себя в зрачках своих наставниц. Но изображения эти большей частью вскоре тускнели – по мере того, как все ближе и отчетливее представал и тем и другим лик Господень.

Сестра Лукреция, похоже, уже несколько лет ни на кого не подымала взгляда. Напротив, она все больше времени проводила в молитвах в своей келье, и глаза ее затуманивала старость и любовь к Богу. Недуг ее усугублялся, и, освобожденную от тяжких послушаний, ее можно было застать в садах или на огороде, где она выращивала лекарственные травы. За неделю до смерти она была замечена там молодой послушницей, сестрой Кармиллой, которая очень встревожилась, увидев, что престарелая монахиня не сидит на скамье, а лежит, вытянувшись, на голой земле, – опухоль выпирает из-под одеяния, плат сорван с головы, а лицо подставлено лучам предвечернего солнца. Подобное считалось вопиющим нарушением монастырских правил, но в ту пору недуг уже так глубоко укоренился в теле сестры Лукреции и ее страдания стали столь очевидны, что достопочтенная мать настоятельница не нашла в себе сил укорить бедняжку. Позже, когда настоятельница удалилась, а сестру Лукрецию унесли, Кармилла принялась сплетничать громким шепотом, эхом разносившимся по трапезной: мол, непослушные волосы монахини, высвободившись из-под плата, серебряным нимбом сияли вокруг ее головы, а лицо озаряло счастье; вот только улыбка, игравшая у нее на губах, была скорее торжествующей, нежели умиротворенной.

В ее последнюю неделю, когда боль захлестывала сестру все более мощными волнами, стремясь утянуть за собой, в коридоре возле ее кельи запахло смертью, он заполнился зловонием плоти, словно разлагавшейся заживо. Опухоль к тому времени так разрослась, что не давала сестре сидеть. Приводили церковных врачей, приглашали даже одного доктора из Флоренции (обнажать тело дозволялось, если того требовало облегчение страданий), но она отказалась их видеть и никому не позволила облегчить свои муки.

Опухоль по-прежнему была скрыта от глаз. Стояло лето, и в ту пору монастырь будто варился в кипятке днем и изнывал от зноя ночью, но сестра Лукреция по-прежнему лежала под одеялом в полном

облечении. Никто не знал, как давно недуг разъедал ее плоть. Монашеские одеяния нарочно кроились так, что под ними совершенно невозможно было угадать изгибы и выпуклости женского тела. Пятью годами раньше, к величайшему поношению, какое только выпадало монастырю со времен прежних беспутных дней, четырнадцатилетняя послушница из Сиены скрыла девять месяцев тягости так успешно, что ее раскусили, лишь когда сестра кухарка наткнулась на остатки последа в углу винного погреба и, испугавшись, уж не внутренности ли это какого-нибудь полусожранного животного, стала обшаривать помещение, пока не обнаружила на дне бочки с вином для причастия крошечное распухшее тельце, придавленное мешком муки. Самой юницы и след простыл.

Месяцем ранее, после своего первого обморока на заутрене, сестра Лукреция призналась, что некоторое время тому назад в ее левой груди поселилась опухоль, которая, словно маленький вулкан, мучит ее тело, отдаваясь в нем злобными толчками. Но с самого начала она твердо заявила, что никакого вмешательства не требуется. После беседы с матушкой настоятельницей, из-за которой та опоздала на вечерню, этой темы более не касались. В конце концов, смерть есть лишь вежа на долгом пути, и в доме Божиим ее ждут не со страхом, а с надеждой.

В последние часы сестра обезумела от боли и жара. Сильнейшие травяные отвары не приносили ей ни малейшего облегчения. Если прежде она сносила страдания со стойкостью, то теперь ревела всю ночь, будто зверь, и от этого отчаянного воя в страхе пробуждались молодые монахини в соседних кельях. Сквозь вой иногда прорывались слова – то стремительным стаккато, то глухим шепотом, будто строки какой-то яростной молитвы; латынь, греческий и тосканское наречие сливались в единый и неразделимый поток.

Наконец, Господь прибрал ее однажды утром, на заре очередного нестерпимо знойного дня. Священник, причастив ее святых тайн, ушел. С умирающей осталась одна из сестер сиделок, которая потом рассказывала, что в миг, когда душа отлетела от тела Лукреции, лицо ее чудесным образом преобразилось, морщины, прорезанные болью, исчезли, кожа сделалась совсем гладкой и почти прозрачной – тень той нежной молодой монашенки, которая впервые вошла в монастырские ворота тридцать лет назад.

О смерти было объявлено на заутрене. Из-за жары (зной в последние дни стоял такой, что сливочное масло на кухне растекалось лужей) сочли за лучшее предать тело земле в тот же день. Монастырский обычай предписывал, чтобы каждая почившая сестра покидала грешную землю не только с незапятнанной душой, но и с чистым телом, к тому же облаченным в сверкавшую белизной новую одежду – свадебное платье для невесты, соединившейся со своим Небесным Женихом. Обряжала усопших сестра Магдалина, ведавшая аптекой и раздачей снадобий (ей было дано особое позволение видеть обнаженное тело в таких скорбно-торжественных случаях); помогала одной монахиня помоложе, сестра Мария, которой со временем предстояло взять на себя это послушание. Они вместе обмывали и облачали тело, а затем помещали в часовню, где ему предстояло пролежать еще день, дабы остальные монахини, приходя туда, могли воздать покойной последнюю дань. Однако на сей раз труды сестер не понадобились. Как выяснилось, сестра Лукреция перед смертью сделала особое распоряжение, попросив не прикасаться к ее телу и похоронить ее в той самой одежде, в которой она все эти годы служила Господу. Просьба такая была, мягко говоря, необычной (среди сестер даже начались разговоры, нельзя ли истолковать ее как непослушание), но мать настоятельница дала на это свое согласие и пресекла бы все кривотолки, если бы не полученное в то же утро известие о вспышке чумы в ближайшем селении.

От деревушки Лоро-Чуфенна монастырь отделяло расстояние в один переход быстроногого коня, однако чума могла потягаться в резвости с иным скакуном. Первый знак явился, очевидно, тремя днями раньше, когда крестьянский мальчишка слег в жару и по всему его телу высыпали язвы, немедленно наполнившиеся гноем и причинявшие жгучую боль. Через два дня он умер. К тому времени зараза уже перекинулась на его младшего брата и на пекаря, жившего неподалеку. Стало известно, что умерший паренек побывал в монастыре за неделю до того: он относил туда муку и овощи. Вот и решили, что дьявольская напасть пришла оттуда и что почившая сестра ею заразилась. Хотя у матери настоятельницы не было времени вникать в невежественные сплетни, а вычислить скорость распространения заразы она могла бы не хуже остальных, в круг ее обязанностей входило поддерживать добрые отношения с деревней, от

которой монастырь во многом зависел; к тому же нельзя было отрицать, что сестра Лукреция скончалась не только в муках, но и в лихорадке. Если она действительно заразилась, то согласно широко бытующему поверью чума будет еще долго жить в ее одежде, а потом, просочившись сквозь землю, выйдет наружу из могилы и снова начнет косить народ. Достопочтенная матушка, памятуя о восьми сестрах, коих монастырь лишился во время предыдущего поветрия несколько лет тому назад, и о том, что заботиться надлежит не только о добром имени обители, но и о своих подопечных, скрепя сердце нарушила предсмертную волю Лукреции и распорядилась, чтобы снятую с ее тела одежду предали огню, а самое тело омыли и вслед за тем без промедления погребли в освященной земле.

Тело сестры Лукреции лежало на постели, уже скованное смертным оцепенением. Обе сестры поспешно взялись за работу, надев садовые рукавицы – единственное средство защиты от заразы, каким располагал монастырь. Они откололи плат и сдернули ткань с шеи. Пропитавшиеся потом волосы усопшей монахини прилипли к голове, но лицо осталось просветленно-безмятежным, совсем как в тот день в огороде. Они расстегнули облачение у плеч и, разрезав его спереди, совлекли прочь ткань, от смертного пота спекшуюся в корку. Особенно осторожно стали действовать они, дойдя до места опухоли, где верхнее платье и нательная сорочка плотно приклеились к груди. Во время болезни прикосновение к этой части тела причиняло Лукреции такое страдание, что сестры, встречаясь с нею в монастырской галерее, сторонились, чтобы случайно не задеть ее и не исторгнуть из ее уст крик боли. И как странно казалось, что она молчит, когда бесцеремонно дергают этот заскорузлый ком ткани и плоти размером с маленькую дыню, студенисто-мягкую на ощупь. Ткань прилипла и никак не поддавалась. Наконец сестра Магдалина, в чьих костлявых пальцах, несмотря на возраст, таилась недюжинная сила, рванула как следует, и ткань оторвалась от тела, потянув за собой нечто, напоминавшее самое опухоль.

Старая монахиня ахнула от изумления, ощутив в своей одетой в рукавицу руке кусок мягкой плоти. Когда она снова взглянула на тело, то удивилась еще больше. В том месте, где была опухоль, кожа исцелилась: там не осталось ни раны, ни крови, ни гноя, никаких признаков язвы или нарыва. Роковой недуг сестры Лукреции оставил

ее тело невредимым. Поистине это было чудо. И если бы не нестерпимый смрад, заполнивший маленькую келью, то обе монахини упали бы на колени, восхваляя великодушные Господне. Но с отпадением опухоли смрад, как им показалось, только усилился. И потому все их внимание обратилось на самую эту пагубу.

Отделившись от тела, она лежала теперь в руке сестры Магдалины – бесформенный мягкий мешочек, из которого с одного боку сочилась черная жижа, как от гниющих потрохов. Неужели внутренности благочестивой сестры каким-то непостижимым образом покинули ее тело и оказались в опухоли? Магдалина подавила тихий стон. Мешочек выскользнул из ее пальцев и шлепнулся на каменный пол, лопнув от удара, из него во все стороны разлетелись брызги черной свернувшейся крови. Теперь в этом месиве можно было разглядеть какие-то узнаваемые очертания: черные витки и кровавые комки, кишки, печенька – и в самом деле потроха. Хотя миновало много лет с тех пор, как старшая из сестер несла послушание на кухне, она перевидала за свой век достаточно рассеченных туш, чтобы с первого взгляда распознать, чьи перед ней останки – человека или животного.

Достопочтенная сестра Лукреция скончалась, судя по всему, не от опухоли, а от пузыря со свиной требухой, прикрепленного ею к собственному телу.

Одно это повергало в оторопь, не говоря обо всем остальном. Мария первой заметила еще кое-что необычное – вьющуюся серебристую полоску на коже покойницы, начинающуюся на плече, тоненькую, но делающуюся шире возле ключицы. Далее полоска уходила вниз, исчезая под тем, что еще оставалось от нижней сорочки. На этот раз молодая монахиня сама взялась за дело: разрешила рубашку на груди и одним рывком содрала ее с тела, полностью обнажив его.

Поначалу они никак не могли взять в толк, что за картина перед ними открылась. Кожа обнаженной Лукреции была белой – совсем как у мраморной Мадонны в боковом алтаре часовни. Тело ее состарилось, мышцы живота и груди стали дряблыми, однако почти не обросли жиром, и потому изображение ничуть не расплылось, не утратило изначальных пропорций. Расширявшаяся возле ключицы линия, опускаясь ниже, обретала все больше зримости и телесности, перерастала в тело серебристо-зеленой змеи, нарисованной настолько правдоподобно, что, глядя, как она вьется по груди, можно было

поклестся, что видишь шевеление змеиных мускулов, рябью пробегающее под кожей. Дойдя до правого соска, змея обвивалась кольцом вокруг темной ареолы, а потом скользила ниже и тянулась по животу. Затем, ныряя к паху, змеиное тело суживалось, готовясь перейти в голову. Годы не пощадили некогда густую чащу на лобке, оставив там только редкие завитки волос. И потому то, что прежде открылось бы лишь при настойчивом поиске, теперь просматривалось без труда. Там, где тело змеи переходило в голову, вместо черепа гада проглядывали гораздо более мягкие, округлые очертания: это было лицо человека, мужчины. Голова запрокинута, глаза восторженно прикрыты, а язык – длинный, как у змеи, – высовывался из уст и устремлялся вниз, к самому лону сестры Лукреции.

Завещание сестры Лукреции
Монастырь Санта Вителла, Лоро-
Чуфенна, Август 1528
Часть первая

I

Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что той весной, когда мой отец привез к нам с Севера молодого художника, им двигала скорее гордыня, чем доброта. Часовня в нашем палаццо была достроена, и вот уже несколько месяцев отец искал подходящие руки, дабы украсить фресками алтарную часть. Нельзя сказать, чтобы Флоренция испытывала недостаток в собственных художниках. Город был буквально пропитан запахом краски, всюду слышался скрип перьев, подписывающих договоры. Порой по улицам нельзя было пройти, не рискуя угодить в ров или яму, оставшуюся от нескончаемой стройки. Все и каждый, у кого водились деньги, спешили прославить Бога и Республику, покровительствуя искусствам. То, что уже сейчас называют, как я слышу, Золотым Веком, тогда было просто модой. Но меня, совсем юную в ту пору, как многих других, ослепляло это пиршество.

Особенно хороши были церкви. Бог присутствовал в самой штукатурке, покрывающей стены и с готовностью ожидающей фресок – в них евангельские истории обретали плоть для всякого, имеющего глаза, чтобы видеть. Однако те, кто смотрел, видели там и еще кое-что. Да, наш Господь жил и вершил чудеса в Галилее, но его жизнь и деяния заново воссоздавались в городе Флоренции. Архангел Гавриил приносил благую весть Марии под арками галереи Брунеллески; трое Царей-Волхвов шествовали со своей свитой по тосканским просторам; грешники и больные носили флорентийское платье, а чудеса Христовы разворачивались в наших городских стенах, и в толпах их очевидцев мелькали знакомые лица: целые сонмы знатных горожан с мясистыми подбородками и крупными носами взирали с фресок на своих двойников из плоти и крови, занимавших первые ряды церковных скамей.

Мне было почти десять лет, когда Доменико Гирландайо закончил свои фрески, заказанные семейством Торнабуони, в центральной капелле церкви Санта Мария Новелла. Я прекрасно запомнила это благодаря словам моей матери. «Запомни хорошенько этот миг, Алессандра, – сказала мне она. – Эти росписи принесут великую славу нашему городу». И все, кто их видел, были такого же мнения.

Состояние моего отца поднималось на пару от красильных чанов, что стояли на задворках монастыря Санта Кроче. Запах кошенили до сих пор вызывает у меня воспоминания о том, как он возвращался домой со склада в одежде, впитавшей прах раздавленных насекомых из чужедальных краев. К тому времени, когда у нас поселился художник, к 1492 году (я так хорошо помню дату, потому что в то лето как раз умер Лоренцо Медичи),^[1] страсть флорентийцев к пышным тканям уже сделала нас богачами. Наше недавно построенное палаццо располагалось в восточной части города, между огромным собором Санта Мария дель Фьоре и церковью Сант Амброджо. Он возвышался своими четырьмя этажами над двумя внутренними двориками, вмещавшими маленький сад; в нижнем этаже располагалась отцова лавка. Наружные стены палаццо украшал наш герб, и хотя изысканный вкус моей матери обуздывал жажду роскоши, обычно сопровождающую недавно нажитые деньги, все мы понимали, что пройдет немного времени и мы тоже будем позировать для картин на евангельские темы, пускай и предназначенных лишь для наших собственных глаз.

Ночь, когда прибыл художник, врезалась в мою память четкой гравюрой. Зима. Каменные балюстрады покрыты тонким слоем изморози. Мы с сестрой, обе в ночных сорочках, сталкиваемся на лестнице и свешиваемся через перила, чтобы посмотреть, как на главный двор въедут отцовские лошади. Поздно; весь дом уже спал, но приезд отца – весомый повод для ликования, и не только по причине его благополучного возвращения, а еще и потому, что среди коробов с образцами всегда припрятаны особые ткани – подарки для всех членов семьи. Плаутилла вне себя от нетерпения: понятно, ведь она обручена и думает теперь только о своем приданом. Что до моих братьев, то заметно как раз их отсутствие. Несмотря на доброе имя и прекрасные ткани нашего семейства, Томмазо и Лука ведут образ жизни, подобающий скорее одичалым котам, нежели горожанам: днем спят, а ночью выходят на охоту. Наша служанка Эрила, разносчица всяческих сплетен, говорит, что это из-за них добропорядочным женщинам не следует показываться на улицах после наступления темноты. Как бы то ни было, когда отец обнаружит, что их нет дома, разразится гроза.

Но это будет потом. А пока все мы заморожены чудесным мигом. Темноту рассеивают пылающие факелы; конюхи успокаивают фыркающих лошадей, и пар из конских ноздрей поднимается в морозном воздухе. Отец уже спешил; его запыленное лицо круглится в улыбке как купол; вот он уже устремился к нам наверх, потом поворачивается к моей матери, которая спускается по лестнице ему навстречу в красном бархатном платье, тесно перехваченном на груди, с распущенными волосами, струящимися по спине как золотая река. Всюду шум, свет и сладкое ощущение покоя; впрочем, спокойны не все. Верхом на последней лошади сидит худощавый молодой человек, плотно закутанный в плащ, – ни дать ни взять штука ткани; похоже, он вот-вот свалится с седла от холода и дорожной усталости.

Я помню, как конюх подошел к нему, чтобы взять поводья, – он, вздрогнув, очнулся и снова натянул их, словно боясь нападения, так что моему отцу пришлось подойти к нему и успокоить. Я была тогда слишком поглощена своими ощущениями, чтобы догадаться, как ему тут неуютно. Я еще не слыхала о том, как не похож на наши края Север, как тамошнее солнце, пробиваясь сквозь водянистый туман, преображает все вокруг – от света, разлитого в воздухе, до света, таящегося в человеческой душе. Разумеется, я и не подозревала тогда, что он художник. Для меня он был всего лишь очередной слуга. Но мой отец с самого начала обходился с ним очень заботливо: говорил с ним негромко, помог сойти с лошади и проводил в отведенную ему комнату, выходящую на задний двор.

Позже, уже распаковывая фламандские гобелены для матери и разворачивая рулоны белоснежного батистового шитья для нас («Женщины Ренна рано слепнут, трудясь ради красоты моих дочерей»), отец рассказывает нам о том, как разыскал его – сироту, росшего в монастыре на берегу северного моря, где вода угрожает суше. Его дарование рисовальщика превосходило религиозное рвение, и потому монахи отдали его в обучение к мастеру, а по возвращении юноша в знак благодарности расписал не только собственную келью, но и кельи всех остальных монахов. Именно эти росписи и произвели на моего отца такое впечатление, что он сразу же решил предложить художнику работу – создать фрески для нашей часовни. Впрочем, следует заметить, отец мой, хоть в тканях разбирался превосходно, отнюдь не был великим знатоком искусства и, подозреваю, на сей раз

руководствовался выгодой: он всегда чуял дешевизну. А сам художник? Ну, как сказал мой отец – в монастыре для него больше не осталось нерасписанных келий, а слава Флоренции, этого нового Рима или новых Афин наших дней, без сомнений, пробудила в нем желание увидеть ее собственными глазами.

Вот как вышло, что у нас поселился художник.

На следующее утро мы отправились в церковь Сантиссима Аннунциата, чтобы возблагодарить Господа за благополучное возвращение отца домой. Она находится по соседству с Ospedale della Innocenti – приютом для подкидышей, куда молодые женщины относили своих незаконных чад. Ребенка клали на колесо, откуда потом его забирали монахини. Когда мы проходим мимо этого колеса, беспрестанно поворачивающегося внутрь стены, мне мерещатся крики младенцев, но отец замечает, что наш город – образец великого милосердия, ибо на диком Севере есть места, где трупы новорожденных валяются на мусорных кучах или плавают вместе с другими отбросами в реках и канавах.

Мы сидим все вместе на скамьях в середине церкви. Над головами у нас висят маленькие резные корабли – приношения тех, кто спасся в кораблекрушении. Моему отцу однажды тоже довелось пережить кораблекрушение, но в ту пору он еще не был настолько богат, чтобы заказать подобное пожертвование для церкви, а в этом последнем плавании он лишь страдал от морской болезни. Отец с матерью сидят прямо, вытянувшись в струнку, – рядом с ними ощущаешь, что все их помыслы обращены к безграничной милости Божией. Мы, дети, далеки от благоговения. Ветреная Плаутилла по-прежнему поглощена мыслями о подарках, а у Томмазо и Луки такой вид, как будто они с удовольствием бы сейчас завалились в постель, хотя страх перед отцом и заставляет их быть начеку.

Когда мы возвращаемся домой, там все уже пропиталось запахами праздничного угощения: по лестнице из верхней кухни вниз, во дворик, катятся клубы вкусных ароматов жареного мяса и пряных подлив. Мы садимся за стол, когда гаснущий день перетекает в вечер. Вначале мы благодарим Господа, а потом приступаем к яствам: за вареным каплуном, жареным фазаном, форелью и свежими *пастами* следует шафранный десерт со сливочным кремом и корочкой из карамели. Все ведут себя на удивление чинно. Даже Лука держит

вилку, хотя у него так руки и чешутся схватить ломоть хлеба и макнуть его в соус.

Я уже изнемогаю от нетерпения при мысли о новом госте, поселившемся в нашем доме. Фламандскими художниками во Флоренции восхищаются за их точность и нежную одухотворенность.

– Значит, он напишет портреты со всех нас, отец. Мы все будем ему позировать, правда?

– Конечно. Отчасти для этого он и приехал. Надеюсь, он увековечит свадебные торжества твоей сестры.

– Значит, сначала он будет рисовать меня! – Плаутилла так обрадовалась, что даже выронила изо рта на скатерть кусок сладкого пирога. – Потом Томмазо, он же старший, затем Луку, а потом Алессандру. Боже мой, Алессандра, ты к тому времени успеешь еще вырасти!

Лука отрывает взгляд от тарелки и расплывается в широкой ухмылке, будто услышал остроумнейшую шутку. Но я только что из церкви и потому исполнена христианского милосердия ко всему моему семейству:

– Хорошо, если он не станет с этим слишком затягивать. Я слышала, одна из невесток в семье Торнабуони умерла родами к тому времени, когда Гирландайо снял покров с ее лица на фреске.

– Этого можешь не опасаться. Ты сначала себе мужа найди, – шепчет сидящий рядом со мной Томмазо так тихо, чтобы оскорбление слышала только я.

– Что ты сказал, Томмазо? – тихим, но строгим голосом спрашивает мать.

Он придает своему лицу самое ангельское выражение.

– Я сказал: «Меня мучит жажда». Передай мне бутылку с вином, милая сестрица.

– С удовольствием, братец. – Я берусь за бутылку, но та, приближаясь к Томмазо, вдруг выскальзывает из моих пальцев и, падая, забрызгивает его новенький плащ.

– Ах, матушка! – вскрикивает он. – Она нарочно!

– Неправда! Она...

– Дети... дети... ваш отец устал, а вы оба чересчур шумите. Слово «дети» действует на Томмазо, и он, насупившись, замолкает. В наступившей тишине чавканье Луки, который ест, не закрывая рта,

кажется оглушительным. Мать нетерпеливо ерзает на стуле. Наши манеры явно ее раздражают. И если укротитель львов в городском зверинце прибегает к кнуту, добиваясь их послушания, то наша мать довела до совершенства свой Взгляд. Теперь она применяет это оружие к Луке, хотя тот настолько поглощен едой, что сегодня мне приходится под столом пнуть его ногой, чтобы завладеть его вниманием. Мы – дело ее жизни, ее дети, и над нами приходится неустанно трудиться.

– И все же, – продолжаю я, когда мне кажется, что можно возобновить разговор, – мне не терпится с ним познакомиться. Ах, отец, он, наверное, так благодарен тебе за то, что ты привез его сюда. И мы все тоже. На нас, как на добрых христианах, лежит почетный долг позаботиться о нем и сделать так, чтобы он чувствовал себя как дома в нашем великом городе.

Отец хмурится и обменивается быстрым взглядом с матерью. Он долго отсутствовал и, наверное, позабыл, что его младшая дочь привыкла прямодушно выкладывать все, что у нее на уме.

– Думаю, он вполне способен сам о себе позаботиться, Алессандра, – произносит он твердо.

Я улавливаю предостережение в его голосе, но меня уже не остановить: слишком многое на кону. Я набираю в грудь побольше воздуха.

– Я слышала, Лоренцо Великолепный так высоко ценит художника Боттичелли, что тот обедает за одним столом с ним.

Маленькая ослепительная пауза. На этот раз Взгляд осаживает меня. Я опускаю глаза и снова гляжу в тарелку. Рядом со мной торжественно усмехается Томмазо.

И все же это правда. Сандро Боттичелли действительно сидит за одним столом с Лоренцо Медичи. А скульптор Донателло имел обыкновение расхаживать по городу в алом плаще, пожалованном ему за великие заслуги перед Республикой дедом Лоренцо, Козимо. Мать часто рассказывала мне, как она, еще юной девушкой, видела его и как все приветствовали его, как люди расступались перед ним – хотя, возможно, причиной тому был не только его талант, но и вспыльчивый нрав. Однако печальная правда заключалась в том, что, сколь ни изобиловала Флоренция живописцами, я ни с одним из них не была знакома. Даже при том, что в нашей семье не было таких строгостей,

как в некоторых других, все равно для незамужней дочери почти не существовало возможности оказаться в обществе мужчин – любых, не говоря уж о ремесленниках. Разумеется, это не мешало мне общаться с ними мысленно. Всем известно, что в городе немало мастерских художников. Сам великий Лоренцо основал одну такую мастерскую и заполнил ее помещения и сады скульптурами и картинами из своего собственного знаменитого собрания. Я представляла себе здание, залитое светом и заполненное запахом разноцветных красок, вкусным, как пар над супом; и пространство этого здания казалось бесконечным, как воображение самих художников.

Мои собственные рисунки были скромны: пока я лишь старательно процарапывала серебряным карандашом самшитовые дощечки или водила углем по бумаге, когда мне удавалось ее раздобыть. Большинство рисунков я уничтожила, а лучшие припрятаны в надежном месте (мне рано дали понять, что сестрино вышивание крестом удостоится больших похвал, нежели любой из моих набросков). И потому я сама не знаю, способна я к рисованию или нет. Я как Икар без крыльев. Но желание летать во мне только крепнет. Наверное, я всегда ждала своего Дедала.

Как видите, я была тогда совсем юной: мне не стукнуло и пятнадцати. Самые нехитрые математические подсчеты показывают, что зачали меня в пору летнего зноя – неблагоприятную для зачатия ребенка. В доме сплетничали, что мать, будучи мною брюхата, – а в ту пору город был охвачен смутой, последовавшей за заговором Пацци, – стала очевидицей насилия и кровопролития на улице. Однажды я подслушала разговор служанок, которые судачили, что, наверное, оттого-то я такая строптивая. А может, дело в кормилице, к которой меня отправили. По словам Томмазо, всегда неумолимо державшегося правды, если она была неприятной, потом ту женщину привлекли к суду за проституцию, – так что, как знать, что за соки и вождедения я высосала из ее груди. Впрочем, Эрила уверяет, что в нем говорит ревность, что так он мне мстит за тысячу своих унижений во время уроков.

Что бы ни явилось тому причиной, к четырнадцати годам я была необычным ребенком, склонным более к учению и спорам, нежели к послушанию. Мою сестру, которая была старше меня на шестнадцать месяцев и у которой год назад начались месячные, уже просватали за

человека из хорошей семьи, и, несмотря на мою очевидную несговорчивость, уже шли толки о столь же блестящей партии для меня (с ростом нашего богатства возрастали и надежды моего отца на удачное замужество дочерей).

В те недели, что последовали за появлением у нас дома художника, моя мать наблюдала за мной орлиным оком: не спуская с меня глаз, запирала в классной или заставляла вместе с Плаутиллоу заниматься ее свадебным нарядом. А потом мать вызвали во Фьезоле, к сестре, которая только что родила чрезмерно крупного младенца и так страдала от разрывов, что нуждалась в женских советах и помощи. Уезжая, мать оставила мне строжайший наказ: я должна усердно заниматься и в точности выполнять все, чего будут требовать от меня наставники и старшая сестра. А я заверила ее, что так и будет, хотя на деле и не думала подчиняться.

Я уже знала, где его найти. Как в плохой республике, в нашем доме добродетель восхваляется публично, а порок вознаграждается втайне: за мзду всегда можно было разжиться сплетнями. Впрочем, со мной Эрила делилась ими совершенно бескорыстно.

—.. говорят-то только о том, что и говорить не о чем. Никто ничего не знает. Он ни с кем не водится, даже ест у себя. Хотя Мария толкует, будто видела, как он среди ночи по двору расхаживает.

Время послеполуденное. Эрила уже распустила мне волосы и задернула занавески, готовя все для моего сна. Уже уходя, она оборачивается на пороге комнаты и смотрит мне в глаза:

– Мы обе прекрасно знаем, что вам запрещено навещать его, правда?

Я киваю, устремив взгляд на деревянную резьбу изголовья: лепестков у украшающей его розы столько же, сколько у меня в запасе маленьких обманов. Наступает пауза – хочется думать, Эрила сочувствует моему непокорству.

– Через два часа я приду разбудить вас. Приятного отдыха. Я дожидаясь, когда солнце окончательно усыпит весь дом, а потом проскальзываю вниз по лестнице на задний двор. Зной уже раскалил камни, и я вижу, что дверь в его покои распахнута – наверное, для того, чтобы хоть какое-то дуновение ветерка проникало внутрь. Я осторожно ступаю по залитому солнцем двору и тихонько прокрадываюсь к художнику.

Внутри царит мрак, в тонких лучиках дневного света видно кружение пылинок в воздухе. Это унылая комнатка, где только стол со стулом, ряд ведер в углу и приоткрытая дверь, ведущая в еще более тесную спальню. Я распахиваю эту дверь пошире. Там так темно, что уши приносят мне больше пользы, чем глаза. Я слышу его дыхание – глубокое и ровное. Он лежит на тюфяке у стены, вытянув руку поверх разбросанных бумаг. Единственные мужчины, каких я когда-либо видела спящими, – это мои братья, но они грубо храпят. И сама нежность этого дыхания вдруг смущает меня. У меня все внутри сжимается от этого звука, я внезапно чувствую себя здесь лишней, чужой – а ведь это действительно так! Я поворачиваю назад и закрываю дверь.

Теперь, после темноты спальни, наружная комната кажется ярко освещенной. На столе – небрежный ворох бумаг: зарисовки часовни, взятые из чертежей строителей, разорванные и испещренные пометками каменщиков. Сбоку висит деревянное распятие. Работа грубая, но совершенно поразительная: Христос так тяжело свисает с креста, что кажется, чувствуешь вес его тела, держащегося на одних гвоздях. Под распятием – кое-какие наброски, но, едва я их подбираю, моим вниманием завладевает противоположная стена. На ней какой-то рисунок – прямо поверх осыпающейся штукатурки. Две едва намеченные фигуры: слева – гибкий ангел с перистыми крыльями, как дым развевающимися у него за спиной, а против него – Мадонна с неестественно длинным и тонким телом, призрачно парящая в пространстве, не касаясь ногами земли. Я подхожу ближе, чтобы получше рассмотреть. Пол густо усеян свечными огарками в лужицах застывшего воска. Он что – днем спит, а работает по ночам? Может быть, этим объясняется утонченная фигура Марии – ее удлинено мерцающее пламя свечи. Однако ему хватило света на то, чтобы сделать лицо живым. У нее северные черты, а волосы гладко зачесаны назад, обнажая широкий лоб: безупречной формы голова напоминает белое яйцо. Широко раскрытыми глазами Мадонна всматривается в ангела, и я чувствую в ней некое трепетное волнение, какое бывает у ребенка, которому только что преподнесли необычный подарок, а он еще не вполне поверил своему счастью. Хотя, пожалуй, ей и не следовало бы с такой беззастенчивостью глядеть на вестника Божьего – ее радость почти заразительна. Эта картина заставляет меня

вспомнить о моем собственном наброске сцены Благовещения, и я вспыхиваю от стыда при мысли о своей неумелости.

И вдруг голос – скорее рычание, чем слова. Должно быть, художник поднялся с постели совершенно бесшумно, потому что, когда я оборачиваюсь, он стоит на пороге. Что мне запомнилось в первое мгновенье? Тощая долговязая фигура, рубашка смята и разорвана. Над широким лицом – грива всклокоченных темных волос. Он кажется мне выше, чем во время нашей первой встречи, и весь облик его какой-то диковатый; со сна от него пахнет потом. Я-то привыкла жить в доме, где в воздухе витают ароматы розовых и апельсиновых лепестков. А от него несет улицей. Наверное, до того мига я и вправду видела в художниках детей Божиих, и потому полагала, что в них куда больше духовного, нежели плотского.

Оторопь от встречи с художником в его телесном воплощении лишает меня остатков смелости. Он стоит несколько мгновений, щурясь от света, а потом вдруг шаткой походкой направляется ко мне и вырывает листки у меня из руки.

– Как вы смеете? – вскрикиваю я, когда он отталкивает меня в сторону. – Я – дочь вашего покровителя, Паоло Чекки.

Он, похоже, не слышит. Бросается к столу, хватая остальные бумаги и непрерывно бормочет себе под нос:

– *Noli tangere... noli tangere.*^[2]

Ну конечно. Кое о чем отец забыл нам поведать. Ведь наш художник рос среди монахов, и если глаза его по-прежнему трудятся, то уши здесь бездействуют.

– Я ничего не трогала, – восклицаю я в ответ. – Я просто смотрела! А вам, если вы хотите здесь прижиться, следовало бы выучиться нашему языку. Латынь – язык священников и ученых, а не живописцев.

Мое возмущение – или напор моей беглой латыни – заставляет его замолчать. Он застывает, дрожа всем телом. Трудно сказать, кто из нас был в тот миг больше напуган. Я бы сразу пустилась бежать, если бы не заметила, как из кладовой выходит служанка моей матери. Среди слуг у меня есть не только союзники, но и враги, и что касается Анджелики, то ее приязнь давно уже не на моей стороне. Если меня сейчас обнаружат, то страшно даже представить, какой переполох поднимется в доме.

– Успокойтесь, я не повредила ваши рисунки, – говорю я поспешно, боясь нового взрыва недовольства. – Меня интересует, какой станет часовня. Я просто зашла поглядеть, как продвигается ваша работа.

Он снова что-то бормочет. Я жду, что он повторит свои слова. Ждать приходится долго. Наконец он поднимает глаза, чтобы взглянуть на меня, и, всматриваясь в него, я впервые замечаю, как он юн – постарше меня, конечно, но ненамного – и какая у него белая, болезненная кожа. Конечно, я знала, что под чуждым небом расцветают чуждые краски. Ведь и моя Эрила, уроженка пустынных песков Северной Африки, дочерна выжжена тамошним солнцем; да и на городских рынках в те времена можно было увидеть лица с кожей самых разных оттенков – купцы устремлялись во Флоренцию отовсюду, словно мухи на мед. Однако эта белизна – совсем иная, от нее веет влажным камнем и бессолнечным небом. Хватит и одного дня под жгучим флорентийским солнцем, чтобы этот нежный покров сморщился и покраснел.

Когда он наконец заговаривает, его дрожь уже улеглась, однако это нелегко ему далось.

– Я художник на службе у Бога, – говорит он с видом послушника, возносящего литанию – вы зубренную, но не до конца понятую. – И мне не подобает разговаривать с женщинами.

– Это заметно, – парирую я – меня уязвило его замечание. – Потому-то, верно, вы и не умеете их изображать. – Я бросаю взгляд на чересчур длинную фигуру Мадонны на стене.

Даже в полумраке я замечаю, как ранят его мои слова. Мне сразу приходит в голову, что он сейчас снова набросится на меня или нарушит собственные правила и что-нибудь ответит, но он вместо этого отворачивается и, прижав к груди бумаги, ковыляет обратно в дальнюю комнату. Дверь за ним захлопывается.

– Ваша грубость не уступает вашему невежеству, мессер, – бросаю я ему вдогонку, чтобы скрыть свое смятение. – Не знаю, чему вы там выучились у себя на Севере, но здесь, во Флоренции, художники умеют прославлять человеческое тело – подобие совершенства Божия. Поэтому вам следует хорошенько изучить искусство нашего города, прежде чем малевать что-либо на его стенах.

И, полная праведного гнева, я шагаю прочь из комнаты навстречу солнечному свету. Я так и не поняла, проник ли мой голос за дверную преграду.

Семь, восемь, поворот, шаг, наклон... нет... нет, нет, Алессандра... Нет. Вы не слушаете ритм. Я ненавижу учителя танцев. Это злобный коротышка, суцая крыса, и ходит так, как будто у него что-то зажато между коленями, хотя, сказать по справедливости, в танце он изображает женщину лучше меня: каждый шаг безупречен, а руки выразительны, как бабочки.

Мне и без того стыдно, а тут еще, по случаю скорой свадьбы Плаутилле, на наших уроках присутствуют Томмазо с Лукой. Нам с сестрой надо разучить много разных танцев, и братья служат нам партнерами, иначе одной из нас пришлось бы изображать мужчину. Я мало того что выше них ростом – еще и нескладная, будто одна нога лишняя, и со мной больше всего возни. По счастью, Лука так же неповоротлив, как и я.

– А вы, Лука, отчего просто стоите на месте? Берите ее за руку и кружите вокруг себя.

– Не могу. У нее все пальцы в чернилах. И вообще, она для меня слишком высокая, – ноет он, как будто это моя вина.

Похоже, я еще немного подросла. Если и не на самом деле, в воображении моего брата. И ему непременно нужно сообщить об этом вслух, чтобы все посмеялись над моей неуклюжестью.

– Это неправда. Я ровно такого же роста, какого была на прошлой неделе.

– Лука прав, – встречается Томмазо: он всегда готов кольнуть меня. – Она в самом деле выросла. С ней все равно что с жирафом танцевать. – Лука прыскает от смеха, и Томмазо продолжает: – Правда-правда. Смотрите, у нее даже глаза как у жирафа – такие темные ямы, а ресницы вокруг – как самшитовая чаща.

Сравнение пускай и несуразное, но очень забавное, так что даже учитель танцев, в обязанности которого входит в числе прочего и вежливость, едва удерживается от смеха. Если бы речь шла не обо мне, я бы тоже расхохоталась, потому что насчет моих глаз Томмазо пошутил удачно. Конечно, все мы видели жирафа. Это было самое редкостное животное, когда-либо обитавшее в нашем городе: его прислал в подарок великому Лоренцо султан какой-то очень далекой

страны. Жирафа, как и львов, держали в зверинце позади Дворца Синьории,^[3] но в праздничные дни его водили по городским монастырям, чтобы богомольные женщины могли полюбоваться на столь дивное творение Господа. Наша улица лежала как раз на пути жирафа, когда его вели к обители в восточной части города, и мы не раз стояли, прильнув к окнам, и наблюдали, как он неуверенно переставляет по булыжной мостовой свои ноги-ходули. Должна признать, глаза у него и впрямь были немножко похожи на мои: глубокие, темные, в самшитовой бахrome ресниц, они казались чересчур большими для его морды. И хоть я зверь не такой диковинный и не так высока ростом, сравнение действительно верное.

Было время, когда подобное оскорбление заставило бы меня расплакаться. Но с возрастом я сделалась более толстокожей. Танцы – не единственное, в чем мне не удалось добиться должного успеха. В отличие от сестры. Плаутилла умеет струиться, как вода, и петь под музыку, как птичка, у меня же – притом что я перевожу с латыни и греческого проворнее, чем она или братья способны читать на этих языках, – ноги как палки и голос как у вороны. Хотя если бы меня попросили нарисовать гаммы, я бы, честное слово, сделала это, не задумываясь: верхние ноты – сверкающая позолота, а дальше, через охристые и красные тона, спуск к пурпуру и темной синеве.

Но сегодня меня избавляют от дальнейших истязаний. Едва учитель танцев продудел первые ноты своим маленьким носом – нечто среднее между звуками губной гармоник и гуденьем сердитой пчелы, – как раздался громовой стук в парадные двери нижнего этажа, затем послышался многоголосый гомон, а потом к нам в комнату ворвалась запыхавшаяся старая Лодовика, улыбаясь во весь рот.

– Мона Плаутилла, он уже здесь. Доставили ваш свадебный *кассоне*.^[4] Вас и вашу сестру Алессандру зовут в комнату вашей матери – немедленно.

И вот тут-то жираф обретает преимущество перед газелью. Есть и в непомерном росте свои плюсы.

Все тут – хаос и смятение. Женщина впереди толпы падает навзничь, неистово простирая вперед руку, как бы ища опоры. Она полураздета, сквозь рубашку просвечивают обнаженные ноги, босая левая ступня касается каменистой почвы. Мужчина подле нее, напротив, в полном облачении. У него необычайно красивые ноги и

изукрашенный богатой вышивкой парчовый камзол. Если приглядеться внимательнее, можно заметить, что на его одежде поблескивают жемчуга. Он приблизил к ее лицу свое, руками крепко обхватил ее талию, переплетя пальцы, чтобы лучше удержать тяжесть ее падающего тела. И хотя в этой расстановке фигур чувствуется насилие, есть тут и изящество – как будто они оба танцуют. Справа – группа сбившихся в кучку женщин, одетых как знатные дамы. И в эту толпу уже просочился кое-кто из мужчин: один положил руку на платье женщины, другой настолько приблизил свои губы к ее рту, что не остается сомнений: они целуются. Ее юбка и рукава с модными прорезями – из ткани, что делают у моего отца, с золотой нитью. Я снова возвращаюсь к девушке на переднем плане. Она слишком красива, чтобы быть Плаутиллой (да и неужто он осмелился бы раздеть ее? Не может быть!), однако ее распущенные волосы светлее, чем у остальных, – за такой цвет моя сестра отдала бы несколько лет жизни! Этот мужчина, надо полагать, – Маурицио. В таком случае портрет грубо льстит его ногам.

Некоторое время никто из нас не говорит ни слова.

– Изрядная работа. – Наконец нарушив молчание, моя мать говорит тихим, но не терпящим возражений голосом. – Ваш отец останется доволен. Этот сундук прославит нашу семью.

– Ах, какой же он чудесный! – вторит ей Плаутилла, сама не своя от счастья.

Я не спешу соглашаться. Мне этот сундук кажется несколько несуразным и грубоватым. Во-первых, для свадебного ларя он чересчур велик – совсем как саркофаг. И если сама живопись не лишена изящества, то весь он до того изукрашен – нет, кажется, ни сантиметра, не покрытого позолотой, – что это мешает любоваться росписью. Меня удивило, как матушка могла так обмануться – только позже я поняла, что ее глаз уловил все – не только красоту, но и тонкости, связанные с нашим новым положением в обществе.

– Я даже начинаю думать, не лучше ли нам было поручить роспись часовни Бартоломео ди Джованни.^[5] Он гораздо опытнее, – задумчиво произнесла она.

– И гораздо больше берет за работу, – возразила я. – Отцу хотелось бы, чтобы алтарь был закончен при его жизни. Я слышала,

этот ди Джованни даже ларь едва-едва успел в срок доделать. Впрочем, его почти весь расписывали ученики.

– Алессандра! – взвизгнула моя сестра.

– Да раскрой же глаза пошире, Плаутилла. Ты посмотри, сколько тут женщин – и почти все изображены в одинаковой позе. Ясно же, что это ученики отрабатывали мастерство.

Уже позднее я осознала, сколь кротко Плаутилла сносила мои выходки в пору нашего детства. Но в те дни всякое ее суждение казалось мне до того глупым или плоским, что сам Бог велел ее поддеть. А ей сам Бог велел возмущаться в ответ.

– Да как ты можешь! Как ты можешь так говорить! Ах! Да если даже это правда, я уверена – никто, кроме тебя, этого не заметил бы. Матушка права: кассоне чудесный. Мне он очень нравится. Хорошо, что здесь не история Настанжо дельи Онести^[6] – я так боюсь этих собак, которые травят ту женщину.

А женщины какие красавицы! И платья на них великолепные. И девушка впереди – просто чудо! Вы не согласны, матушка? Я слышала, что на каждом свадебном ларце у Бартоломео обязательно есть фигура, похожая на невесту. Мне нравится, что здесь она почти танцует.

– Да, но только она совсем не танцует. Над ней хотят учинить насилие.

– Я и без тебя это знаю, Алессандра. Но разве ты не помнишь историю про сабинянок? Их пригласили на праздник, а потом силой схватили, и они покорились своей участи. В этом же весь смысл росписи. Из женского самопожертвования родился город Рим.

У меня уже готов ответ, но я перехватываю взгляд матери. Даже если мы не на людях, она не выносит перебранок.

– Каков бы ни был сюжет, мне думается, можно согласиться, что художник великолепно справился с работой. Он почтил всю нашу семью. Да-да, и тебя, Алессандра. Меня удивляет, что ты до сих пор не разглядела на росписи свой собственный портрет.

Я снова уставилась на сундук:

– *Мой* портрет? Где же здесь я, по-твоему?

– Да вот же, сбоку, девушка, стоящая в сторонке и увлеченная серьезной беседой с юношей. Удивительно – своими разговорами о философии она настроила его на более возвышенный лад!

Все это мать проговорила ровным голосом. Я наклонила голову, принимая удар. Сестра в недоумении глядела на роспись.

– Ну вот. Решено, – снова раздался голос матери, спокойный и твердый. – Это благородная и достойная работа. Остается надеяться и молиться о том, чтобы подопечный вашего отца проявил хотя бы половину такого мастерства, служа нашему семейству.

– А кстати, как поживает наш художник, матушка? – спросила я, немного помолчав. – С тех пор как он приехал, его так никто и не видел.

Мать вдруг поглядела на меня в упор, и мне вспомнилась ее служанка, которую я видела тогда во дворе. Неужели... Не может быть! Ведь с тех пор прошло уже несколько недель. Если бы она заметила меня тогда, я бы, несомненно, узнала об этом гораздо раньше.

– Думаю, ему нелегко здесь приходится. После тишины его аббатства наш город кажется ему чересчур шумным. Он перенес лихорадку. Но теперь поправился и попросил позволения уделить некоторое время изучению церквей и часовен нашего города, прежде чем он продолжит работу.

Я опустила глаза, чтобы мать не заметила в них искорку любопытства.

– Он мог бы вместе с нами посещать службы, – сказала я таким тоном, как будто мне было это совершенно безразлично. – С наших передних рядов фрески лучше видны.

В отличие от некоторых семейств, которые ходили молиться только в какую-то одну церковь, мы одаряли своим вниманием церкви всего города. Если отцу такое обыкновение давало возможность понаблюдать, сколько флорентийских горожан щеголяет в его новых тканях, то матери оно позволяло любоваться красотой скульптур и фресок, а также сравнивать разные проповеди. Впрочем, думаю, ни он, ни она ни за что бы в этом не признались.

– Алессандра, ты и сама прекрасно знаешь, что так делать негоже. Я уже договорилась о том, что он всюду будет ходить сам.

Как только разговор отклонился от темы ее свадьбы, Плаутилла потеряла к нему всякий интерес и уселась на кровать, перебирая ткани всех цветов радуги. Она прикладывала их то к груди, то к бедрам, любуясь переливами.

– Ах, ах... На верхнее платье нужно взять вот эту, синюю. Да-да, непременно эту. Матушка, а вы как думаете?

Мы обернулись к Плаутилле, обе в глубине души благодарные за эту перемену разговора. В самом деле, эта синяя ткань была необыкновенная – ее всю будто пронизывали какие-то металлические искры. Эта синева, пусть немного более бледная, напоминает мне о той ультрамариновой краске, что наши художники берут для одеяния Пресвятой Девы и что ценой кропотливого труда добывается из лазурита. Краситель, идущий на ткани, не такой дорогой, однако для меня он имеет не меньшую ценность, и не в последнюю очередь из-за его названия: «алессандрина».

Будучи дочерью торговца тканями, я лучше многих разбиралась в подобных вещах и к тому же всегда отличалась любознательностью. Однажды, когда мне было лет пять или шесть, я упростила отца взять меня с собой туда, «Откуда берутся запахи». Стояло лето – это я помню, – и мы оказались у какой-то большой церкви возле реки. Там красильщики выстроили себе настоящий бедняцкий городок: темные улочки с теснящимися жалкими хибарками, многие лачуги нависали прямо над водой. Повсюду копошились дети – полуголые, вымазанные в грязи, перепачканные краской, которую перемешивали в чанах. Старший красильщик, бывший у отца под началом, воистину походил на дьявола: кожа у него на лице и на предплечьях почти вся полопалась – его когда-то ошпарило кипятком. Мне запомнилось, что у других прямо на коже были процарапаны рисунки, а затем в эти раны, видно, втерли краски. Расцветенные яркими узорами, эти люди походили на какое-то диковинное племя из языческих краев. И хотя ченно их труд оживлял город чудесными красками, жили они в такой ужасающей бедности, какой мне не приходилось видеть нигде. Недаром монастырь Санта Кроче, давший имя этому кварталу, был обителью францисканцев, а монахи этого ордена всегда селились среди бедняков.

Я так никогда и не узнала, какие чувства питал отец к этим людям. Он, хоть порой и сурово обходился с моими братьями, отнюдь не был жестоким человеком. В его конторских книгах значилась строка немалых расходов во имя Господа: он щедро раздавал милостыню и в недавние годы полностью оплатил два витража в нашей церкви Сант Амброджо. Разумеется, его доходы были не меньше, чем у других

купцов. Но его работа не состояла в помощи беднякам. В нашей великой Республике каждый сам сколачивал себе состояние благодаря милости Божией и собственному неустанному труду, и если иным повезло меньше, что ж! – это их забота, а не его.

И все-таки отчаянное положение тех людей, должно быть, глубоко поразило меня тогда, потому что, хоть я росла, восхищенно любуясь цветными тканями с нашего склада, я никогда не забывала о красильных чанах, дымящихся, словно адские котлы, где варят грешников. И ни разу не просила снова сводить меня туда.

Однако моей сестре, не видевшей подобных картин, ничто не мешало наслаждаться тканями, и в тот миг ее занимало только то, как выгодно эта синева подчеркнет выпуклость ее груди. Иногда мне кажется, что, когда дело дойдет до первой брачной ночи, она получит куда больше удовольствия от своей ночной рубашки, нежели от ласк своего супруга. И я задавалась вопросом – насколько это расстроит Маурицио? Я только однажды видела его. Он показался мне довольно крепким мужчиной, смешливым и сильным, но мало напоминал мыслителя. Оно и к лучшему. Что я об этом знаю? По-видимому, оба друг друга вполне устраивали.

– Плаутилла! Может быть, оставим это пока? – спокойно сказала мать, забирая у нее материю и тихонько вздыхая. – Сегодня выдался такой теплый день, и солнечные лучи могли бы чудесно вызолотить тебе волосы. Почему бы тебе не взять свое вышиванье и не отправиться на крышу?

Моя сестра ошарашена. Хотя общеизвестно, что юные девушки частенько жарят свои головы на солнцепеке, тщетно пытаясь превратить темное в светлое, предполагается, что их матери и не подозревают о подобных ухищрениях.

– Ну, не делай такое удивленное лицо. Раз уж ты все равно занималась бы этим, не спросившись меня, то мне, пожалуй, проще дать тебе свое согласие. Да и потом, скоро у тебя времени не будет для таких пустяков.

С недавних пор мать завела привычку говорить что-нибудь в этом духе: можно было подумать, что с замужеством привычная жизнь Плаутиллы сразу пойдет прахом. Сама Плаутилла, похоже, с восторгом слушала такие предсказания, на меня же, сознаюсь, они нагоняли смертельный страх. Она тихонько взвизгнула от радости и принялась

порхать по комнате в поисках своей солнечной шляпы. Наконец найдя ее, она бесконечно долго прилаживала ее к голове, продевая распущенные волосы сквозь отверстие в середине, – так, чтобы, пока лицо ее будет оставаться в тени, каждая прядка была подставлена солнцу. Потом она подобрала юбки и, провожаемая нашими взглядами, умчалась прочь. Живописцу, который пожелал бы написать ее исчезновение, пришлось бы окутать ее тело шелковыми или газовыми пеленами, чтобы показать, как она поднимает ветер своими стремительными движениями: я видела, так делают многие художники. Или – пририсовать ей птичьи крылья.

Мне показалось, мать загрустила, глядя на нее. Еще мгновение она сидела, не говоря ни слова, а потом повернулась ко мне, и потому я слишком поздно заметила искорку, вспыхнувшую у нее в глазах.

– Пожалуй, я тоже пойду на крышу. – Я поднялась со стула.

– Не смей меня, Алессандра. Ты же терпеть не можешь солнце. К тому же волосы у тебя черней воронова крыла. Тебе проще их перекрасить, если уж так хочется, в чем я очень сомневаюсь.

Я заметила, что ее взгляд упал на мои перепачканные чернилами пальцы, и быстро поджала их.

– И когда ты в последний раз ухаживала за своими руками? – Мой внешний вид – один из множества моих недостатков, которые больно ранят мою мать. – Нет, это просто невыносимо! Сегодня я пошлю Эрилу за снадобьем. Займись руками, прежде чем ляжешь спать, слышишь? А сейчас останься. Я хочу с тобой поговорить.

– Но, матушка...

– Останься!

Я приготовилась выслушать очередное нравоучение. В который раз? Я уже со счета сбилась. Мы все спорили и спорили, я и мама. Я чуть не умерла при рождении. Она чуть не умерла, давая мне жизнь. Только после двухдневных родовых мук меня наконец вытащили щипцами, и обе мы исходили криком. Ущерб, причиненный ее телу, лишил ее способности впредь рожать детей. А потому она сразу полюбила меня и за мою малость, и за свое утраченное чадородие, так что задолго до того, как она начала узнавать во мне черты сходства с собою, между нами возникли крепкие узы. Как-то раз я спросила ее, почему я не умерла – ведь я слышала, что младенцы часто умирают. И она ответила: «Потому что Бог пожелал сохранить тебе жизнь. И потому что Он наделил тебя любознательностью и решительным духом: они-то и заставили тебя цепляться за жизнь – во что бы то ни стало».

– Алессандра, должна тебе сообщить, что отец начал вести переговоры с твоими возможными женихами.

От этих слов у меня все внутри сжалось.

– Но как же... Ведь у меня даже месячные не начались! Она нахмурилась:

– Ты уверена?

– А разве вам об этом не известно? Ведь Мария проверяет все мое белье. Уж это-то я бы не смогла утаить.

– В отличие от других вещей, – спокойно заметила мама. Я подняла взгляд, но, похоже, она не собиралась продолжать разговор на эту тему. – Алессандра, ты сама знаешь, я долгое время тебя прикрывала. Но не могу же я делать это вечно.

Она проговорила это таким серьезным голосом, что чуть не напугала меня. Я взглянула на нее, надеясь, что она как-то подскажет мне, в каком русле пойдет наш разговор, но не увидела никакой подсказки.

– Ну, – сказала я обиженно, – сдается мне, что, если бы вы сами не хотели, чтобы я была такой, вы бы этого не допустили.

– Ну и что бы мы тогда делали? – мягко возразила она. – Не давали бы тебе книг, отбирали бы у тебя перья? Наказывали бы тебя?

Но тебя так сильно любили с самого раннего возраста, дитя мое, что тебе бы не по нраву пришлось такое обращение. Да к тому же ты всегда была слишком упряма. В конце концов нам показалось, что проще позволить тебе учиться вместе с братьями. – Она вздохнула. Наверное, уже успела понять, что такое решение лишь добавило хлопот. – Ты так хотела учиться!

– Сомневаюсь, что братья благодарны вам за это,

– Это потому, что тебе еще нужно научиться смирению, – заметила мать, на этот раз более резким тоном. – Мы с тобой об этом уже говорили. В молодой женщине недостаток смирения сразу бросается в глаза. Лучше бы тебе проводить столько же времени за молитвой, сколько ты посвящаешь урокам.

– А вы именно так научились смирению, матушка? Она издала короткий смешок.

– Нет, Алессандра. Просто моя родня положила конец всяким суетным соблазнам.

Мама редко рассказывала о своем детстве, но все мы знали эти истории: как дети, мальчики вместе с девочками, учились под началом отца-схоласта, приверженца новых веяний; как ее старший брат сам потом сделался выдающимся ученым, снискал милость у семьи Медичи и жил под их покровительством; и как это помогло ему удачно выдать сестер замуж за купцов, а те примирились с их необычайной образованностью, ибо к ней в качестве компенсации прилагалось щедрое приданое.

– Когда я была в твоём возрасте, иметь подобные познания в науках считалось для девушки еще менее подобающим, чем сейчас. Не взойди так высоко звезда моего брата, мне бы еще долго пришлось подыскивать себе мужа.

– Но, раз моего рождения желал сам Бог, значит, вам было суждено выйти замуж за моего отца.

– Ах, Алессандра! Ну почему ты всегда так ведешь себя?

– Как это – *так*?

– Даешь своим мыслям забегать дальше, чем нужно и чем подобает.

– Но это же логика.

– Нет, дитя мое. В том-то и дело. Никакая это не логика! Тебе чужда всякая почтительность: ты задаешь вопросы о вещах столь

глубоких и укорененных в Божьей природе, что несовершенная человеческая логика бессильна понять их.

Я ничего не ответила. Буря, уже привычная мне, пройдет быстрее, если я промолчу.

– Не думаю, что тебя этому научили наставники. – Мать охнула, и я почувствовала, что она очень сердится на меня – но за что, непонятно. – Должна тебе сообщить, что Мария обнаружила рисунки в сундуке под твоей кроватью.

Ах, вот в чем дело. Наверняка она наткнулась на них, перерывая мое белье в поисках запачканных кровью тряпок. Я мысленно пошарила в сундуке, пытаюсь предугадать, на что именно обрушится материнский гнев.

– Она уверена, что ты одна, без сопровождения, ходила по городу.

– Ах! Но это же невозможно. Как бы мне это удалось? Она же глаз с меня не спускает.

– Она говорит, там есть рисунки зданий, которых она никогда не видела, и изображения львов, раздирающих мальчика на площади Синьории.

– Ну и что? Мы с ней ходили туда в праздничный день. Вы сами знаете. Все мы видели львов. Перед тем, как они разорвали теленка, с ними в клетке стоял укротитель – и они даже не тронули его. А потом кто-то рассказал нам – кажется, Эрила, – как год назад, когда все разошлись с площади, туда, в клетку со львами, забрался маленький мальчик и они растерзали его. Не может быть, чтобы Мария забыла! Она ведь в обморок упала, когда это услышала.

– Может быть, и так. Но она знает точно: тогда, на месте, ты никак не могла всего этого нарисовать.

– Разумеется, не могла. Я делала наброски уже потом. Но они оказались ужасными. В конце концов мне пришлось перерисовать львов с картинки в Часослове. Хотя я уверена, что они там неправильно нарисованы.

– О чем это место?

– Что?

– О чем там говорится? В Часослове... там, где страница украшена львами?

– Мм... Даниил? – растерялась я.

– Ну вот – картинку ты помнишь, а про что написано – Ах, Алессандра! – Она покачала головой. – А что это за здания?

– Я сама их выдумала. Да и откуда бы у меня взялось время зарисовать их? – спокойно возразила я. – Просто из отдельных кусочков, которые мне запомнились, я сочиняю целое.

Она задумчиво поглядела на меня, и мне показалось, что она сама тоже не может разобраться в своих чувствах. Когда-то она первая заметила, как свободно я владею пером, – я была еще так мала, что сама этого не сознавала. Я самостоятельно выучилась рисовать, копируя все благочестивые картины, что имелись у нас в доме, и моя страсть годами оставалась нашей с нею тайной – пока я не повзрослела достаточно, чтобы понять причину такой скрытности. Ведь в глазах моего отца одно дело было потакать способному ребенку, который то и дело рисует Деву Марию, и совсем другое – иметь в дочерях одержимую рисованием девицу, которая совершает набеги на кухню в поисках каплуновых костей – чтобы смолоть их в порошок для грунтовки – или свежих гусиных перьев. Может, искусство и впрямь путь к Богу, но заниматься им – удел ремесленников, а отнюдь не девушек из хороших семейств. С недавних пор моей пособницей сделалась Эрила. Что было на уме у моей матери, я теперь уже не понимала. Два года назад, когда я с трудом овладела техникой серебряного карандаша (этот инструмент настолько тонок и тверд, что не оставляет права на огрех ни глазу, ни руке), она попросила меня показать ей плоды моих стараний. Некоторое время она рассматривала их, а потом вернула мне, не сказав ни слова. Неделью спустя я обнаружила у себя в сундуке под кроватью книгу Ченнино Ченнини «Трактат о живописи». С тех пор рука у меня сделалась гораздо тверже, хотя ни я, ни мать с тех пор ни словом не обмолвились о том подарке.

Она вздохнула.

– Ну хорошо. Не будем больше об этом. – Она помолчала. – Я еще кое о чем собиралась с тобой потолковать. Художник хотел бы сделать наброски к твоему портрету.

Тут я почувствовала, как где-то внутри у меня вспыхнул огонек.

– Я уже говорила, что он посещал наши церкви. Он кое-что там увидел и вот теперь готов продолжить работу. Он уже написал портрет твоего отца. А я сейчас слишком занята свадьбой Плаутиллы, чтобы

тратить на него время, поэтому пусть пока займется детьми. Он попросил первой позвать тебя. Причина, полагаю, тебе неизвестна?

Я поглядела ей в глаза и покачала головой. Это может показаться странным, но тогда мне было чрезвычайно важно не лгать ей вслух.

– Он пока что устроил себе мастерскую в часовне. И сказал, что ты должна прийти в дневные часы, чтобы было правильное освещение. Он на этом очень настаивает. Возьмешь с собой Лодовику и Марию.

– Но...

– Никаких «но», Алессандра. Ты возьмешь с собой обеих. И не будешь отвлекать его, не станешь спорить о тонкостях Платоновой философии. Да и потом, обсуждать данную тему вам наверняка помешают некоторые языковые различия.

Хотя слова матери были строги, тон вдруг потеплел, и я снова почувствовала себя с нею легко и свободно. И потому, естественно, недооценила риск. Но с кем еще я могла бы поговорить об этом, раз уж все стало таким неизбежным?

– Знаете, матушка, мне иногда снится один сон... Наверное, он снился мне уже раз пять или шесть.

– Надеюсь, это Божий знак.

– О да, не сомневаюсь. Мне снится... ну так вот. Как это странно, мне снится, что я так и не выхожу замуж. Как будто вы с отцом решаете, что меня нужно отправить в тот монастырь...

– Ах, Алессандра, не болтай глупостей. Монастырский устав – не для тебя. Ты сразу же зачахнешь от всех этих строгих правил. Ты наверняка и сама это понимаешь.

– Нет... да, но... Но, знаете ли, *этот* монастырь, что в моем сне, он совсем другой. В этом монастыре монахини могут славить Бога по-разному, например...

– Хватит, Алессандра Чекки. Довольно. Я не хочу больше слушать. Если ты думаешь, что своим плохим поведением заставишь нас передумать и отменить решение о твоём замужестве, то очень заблуждаешься.

Ну вот, началось – ее гнев прорывается наружу, как горячий ключ сквозь земную поверхность.

– Ты – своенравная и порой крайне непослушная девочка, и, несмотря на все то, что я говорила, думаю, мне следовало раньше

сломить твоё упрямство, ибо сейчас оно только вредит всем нам. – Она вздохнула. – Тем не менее мы что-нибудь придумаем. Я прибегну к тому слову, которое мы уже часто упоминали, – «долг». Это твой долг перед семьей. Теперь твой отец – богатый человек, имеющий заслуги перед Республикой. У него достаточно денег на приданое, которое сделает честь и славу нашему имени. Как только он найдет подходящего человека, ты выйдешь замуж. Я ясно говорю? Это самое важное для каждой женщины – выйти замуж и родить детей. Скоро ты в этом убедишься.

Она поднялась.

– Довольно, дитя мое. Не будем больше к этому возвращаться. У меня еще столько хлопот! Когда наш выбор будет сделан, отец поговорит с тобой. Потом, еще недолгое время, все останется как есть. *Недолгое*, – повторила она. – Но ты должна понимать, что я не могу вечно потчевать его одними обещаниями.

Я жадно ухватила за протянутую оливковую ветвь.

– В таком случае уговорите его выбрать такого человека, который сумеет меня понять, – сказала я и поглядела ей прямо в глаза.

– Ах, Алессандра... – Она покачала головой. – Не уверена, что такое возможно.

Я дулась весь ужин, наказывая Марию молчанием, и рано отправилась к себе в комнату. Там я подперла дверь стулом и принялась рыться в своем сундуке с одеждой. Важно хранить свои сокровища в разных местах. Тогда, если раскопают один клад, то другие могут остаться незамеченными. Где-то на дне, под моими сорочками, таился скатанный большой рисунок тушью на тоновой бумаге.

Мой первый серьезный рисунок, над которым я долго работала. Для него я выбрала сюжет Благовещения. Пресвятая Дева застигнута врасплох Архангелом, и охватившее ее смятение и благоговение я попыталась передать, изобразив, как взлетели руки и как отшатнулось тело, словно и ее, и Гавриила тянут невидимые нити – и в разные стороны, и друг к другу. Этот сюжет любим многими художниками, и не в последнюю очередь оттого, что мощь и сложность этих движений бросает вызов их кисти. Мне же он особенно близок из-за осязаемого беспокойства Девы Марии, хотя мои наставники всегда призывали меня сосредоточиться для духовных упражнений на более поздних эпизодах этой встречи, где преобладают смирение и благодать.

В качестве фона я изобразила наш парадный зал, поместив оконный проем позади фигур, чтобы подчеркнуть перспективу. Мне казалось, это хороший выбор. В определенный час солнечный свет, преломленный стеклом, падал в комнату так красиво, что нетрудно было поверить, будто Бог и впрямь нисходит по этим лучам. Однажды я просидела несколько часов кряду, дожидаясь, когда же Дух Святой явится мне: прикрыв глаза, я купалась душой в этом теплом свете, и солнце лучом святости пронизывало мои опущенные веки. Но вместо божественного откровения я ощутила лишь стук моего собственного сердца и отчаянный зуд от старого комариного укуса. Я упорно – и, как теперь понимаю, восторженно – ждала благословения, но так и не дождалась.

Но моя Мадонна его сподобилась. Она приподнялась в креслах, руки взметнулись, как испуганные птицы, словно для защиты от бурного ветра Божьего явления: непорочная юная девственница, потревоженная во время молитвы. Я уделила величайшее внимание

одежде обоих (пускай многое в мире было покуда закрыто для меня, но уж ткани и фасоны я могла изучать сколько угодно). Гавриила я облачила в длинный хитон из самого дорогого отцовского батиста: тонкая кремовая ткань ниспадала с плеч тысячью мелких складочек, свободно собираясь вокруг пояса, и благодаря своей воздушности попевала за его стремительной поступью. Пресвятую Деву я нарядила довольно современно – рукава с прорезями на локтях, откуда выглядывала сорочка; высокая талия, перетянутая пояском, и шелковая юбка – целый водопад струящихся складок.

Когда контуры рисунка будут завершены, я возьмусь за работу над тенью и светом, используя различные оттенки чернильных растворов и кисточкой нанося свинцовые белила. На этом этапе исправлять ошибки будет нелегко, и моя рука заранее дрожит от волнения. Приближаясь к этой сложной задаче, я начинала испытывать все больше сочувствия к ученикам Бартоломео. Чтобы оттянуть время, я заполняла фон уходящими вдаль напольными плитками, упражняясь в искусстве перспективы, – как вдруг дверная ручка повернулась и загремел отодвигаемый стул.

– Сюда нельзя! – Я схватила с кровати простыню и набросила ее на рисунок. – Я... я раздеваюсь.

Однажды, тому уже несколько месяцев назад, меня застиг здесь Томмазо и «нечаянно» опрокинул флакончик с льняным маслом (я пропитываю им бумагу, чтобы та становилась прозрачной) прямо на ступку с порошком белого свинца, который Эрила раздобыла для меня в аптекарской лавке. Мне пришлось купить его молчание, переведя для него стихи из Овидия, над которыми он тщетно пыхтел. Но сейчас это вряд ли Томмазо. Зачем ему впустую тратить вечер, изводя меня? Скорее всего, сейчас он прихорашивается ради падших женщин, что расхаживают по улицам, зазывая молодых мужчин бубенцами, которые им предписано носить, и туфлями на высоких каблуках. Я слышала, как наверху под ним скрипят половицы: наверное, он раздумывал, какого цвета чулки лучше подходят к новому плащу, который только что доставил ему портной.

Я отодвинула стул, и в комнату прошмыгнула Эрила. В одной руке у нее была плошка, а в другой – горка миндального печенья. Не обращая внимания на мой рисунок (она на моей стороне, но предпочитает делать вид, что знать ни о чем не знает), Эрила уселась

на кровать, угостила меня печеньем, а потом притянула к себе мои руки. Растерев лимон с сахаром, она принялась накладывать эту массу густым слоем на мою кожу.

– Ну, что случилось? Мария на вас наябедничала?

– Да больше наврала. Ой! Осторожно... Я там порезалась.

– Очень плохо. Ваша матушка говорит, если ваши руки к субботе не станут белыми, она заставит вас целую неделю ходить в замшевых перчатках.

Я предоставила обе руки в ее распоряжение. Мне нравится, как ее пальцы глубоко вдавливаются в мои ладони, а еще больше мне нравится этот сказочный контраст: ее черная кожа – рядом с моей, хотя у меня всегда слишком быстро истощались запасы угля, когда я пыталась делать с Эрилы наброски.

Она уверяет, что ничего не помнит о своей родной Северной Африке, – разве только то, что солнце там было больше, а апельсины – слаще. История ее жизни вполне могла бы вдохновить какого-нибудь современного Гомера. Ее привезли вместе с матерью в Венецию, лет, как ей кажется, пяти или шести от роду, и продали на невольничьем рынке некоему флорентийскому купцу. Тот разорился, когда по пути из Индий по тонули три его корабля. Эрилу в счет уплаты долга взял себе мой отец. Когда она появилась в нашем доме, я только родилась, и иногда ей поручали присматривать за Плаутиллою и мною. Это освобождало ее от тяжелого труда, который наверняка сокрушил бы ее. Проницательная, наделенная природным здравым смыслом, она всегда управлялась со мной играючи. Мне кажется, мама считала ее даром Господним и ответом на молитвы об обуздании строптивой дочери, – и потому с раннего возраста Эрила была отдана мне. Но никто по-настоящему не владел Эрилой. Хотя по закону рабыня считалась собственностью моего отца, которой он мог распоряжаться по своему усмотрению, держалась она независимо: хитрая, как кошка, расхаживала одна по городу, приносила домой сплетни, будто свежие фрукты с базара, а потом с выгодой их перепродавала. Всегда, сколько я себя помню, Эрила была мне лучшим другом в доме, а заодно моими глазами в тех местах, куда меня саму не пускали.

– Ну! Ты достала?

– Может быть, да, а может быть, нет.

– Ах, Эрила! – Но я сама знала, что лучше её не понукать. Она улыбнулась:

– Ну вот, одна хорошая весть. Сегодня у городских ворот, что возле Дворца Правосудия, повесили мужчину. Убийцу. Изрубил любовника жены на мелкие кусочки. После того, как он полчаса провисел, веревку перерезали, а его погрузили на телегу для висельников, но там он вдруг приподнялся на локтях, пожаловался, что горло болит, и попросил воды.

– Быть такого не может! И что же с ним сделали?

– Отвезли в больницу. Там его будут кормить хлебом, размоченным в молоке, до тех пор, пока он снова не начнет глотать. Тогда его снова повесят.

– Нет! А что толпа?

Эрила пожала плечами:

– Ну, все кричали и ободряли его. А потом вылез жирный доминиканец с лицом как пемза и давай проповедовать, мол, Флоренция превратилась в выгребную яму, переполненную нечистотами греха, и что добрые страдают, а злые торжествуют.

– А что, если все совсем не так? Я хочу сказать – может быть, это был пример безграничной милости Господа, который прощает даже самых закоренелых грешников? Ах, как бы я хотела там оказаться в тот миг! А ты что об этом думаешь?

– Я? – Она рассмеялась. – Думаю, что палач плохо завязал узел. Ну, вот и все. – Она вытянула мои руки одну подле другой. Полюбовалась своей работой. Впервые за много дней они стали чистыми – ногти сделались розовыми и блестящими, насколько побелела моя кожа, трудно было сказать.

– Вот. – Она достала из кармана маленькую бутылочку с чернилами (на рисунки у меня их за неделю уходит, сколько у братьев на уроки за месяц) и кисточку из горносталя, такую тонкую, что ею можно наносить белила на лицо и одежду Пресвятой Богородицы. Я бросилась Эриле на шею.

– М-м-м. Вам повезло. Я достала их задешево. Но потерпите до воскресенья. Если вы пустите их в ход раньше, мне влетит.

После того, как она ушла, я лежала и думала о том человеке в петле и о том, как отличить милость Божью от небрежности палача –

или, может быть, они суть одно? Я попросила у Бога прощения, если вдруг согрешила такими помыслами, а потом обратилась к Пресвятой Деве, моля ее укрепить мою руку и помочь мне запечатлеть Ее на бумаге. Я еще не спала, когда Плаутилла откинула полог и забралась в постель. От нее сильно пахло маслом, которым она обильно смазала волосы для защиты от иссушающей силы солнца. Она торопливым шепотом пробормотала молитву, в которой слов было больше, чем чувства, однако ни разу не запнулась и ничего не пропустила, а потом улеглась, отодвинув меня в сторону, чтобы занять побольше места на кровати. Я дождалась, когда ее дыхание станет ровным, и отодвинула ее обратно.

Немного погодя послышалось гудение комаров. Запах от ее волос был теперь повсюду и манил их, как мед – пчел. Курильница с травяным маслом, подвешенная к потолку, была против него бессильна. Я потянулась за флаконом с цитронеллой, который лежал у меня под подушкой, и хорошенько намазала себе руки и лицо.

Дзыннь... дзыннь... дзап! Комар приземлился на пухлое белое запястье моей сестры. Я наблюдала, как он устраивается там поудобнее, а потом прокалывает ее кожу. Я представила себе, как он качает из нее кровь, будто длинный водяной насос, затем отлепляется от ее тела, взмывает в воздух и вылетает в окно, а потом несется к дому Маурицио, влетает к нему в спальню, находит какую-нибудь часть его тела, торчащую из-под одеяла, и вонзает свой хоботок ему под кожу, и кровь двух влюбленных мгновенно перемешивается у него в брюшке. Образ получился невыносимо ярким, пускай это были лишь грубые подобия Плаутиллы и Маурицио. Но если подобное возможно – а, понаблюдав за комарами, я приходила к заключению, что да: что же это еще, как не наша кровь? Когда прихлопываешь их в начале ночи, от них остаются только черные пятнышки, а вот позже из них так и брызжет ярко-красным кровавым соком. А раз такое возможно, то сколь неразборчивы они в своем выборе! В нашем городе – тысячи окон. Сколько же уродливых стариков подагриков уже перемешало свою кровь с моей? И тут мне снова подумалось, что уж если мне суждено обрести мужа, то пускай он явится мне не с красивыми ногами, не в шитой жемчугом парче, а в образе лебедя, как Зевс – Леде, с мощно бьющимися крыльями, подобными грозовой туче. Если такое

ему под силу, то и я люблю его навеки. Только если потом он позволит мне нарисовать себя.

И, как это уже часто бывало в подобные ночи, усиленные размышления окончательно отогнали от меня сон. Наконец я выбралась из-под простыни и тихонько выскользнула из спальни.

Я люблю, когда наш дом погружен во тьму. Все окутывает такая чернота, а внутренняя география палатки настолько запутанна, что я научилась мысленно отмерять расстояния, чтобы всегда знать, где расположены двери и где под каким углом следует повернуться, чтобы не наткнуться на мебель или неожиданно не споткнуться на ступеньках. Иногда, скользя из комнаты в комнату, я представляю себе, что брожу не по дому, а по городу и его переулки и углы разворачиваются у меня в уме, будто красивое математическое решение. Вопреки подозрениям матери, я никогда не гуляла по городу одна. Конечно, случалось такое, что, улизнув из-под бдительной опеки сопровождающей меня прислуги, я углублялась куда-нибудь в боковую улочку или задерживалась у рыночного прилавка, но совсем ненадолго и всегда при свете дня. Наши нечастые вечерние вылазки – ради праздников или поздних богослужений – тоже заставляли город в разгар бодрствования. Я не могу даже вообразить, как все меняется, когда гаснут факелы. Эрилла – всего лишь рабыня, а мой город она знает гораздо лучше, чем когда-нибудь смогу узнать я. Прогулка в одиночестве по ночным улицам осуществима для меня не больше, чем путешествие в страны Востока. Зато я могу мечтать.

Подо мной зиял темный колодец – наш главный двор. Я спустилась вниз по лестнице. Один из наших псов приоткрыл сонный глаз, когда я поравнялась с ним, но он уже давно привык к моим ночным блужданиям. Куда больше следует опасаться маминых павлинов, живущих в саду. У них не только слух острее: когда они поднимают крик, кажется, будто это души грешников вопиют в аду. Разбуди их – и перебудишь весь дом.

Я толкнула и отворила дверь в наш зимний парадный зал. Плиты под моими ногами были гладкими и ровными. Новый ковер тяжелой тенью висел на стене, а большой дубовый стол, гордость и радость матери, был накрыт для призраков. Я оперлась на каменный подоконник и осторожно отодвинула щеколду. Эта часть дома выходила на улицу, здесь я могла усесться и наблюдать за ночной

жизнью. С фасада дом освещали факелы, закрепленные в кованых кольцах на стене, – свидетельствуя о недавножитом состоянии. Здесь в округе дома достаточно богаты, чтобы освещать путь запоздалым прохожим.

Мне доводилось слышать, что безлунными ночами в беднейших частях города люди гибли оттого, что падали в ямы на булыжной мостовой или тонули в канавах с нечистотами. Впрочем, как знать, не усугублял ли хмель их слепоту.

Наверняка и зрение моих братьев сейчас затуманено винными парами. Впрочем, чем хуже они видели, тем громче шумели, их пьяный хохот отскакивал от булыжников и, многократно усиленный эхом, долетал вверх, к окнам. Иногда их гам будил отца. Но сегодня ночью никаких выкриков не было слышно, и у меня уже начали слипаться веки, как вдруг я кое-что заметила внизу.

Сбоку от нашего дома отделилась фигура и вышла на улицу, на миг мелькнув в тусклом факельном свете. Это был кто-то высокий и худой, плотно закутанный в плащ, но голова его была непокрыта, и я успела заметить необычную бледность лица. Ага! Значит, наш художник гуляет по ночам. Вряд ли он сможет полюбоваться какими-нибудь фресками в это время суток. Что это говорила мама? Что город кажется ему чересчур шумным после тиши аббатства. А может быть, он просто хочет насладиться городской тишиной? Хотя в том, как он шел – опустив голову, торопясь затеряться в темноте, – было что-то, говорившее скорее о целеустремленности, нежели о задумчивости.

Меня раздирали любопытство и зависть. Неужели это так просто? Заворачиваешься в плащ, находишь дверь и просто шагаешь в ночную темень. Если идти быстрым шагом, то уже через десять минут окажешься возле собора Санта Мария дель Фьоре. Затем – мимо Баптистерия, на запад, в сторону Санта Мария Новелла, или на юг, к реке, откуда можно услышать перезвон колокольчиков тех женщин. Другой мир. Но я прогнала мысли об этом, вспомнив его Мадонну, исполненную такой благодати и такого света, что она почти парила над землей.

Я решила сидеть здесь до тех пор, пока он не вернется. Но прошел час или около того, я почувствовала, что засыпаю, и, опасаясь, как бы меня не застали тут утром, поднялась по лестнице и возвратилась к себе в спальню. Я скользнула под простыню, отметив с греховным

злорадством, что укус на запястье Плаутилле уже немного распух. Я свернулась клубочком возле ее теплого тела. Она чуть всхрапнула, как лошадка, но не проснулась.

В нынешнем рабочем состоянии помещение это мало напоминает о Боге. Художник выгородил небольшую часть нефа, куда солнце проникает сквозь боковое окно, бросая внутрь прямую и широкую полосу золотого света. Сам он сидит в тени, за маленьким столом, на котором лежат бумага, перо, чернила и несколько свежезаточенных брусков черного мела.

Я вхожу медленно, за мной по пятам следует старуха Лодовика. Мария, увя, слегла с острым приступом несварения. Мне искренне ее жаль, и хоть я проклинала ее в тот день, я была совершенно непричастна к тому, что бедняжка объелась и теперь хворала. Когда я об этом вспоминаю, то не могу не подивиться неисповедимости путей Господних. Как тут не поверить – как это было с петлей палача, – что тут не обошлось без руки Его!

Когда мы входим, он встает, но смотрит в пол. Из-за старческой подагры Лодовики мы идем очень медленно, и я уже попросила поставить для нее удобный стул поблизости. В это время дня она рано или поздно непременно уснет, а потом конечно же забудет о том, что спала. В таких случаях она делается мне незаменимой помощницей.

Если он и помнит о нашей последней встрече, то никак этого не показывает. Он жестом приглашает меня взойти на залитый светом помост, где деревянный стул с высокой спинкой поставлен под таким углом, что, когда я усядусь на него, наши взгляды не будут пересекаться. Я делаю шаг вверх и сразу же начинаю стесняться своего роста. Похоже, мы с ним оба одинаково волнуемся.

– Мне сесть?

– Как хотите, – бормочет он, все еще избегая моего взгляда. Я усаживаюсь в позе, в какой обычно изображаются женщины на портретах в часовнях: прямая спина, голова поднята, руки сложены на коленях. А вот с глазами не знаю, что делать. Некоторое время я гляжу прямо перед собой, но мне делается скучно, и я скашиваю глаза влево: так мне видна нижняя половина его тела. Я замечаю, что его кожаные штаны изодраны внизу, зато сами ноги красивой формы, хоть и длинноваты. Как и мои. Постепенно я начинаю ощущать исходящий от него запах, на этот раз гораздо более сильный: это земляной дух,

смешанный с чем-то кислым, отдающим почти что гнилью. Я диву даюсь – что же он делал этой ночью, что от него так воняет? Видимо, он редко моется – я уже слышала от отца, что такое водится за чужеземцами, – но если сейчас коснуться этой темы, то никакого разговора у нас точно не получится. Я решаю предоставить это Плаутилле. Она от вони точно взбесится.

Время идет. Под лучами солнца мне делается жарко. Я бросаю взгляд на Лодовику – сидит, на коленях вышиванье. Вот она откладывает иголку и некоторое время за нами наблюдает. Но к искусству Лодовика особой склонности не питала, даже когда видела хорошо. Я медленно считаю до пятидесяти и уже на счете «тридцать девять» слышу, как к ее дыханию примешивается грудной рокот. Кажется, будто в тишине часовни мурлычет огромная кошка. Я оборачиваюсь и гляжу на нее, затем бросаю беглый взгляд на художника.

При сегодняшнем освещении я могу его рассмотреть получше. Для человека, который провел ночь, бродя по городу, выглядит он, пожалуй, неплохо. Он причесан, и волосы его хотя и длинноватые, по меркам нынешней флорентийской моды, зато густые и здоровые, и рядом с этой пышной шевелюрой лицо его кажется еще более бледным. Он высокий и худой, как и я, но для мужчины такая фигура – меньший недостаток. У него широкие изящные скулы, глаза миндалевидной формы, цвета пестрого мрамора – серо-зеленые, с черными крапинками, – так что взгляд у него почти кошачий. Он не похож ни на кого из тех, кого я видела раньше. Я даже не могу понять, красив ли он, хотя, быть может, это оттого, что он весь словно спрятался в свою скорлупу. Если не считать моих братьев и наставников, он – первый мужчина, рядом с которым я оказываюсь в такой близости, и я чувствую, как колотится мое сердце. Хорошо, что хотя бы сидя я меньше похожа на жирафа. Впрочем, он этого, похоже, не замечает. Он смотрит на меня – и в то же время как будто сквозь меня. Свет разливается над моим помостом, грифель непрерывно скребет о бумагу; каждая линия точна и взвешенна – плод счастливого союза глаза и руки. Эта будто звенящая тишина мне хорошо знакома. Я вспоминаю все те бесконечные часы, что я сама проводила в такой же прицельной сосредоточенности, зажав в пальцах заточенный кусочек угля и пытаюсь нарисовать голову собаки, спящей на лестнице, или

передать причудливое уродство моей собственной голой ступни, и это придает мне терпения.

– Матушка говорит, у вас была лихорадка? – наконец спрашиваю я, как будто мы – родственники, которые болтают уже битый час и только сейчас ненадолго умолкли. Когда становится ясно, что отвечать он не собирается, меня так и тянет упомянуть о его ночных прогулках, но я не могу придумать, как об этом заговорить. Грифель продолжает поскрипывать. Я снова упираюсь взглядом в стену часовни. Повисает такая тишина, что кажется, будто мы просидим здесь до скончания времен. Впрочем, в конце концов проснется Лодовика, и тогда будет слишком поздно...

– Знаете ли, художник, если вы хотите здесь преуспеть, то вам нужно хоть немножко научиться разговаривать. Даже с женщинами.

Его глаза чуть косят в мою сторону, и я догадываюсь, что он прислушивается к моим словам, но едва я их произношу, как мне делается неловко за их грубость. Немного погодя я шевелюсь, меняю положение тела. Он прерывается, ждет, пока я снова замру. Я ерзаю. Чем больше я стараюсь сидеть неподвижно, тем неудобнее мне делается. Я потягиваюсь. Он снова ждет. Только теперь я осознала открывшуюся возможность: раз он не разговаривает, я не стану сидеть как следует. Успокоившись, я подношу левую руку прямо к лицу, нарочно загораживая его. Руки – их всегда трудно рисовать. Они костлявые и мускулистые одновременно. Даже наши величайшие художники обычно бьются над ними. Но вот он уже снова рисует; на этот раз царапанье грифеля о бумагу настолько настойчивое, что я сама чувствую знакомый зуд в пальцах – желание поскорей взяться за грифель.

Через некоторое время мне надоедает попусту упрямитесь, и я снова кладу руку на колени и растопыриваю пальцы – они топорщатся, будто чудовищные паучьи лапы. Я наблюдаю за тем, как белеют костяшки, и вижу, как под кожей бьется единственная жилка. Какое же диво – человеческое тело, сплошь заполненное самим собой. Когда я была помладше, у нас в доме жила невольница-татарка – девочка с буйным нравом, страдавшая от припадков; когда на нее находило, она падала в судорогах наземь, запрокидывая голову так сильно, что шея напрягалась и вытягивалась, делаясь похожей на лошадиную, а пальцами впивалась в пол. Однажды у нее изо рта вырвалась пена, и

нам пришлось засунуть что-то ей между зубами, чтобы она не подавилась собственным языком. Лука (которого, как мне сейчас кажется, дьявол всегда занимал гораздо больше, чем Бог) считал, что в нее входит бес, но мама говорила, что девочка просто больна и ее нужно оставить в покое. Потом отец продал ее, хотя я не уверена, что он открыл покупателю всю правду о ее нездоровье. Да, тот недуг легко было принять за одержимость. Она была бы идеальной моделью для художника, решившего изобразить Христа, исцеляющего бесноватого.

Лодовика громко храпит. Пробудить ее сможет только удар грома. Сейчас – или никогда. Я встаю с места:

– Можно посмотреть, что у вас получилось?

Я чувствую, как он цепенеет, и вижу, что он хочет спрятать от меня рисунок, но в то же время понимает, что это будет не совсем прилично. Что же он сейчас сделает? Схватит бумагу и грифель и убежит прочь? Снова на меня набросится? Если он это сделает, то очень скоро окажется верхом на муле и поскачет обратно в свои северные пустоши. А при всей молчаливости глупцом он мне не кажется.

У края стола смелость меня покидает. Я подошла к художнику так близко, что замечаю темные точки щетины у него на лице, а сладковато-гнилостный запах делается еще острее. Это наводит на мысли о разложении и смерти, и я вспоминаю, в какую ярость он впал тогда, в прошлый раз. Я с тревогой озираюсь на дверь. А что, если кто-то войдет? Наверное, он думает о том же самом. Одним неловким движением он толкает доску с рисунком, повернув его ко мне изображением, чтобы я не подходила к нему еще ближе.

Лист заполнен зарисовками: вот набросок моей головы целиком, затем отдельные части лица – глаза, чуть прикрытые веки, передающие какое-то промежуточное выражение между робостью и лукавством. Он ничуть не польстил мне, как я иногда льстила Плаутилле, рисуя ее, чтобы она на меня не ябедничала. Нет, я вижу здесь саму себя, очень живую, полную и озорства, и волнения – словно мне запрещено говорить и в то же время трудно молчать. Он уже знает про меня гораздо больше, чем я – про него.

А вот и зарисовки моей руки, прислоненной к лицу: и ладонь, и тыльная сторона, и пальцы – маленькие колонки живой плоти. С

натуры они перенесены на бумагу. У меня голова начинает кружиться от его мастерства.

– О! – невольно вырывается у меня от горечи и изумления. – Кто вас этому научил?

Я снова гляжу на свои пальцы – на живые и нарисованные. И мне больше всего хочется видеть, как это у него выходит, хочется понаблюдать за тем, как ложится на бумагу каждый штрих. Только ради этого я рискнула бы подойти еще ближе. Я гляжу на его лицо. А что, если молчит он не от спеси, а от робости? Каково это – быть настолько робким, что даже заговорить боязно?

– Вам, должно быть, тяжело здесь, – говорю я спокойно. – Я бы, наверное, тоже тосковала по родным местам.

Я не надеялась услышать ответ, и все у меня внутри отзывается легким трепетом на его голос, который оказывается мягче, чем я ожидала, хотя и сумрачнее, чем его глаза.

– Здесь всюду цвет. Там, откуда я родом, все серое. Иногда невозможно понять, где заканчивается небо и начинается море. А когда есть цвет, то все меняется.

– Ну, тогда во Флоренции, наверное, все так, как должно быть на земле. Я хочу сказать – на Святой земле, там, где жил Господь. Там все залито солнцем. Так рассказывают крестonosцы. Там, наверное, такие же яркие краски, как тут у нас. Вам как-нибудь нужно сходить на склад моего отца. Когда свертки ткани уже окрашены и их ставят рядами, то кажется, будто проходишь сквозь радугу.

Мне вдруг приходит в голову, что это, наверное, самая длинная речь, какую он когда-либо слышал из уст женщины. Я чувствую, как в нем снова поднимается тревога, и вспоминаю, как в прошлый раз, стоя передо мной, он дрожал всем телом.

– Да вы меня не бойтесь, – выпаливаю я. – Я сама знаю, что иногда много болтаю, но мне только четырнадцать, а значит, я еще не женщина, а ребенок, так что я не причиню вам вреда. К тому же я люблю искусство не меньше, чем вы.

Я вытягиваю вперед обе руки и осторожно кладу их между нами на стол, распластав пальцы на деревянной поверхности, отчасти напряженные, отчасти расслабленные.

– Раз уж вы изучаете руки, почему бы вам не изобразить их в покое? Так их легче рассмотреть, чем когда они на коленях. – Услышь

меня сейчас мать, она бы одобрила скромные нотки в моем голосе.

Я стою совсем неподвижно, опустив глаза, и жду. Потом вижу, как доска скользит по столу, и где-то рядом приходит в движение грифель. Заслышав, как художник водит им по бумаге, я отваживаюсь поднять взгляд. Лист виден мне лишь под углом, но все равно отсюда можно наблюдать, как образ обретает форму: десятки мелких плавных касаний сыплются на бумагу. Он не тратит времени на раздумья или сомнения, не оставляет зазора между «вижу» и «делаю». Словно заглядывает под кожу моих рук, а потом оттуда, изнутри, выстраивает изображение.

Я наблюдаю за тем, как он работает. Теперь молчание между нами как будто стало чуть легче.

– Матушка говорила, вы посещали наши церкви. – Он едва заметно кивает. – А какие фрески вам понравились больше всего?

Его рука замирает. Я не свожу глаз с его лица.

– Санта Мария Новелла. «Житие Иоанна Крестителя». – Он отвечает, не колеблясь.

– Гирландайо! О да, его Капелла Маджоре – одно из чудес нашего города.

Немного помолчав, он добавляет:

– И... и еще одна капелла, на том берегу.

– Санто Spirito? Санта Мария дель Кармине?

Он кивает, слышав второе название. Ну конечно. Капелла Бранкаччи в монастыре Кармине. Мамины наставления, несомненно, ее связи и его монастырское прошлое отворили перед ним двери, обычно запертые для посторонних.

– Фрески с житием святого Петра. Да, здесь их высоко ценят. Мазаччо умер, так и не завершив их, – вы знаете об этом? Ему было двадцать семь лет. – Я вижу, это произвело на него впечатление. – Меня водили туда однажды в детстве, но сейчас я плохо их помню. А из них вам что больше всего понравилось?

Он хмурится, как будто это слишком трудный вопрос.

– Там есть две фрески, изображающие Райский сад. На второй, когда их изгоняют оттуда, Адам и Ева плачут... Нет, скорее, вопят, сознавая, что утратили благоволение Бога. Я еще никогда не видел такой скорби.

– А до грехопадения? Так же ли велика была их радость, как потом – скорбь?

Он качает головой:

– Радость не так сильна. Она написана рукой другого художника. А у змея, который свешивается с дерева, – женское лицо.

– Да, да, – киваю я. Наши глаза встречаются, и он слишком увлечен, чтобы сразу отвести взгляд. – Мне матушка рассказывала. Хотя Священное Писание не дает никаких оснований для такой трактовки.

Однако, вспомнив о дьяволе, сидящем в женщине, он снова уходит в себя и замолкает. Снова слышно лишь царапанье грифеля. Я гляжу на его доску. Откуда у него этот дар? Неужели в самом деле от Бога?

– Вы всегда умели так рисовать, художник? – спрашиваю я мягко.

– Не помню. – Его голос чуть слышен. – Святой отец, который учил меня, говорил, что в моих пальцах обитает Бог и что это послано мне за то, что я лишился родителей.

– О, я уверена, он был прав! Вы знаете, у нас во Флоренции верят, что великое искусство является постижением Бога в природе. Так сказал Альберти, один из виднейших наших ученых. Ему вторил художник Ченнини. Здесь многие читают их трактаты о живописи. У меня есть эти книги на латыни, и если вы захотите... – Я сознаю, что это похвальба, но удержаться не могу. – Альберти утверждает, что в красоте человеческого тела отражается красота Бога. Хотя, разумеется, он многое взял у Платона. Но, может быть, вы и Платона не читали? Если вы хотите добиться признания здесь, во Флоренции, вам без него не обойтись. Платон, хоть и не ведал Христа, очень тонко понимал человеческую душу. Древние постигали Бога – это одно из важнейших открытий, сделанных у нас, во Флоренции.

Будь здесь мама, она бы уже за голову схватилась, слыша, как я кичусь – и собой, и городом, – но я знаю, что он слушает. Я догадываюсь об этом по тому, как его рука замерла возле листа. Может быть, он еще что-нибудь сказал бы, если бы Лодовика внезапно громко не всхрапнула – а такое обычно случалось с ней незадолго до пробуждения. Мы оба застыли.

– Что ж, – сказала я, быстро отступая. – Пожалуй, нам пора прерваться. Но потом я могу снова подойти, и вы, если хотите, еще

порисуете мои руки.

Но он откладывает доску с листом, и я, взглянув на рисунок, вижу, что он уже зарисовал все, что ему нужно.

Я вынула из сундука книги Альберти и Ченнини и положила их на кровать. Расстаться с Ченнини невыносимо. Я во всем от него завишу – от падающих складок до красок, которые мне никогда не доведется смешивать. Но Альберти я, пожалуй, могу ему одолжить.

Я попросила Эрилу стать моей посыльной, предложив ей за это в подарок красный шелковый платок.

– Нет.

– Как это нет? Ты же любишь этот цвет. А он – тебя.

– Нет.

– Но почему? Это же так просто. Идешь вниз и отдаешь ему книгу. Ты не хуже меня знаешь, где его комната.

– А если ваша матушка узнает?

– Не узнает!

– Но если узнает? Она сразу смекнет, что книжка от вас, и догадается, кто ее принес. Вот уж велит кожу с меня содрать на кошельки!

– Глупости! – Я подбираю слова. – Она... она поймет, что нас с ним объединяет тяга к искусству. Что все это – лишь во имя Божие.

– Ха! Не так об этом рассказывает старая Лодовика.

– О чем это ты? Она же спала. Она ничего не видела. – Теперь Эрила молчит, но я уже проговорила, и она начинает улыбаться. – Ах, да ты меня просто подлавливаешь, Эрила. Ничего она тебе не говорила!

– Она – нет. А вот вы только что многое мне рассказали.

– Мы разговаривали об искусстве, Эрила. Правда. О капеллах, о церквях, о цвете и солнце. И могу тебе сказать наверняка – его пальцами водит Бог. – Я немного помолчала. – Хотя манеры у него невыносимые.

– То-то мне и боязно. Больно вы оба похожи. Но книгу она все-таки взяла.

За этим последовали безумные дни. В то время как мать со служанками занимались подготовкой нарядов для Плаутиллы, сама Плаутилла часами занималась подготовкой к свадьбе собственной

персоны: осветляла волосы, отбеливала кожу, пока, наконец, не стала походить скорее на привидение, чем на невесту. В этот раз я выбралась к окну поздно ночью; мне запомнилось это, потому что Плаутилла тогда несколько часов не могла заснуть от возбуждения, и, лежа в постели, я слышала, как били колокола Сант Амброджо. Художник показался почти сразу же: он выскользнул на улицу той же целеустремленной поступью, закутанный в тот же длинный плащ. Но на сей раз я решила непременно дождаться его возвращения. Была ясная весенняя ночь, небо являло собой сплошную звездную карту, и потому, когда чуть позже грянул гром, казалось, что он взялся ниоткуда, а последовавшая за ним молния гигантским зигзагом прорезала небосвод.

– Э-Э!

– Э-ге-ге!

Я увидела, как они огибают угол – мои братья и их дружки, – пошатываясь, точно шайка морских пиратов, чьи ноги непривычны к суше. Они плелись по улице в обнимку, похлопывая друг друга по плечам. Я уже соскользнула с подоконника – но у Томмазо ястребиное зрение, и вот я слышу его дерзкий свист, каким обычно он подзывает собак.

– Эй, сестренка! – загрохотал его голос, отскакивая эхом от булыжников. – Сестренка!

Я высовываю голову и шиплю на него, чтобы он замолк, но он был слишком пьян, чтобы меня услышать.

– Э-ге-ге... Глядите-ка на нее, ребята. Мозги – величиной с купол Санта Мария дель Фьоре. А лицо – вылитая собачья задница.

Собутыльники дружно хохочут над его остротой.

– Замолчи, или тебя услышит отец, – выкрикиваю я в ответ, пытаюсь скрыть обиду за злостью.

– Если и услышит, то тебе влетит больше, чем мне.

– Где ты был?

– А почему ты Луку не спрашиваешь? – Но Лука без посторонней помощи на ногах не стоял. – Когда мы его нашли, он держался за каменные сиськи святой Екатерины и блевал ей на ноги. Не найди мы его первыми, забрали бы парня за кощунство.

Следующая вспышка молнии озарила небо так ярко, словно наступил день. Гром послышался совсем близко, причем вместо

одного удара раздалось два. Второй был таким оглушительным, что казалось, сама земля треснула. Конечно же все мы слышали подобные рассказы: как порой земля раскалывается, а из трещины выскакивает дьявол и хватает чью-нибудь заблудшую душу. Я в ужасе вскочила на ноги, но грохот уже смолк.

Гуляки внизу испугались не меньше моего, но попытались скрыть свой страх под воплями деланого ужаса:

– О-о-а! Гром небесный и трус земной! – проорал Лука.

– Нет. Это из пушек палят, – расхохотался Томмазо. – Это французская армия перешла через Альпы и идет завоевывать Неаполь. Какие славные дела! Ты только подумай, сестричка. Грабежи и насилия. Я слышал, неотесанные французы мечтают перепортить всех девственниц новых Афин.

Из сада позади дома донеслись крики павлинов – противные, скрипучие звуки, способные пробудить мертвеца. Я увидела, как на улице всюду распахиваются окна, так что на мостовую легла полоска тусклого света, ведущая к собору. Художнику придется подождать. Я в два счета выскочила из комнаты и взбежала по лестнице к себе. Уже скользнув в постель, я услышала внизу сердитый голос отца.

Наутро дом гудел новостями: глубокой ночью молния ударила прямо в фонарь купола Санта Мария дель Фьоре, расколов мраморную глыбу и обрушив ее наземь так, что одна половина этой глыбы проломила крышу собора, а другая разрушила стоявший по соседству дом, хотя обитавшая в нем семья чудесным образом избежала гибели.

Но худшее было еще впереди. В ту самую ночь Лоренцо Великолепный – ученый, дипломат, политик и знатнейший гражданин и благодетель Флоренции – у себя на вилле в Кареджи лежал в постели, скорчившись от подагры и боли в животе. Услышав о том, что случилось в городе, он отправил туда посланца, чтобы узнать, куда упал камень, а когда ему принесли ответ, то закрыл глаза и сказал: «Все совпадает. Сегодня ночью я умру».

И умер.

Известие об этом поразило город сильнее, чем громовой удар. На следующее утро я сидела с братьями в душном кабинете, где наш учитель греческого читал надгробную речь Перикла,^[7] запинаясь и обливая слезами страницы старательно переписанного манускрипта, и хотя потом мы посмеивались над его похоронными завываниями, в те

минуты я видела, что даже Лука искренне тронут. Отец в тот день закрыл свою контору, а из комнат служанок доносились стенания Марии и Лодовики. Лоренцо Медичи был самым почитаемым гражданином еще до моего рождения, и его смерть дохнула на всех нас ледяным ветром.

К ночи его тело привезли в монастырь Сан Марко, и знатнейшим горожанам было позволено взглянуть на него в последний раз: в их числе оказалась и наша семья. Гроб в капелле был поднят так высоко, что даже я с трудом разглядела лежавшего в нем Лоренцо. Тело обрядили скромно, как и подобало этому семейству (ведь Медичи, хоть, по существу, и правили Флоренцией, никогда этим не кичились). Лицо казалось спокойным – ни следа мучительных болей в животе, от которых, как рассказывали, он страдал перед кончиной. (Томмазо передавал сплетни, будто врач прописал ему от этих схваток истолченные в порошок жемчуга и алмазы. Позднее те, кто его недолюбливал, поговаривали, будто он умер оттого, что проглотил свои собственные последние сокровища, чтобы городу ничего не досталось.) Но больше всего мне запомнилось, до чего он уродлив. Хоть я и видела его профиль на десятках медальонов, во плоти он куда сильнее поражал взгляд: сплюснутый кончик носа почти доходил до нижней губы, а острый подбородок торчал вверх, как скала на каменном мысу.

Пока я гладела на него, Томмазо нашептывал мне на ухо, что чудовищная внешность Лоренцо действовала на женщин как приворотный напиток, они с ума сходили от вожделения, а его любовные стихи разжигали огонь даже в самых холодных женских сердцах. Глядя на мертвого, я снова вспомнила тот день в церкви Санта Мария Новелла, когда мать обратила мое внимание на величественную капеллу с фресками Гирландайо и сказала, что в этот миг на наших глазах совершается история. Я догадалась, что сейчас тоже наступил исторический миг, и принялась искать мать глазами в толпе; мой взгляд застиг ее врасплох: ее лицо было залито слезами, сверкавшими в пламени свечей, как хрусталь. Я никогда в жизни не видела ее плачущей, и это зрелище встревожило меня даже сильнее, нежели вид покойника.

Монастырь Сан Марко, где выставили тело, был любимой обителью Козимо, деда Лоренцо, и все семейство изрядно потратилось

на ее украшение. Однако новый приор уже проявил независимость мысли, понося Медичи за то, что они поощряют языческих ученых и пренебрегают словом Божиим. Поговаривали даже, будто он отказался отпустить Лоренцо грехи на смертном ложе, но, по-моему, это были всего-навсего хулительные сплетни из тех, что пробегают по толпе как огонь по сухой траве в жаркий день. Разумеется, в тот день фра Джироламо Савонарола^[8] ограничился лишь самыми почтительными словами: он прочел пылкую проповедь о бренности земной жизни в сравнении с вечностью Божьей благодати, и призвал нас каждодневно жить, будто бы нося «очки смерти», дабы не соблазняться земными наслаждениями, но всегда быть готовыми к встрече со Спасителем. Сидевшая на скамьях паства усердно кивала, соглашаясь с его словами, но я подозреваю, что потом все, кто мог себе это позволить, возвратились домой к богато накрытым столам и прочим удовольствиям жизни. Во всяком случае, именно так сделали мы.

Поскольку и наша семья, и будущая семья Плаутилле были хорошо известны как сторонники Медичи, свадьбу отложили. Моя сестра терпеть не могла, когда ее особу отодвигают на задний план, к тому же из-за долгого ожидания она и так была вне себя; и вот теперь она бесцельно блуждала по дому с белым как простыня лицом и злющая, как дьявол из Баптистерия.

Но на этом бедствия не окончились. Со смертью Лоренцо на город обрушились, казалось, все мыслимые напасти. В последовавшие за этим недели Эрила приносила домой всякие ужасные рассказы – как за день до его смерти два льва, эти символы нашего величия, подрались и растерзали друг друга насмерть в своей клетке за площадью Синьории, а на следующий день женщина лишилась рассудка во время мессы в Санта Мария Новелла и принялась носиться в проходе между скамьями, крича, что за ней гонится дикий бык с рогами, объятый огнем, и вот-вот обрушит на них здание церкви. После того, как ее увели, люди еще долго уверяли, что слышат эхо ее криков в нефе.

Но самая страшная новость была вот такая: неделю спустя ночная стража Санта Кроче обнаружила тело юной девушки в заболоченном месте между церковью и рекой.

Эрила не пожалела кровавых подробностей, рассказывая обо всем мне и Плаутилле, пока мы сидели в саду за вышиваньем, под сенью живой беседки. Нас со всех сторон обступали весенние желтые

раakitники, благоухали сирень и лаванда, лишь оттеня живописуемое зловоние.

– ...труп настолько разложился, что мясо отваливалось от костей. Стражникам пришлось дышать через платки, пропитанные камфарой, пока они забирали тело. Говорят, она умерла еще в ту ночь, когда грянул гром. Изверг даже не закопал ее. Она лежала в луже собственной крови и стала поживой для крыс и собак. Они выели у нее половину живота, а все тело было искувано.

В воззвании, которое позднее зачитали на рыночной площади, говорилось, что девушка подверглась жестокому нападению. Власти призывали преступника объявиться ради спасения собственной души и доброго имени Республики. То, что юных девушек у нас в городе насиловали и иногда они умирали от этого, было печально, но общеизвестно. Дьявол нащупывал путь в души многих мужчин через их чресла, и подобные преступления лишь подтверждали пользу старинных правил, которые предписывали добропорядочным мужчинам и женщинам держаться подальше друг от друга до брака. Но это преступление – иное дело. По словам Эрилы, ту девушку подвергли перед смертью страшным истязаниям: ее половые органы были изрезаны и изодраны столь жестоко, что даже невозможно было понять, кто сотворил с ней такое – человек или зверь.

Все это было несказанно чудовищно, и никого и не удивило, что спустя несколько месяцев воззвания эти упали со стен, насквозь промоченные дождем, и их втоптали в грязь свиньи и козы, но никто так и не явился сознаваться в преступном деянии, оставившем несмываемое пятно на душе нашего города.

Свадьба Плаутиллы, когда она наконец состоялась, стала настоящим торжеством тканей отца и нашего богатства. Когда я думаю о сестре, то она всегда вспоминается мне такой, какой была в тот день. Вот она восседает в зале, наряженная для предстоящей церемонии. Час ранний, освещение нежное и мягкое, и художника пригласили сделать последние эскизы для настенной росписи. Плаутилла устала (не спала почти всю ночь, хоть мама и дала ей выпить снотворное снадобье) и выглядит так, словно только что поднялась с полей Элизиума. У нее полное, нежное лицо, кожа мертвенно-бледная, хотя на щеках пробивается румянец волнения. Глаза ясны, их внутренние уголки блестят и краснеют на фоне белков, как гранатовые зернышки. Ресницы ни чересчур густы, ни чересчур темны – никаких кустов самшита, а брови, широкие посередине, к носу и ушам сужаются, будто наведенные рукой живописца. Ротик у нее маленький, губы формой напоминают лук Купидона, а волосы – вернее, те пряди, что виднеются из-под цветов и украшений, – свидетельствуют о прелестной неге, повествуя о долгой череде дней, проведенных в полной праздности на летнем солнце. Ее платье сшито по последней моде: фестончатый ворот подчеркивает пышность ее плеч и превосходное качество отцовского батиста, уже пользующегося бешеным спросом; объемистые нижние юбки воздушны, как ангельские крылья, и, когда она проходит мимо, слышно шуршанье ткани, метущей пол. Само же платье настолько великолепно, что плакать хочется. Оно сшито из лучшего желтого шелка, оттенка ярчайшего шафрана – такой выращивают в лугах вокруг Сан-Джиминьяно ради получения красителя. Юбка расшита, но не перегружена узорами, как иные платья, что спорят в церкви с алтарным убранством; вышитые цветы и птицы будто переплетаются, образуя изящный рисунок,

В этом наряде моя сестра так прекрасна, что если верить Платону, то в ней наверняка светится внутренняя добродетель. И уж конечно, сегодня утром она милее, чем обычно: от радостного волнения она почти парит в воздухе. Но, как ей ни хочется, чтобы с нее писали портрет, ей не хватает терпения долго сидеть перед художником.

Поскольку все в доме заняты, меня определили к ней в спутницы и наперсницы, велел развлекать ее, а тем временем на другом конце зала рука художника скользит по листу бумаги.

Разумеется, мое внимание приковано не только к ней, но и к нему. Всем домочадцам по случаю праздника подарили новую одежду, и он тоже выглядит нарядно, хотя, похоже, ему не особенно удобно в обновке. Миновало уже несколько недель с тех пор, как я передала ему книгу Альберти, но я так и не получила от него весточки. Он нагулял жирок (спасибо нашим поварам) и, пожалуй, стал держать голову чуть выше – или это моя фантазия? Когда я вхожу, наши взгляды встречаются, и мне даже чудится улыбка, но как раз сегодня ему тоже подобает смирение. Единственное, что неизменно, – это его рука, твердая, как и прежде: с каждым штрихом Плаутилла делается на бумаге все живее. Попутно он ставит напротив разных тканей цифры, чтобы потом сразу сообразить, где наносить какие краски.

Я до сих пор понятия не имею, куда и зачем он уходит по ночам. Даже моя царица сплетен ничего не может мне поведать. В нашем доме он по-прежнему нелюдим, чуждающийся общества, только теперь слуги считают, что это не из-за недомогания, а от спеси – мол, ставит себя выше их (что, учитывая его статус семейного живописца, было бы справедливо). И лишь много позже я поняла, что вовсе не гонор мешал ему вступать в разговоры с другими людьми – он просто не знал, о чем с ними говорить. И что дети, воспитанные в монастыре, среди взрослых, лучше других знают великую силу одиночества и чистой, но суровой самодисциплины, позволяющей беседовать лишь с Господом.

Я ловлю на себе его взгляд и вдруг понимаю, что теперь он рисует меня. Мой портрет ему никто не велел писать, поэтому его внимание заставляет меня вспыхнуть. Важно, чтобы младшая сестра, то есть я, не затмевала красоту невесты, хотя такое попросту невозможно. Несмотря на все матушкины притирания, моя кожа столь же смугла, сколь светла она у сестры; вдобавок в последнее время мое жирафье тело начало так набухать, что этого не в силах скрыть никакие ухищрения Эрилы со шнуровкой и широкими складками платья. Художник не успевает завершить набросок. Комната неожиданно заполняется людьми, и нас увлекают к выходу. Внизу, во дворе, въездные ворота распахнуты, и мы с Эрилой наблюдаем, как

Плаутилли подсаживают на белую лошадь (при этом подол платья растекается вокруг нее золотым озером), как конюхи поднимают на плечи свадебный ларь (Эрила замечает, что ровно столько же мужчин потребовалось, чтобы нести гроб Лоренцо). И вот процессия, направляющаяся к дому жениха, трогается в путь.

Пока мы шествуем по улицам, вокруг собирается целая толпа, что особенно радует отца: он-то знает, что наше состояние растёт благодаря тому, что женские желания легко спрясть и соткать. А возле дома Маурицио нас уже поджидают десятки богатейших семей Флоренции, и в каждой из них жаждут обладать новыми прекрасными тканями.

Фасад их палатцо увешан нарядными гобеленами, одолженными по случаю бракосочетания. Во внутреннем дворе для свадебного пиршества накрыты длинные столы на козлах. Если мой отец непревзойден по части тканей, то его будущие свойственники не уступают ему по части угощения. Нет в пригодных для охоты окрестностях Флоренции ни единого животного, которое не лишилось хотя бы одного своего сородича, пожертвовав им для сегодняшнего пира. Нам подано редчайшее дорогое блюдо – жареные павлиньи языки (впрочем, я не в силах жалеть этих птиц, вспоминая скрипучие крики их собратьев в нашем саду). Куда больше мне жаль горлицу и серну: мертвые, они совсем не так красивы, как живые, хотя от запаха их сдобренного пряностями мяса у стариков слюна капает на бархатные камзолы. Кроме дичи, есть на столе и домашняя птица – вареный каплун и цыплята, за которыми следуют телятина, зажаренный целиком козленок и огромный рыбный пирог, приправленный апельсинами, мускатным орехом, шафраном и финиками. Перемен блюд так много, что очень скоро к ароматам пищи начинает примешиваться запах отрыжки. Разумеется, государство подобные кулинарные излишества порицает. Во Флоренции, как и в каждом добропорядочном христианском городе, введены законы против роскоши. Но все прекрасно знают, что свадебный сундук – просто средство скрыть от властей многочисленные женские украшения и дорогие ткани, и точно так же пир, следующий за брачной церемонией, – дело частное. В самом деле, известны случаи, когда те самые люди, чья обязанность следить за исполнением закона против роскоши, набивают брюхо остатками с пиршественного стола

обжор, хотя страшно даже и подумать, что бы сказал о таком лицемерии и нравственном падении новый приор монастыря Сан Марко.

После еды начинаются танцы. Плаутилла словно родилась, чтобы быть невестой: простое движение руки она превращает в столь тонко-кокетливое приглашение, что я вновь прихожу в отчаяние от собственной неуклюжести. Когда они с Маурицио исполняют бассаданцу «Лауро», сочинение самого Лоренцо (танцуемое вскоре после его смерти, оно воспринимается как знак верности), от них глаз нельзя отвести.

У меня же, напротив, словно обе ноги – левые. На одном из замысловатых поворотов я совершенно сбиваюсь, и спасает меня только то, что мой партнер, когда мы оказываемся рядом, шепчет мне на ухо, какое нужно сделать движение. Наконец я снова обретаю уверенность, но мой избавитель, мужчина в возрасте, глаз с меня не спускает во время следующего движения, направляя мои шаги, а когда мы сходимся в последний раз – не без некоторого изящества, могу с гордостью сказать, – он наклоняется ко мне и тихо говорит: «Скажите-ка, а в чем приятней делать успехи – в греческом или в танцах?» После чего поворачивается ко мне спиной и успевает поклониться девушке, стоящей рядом со мной.

Поскольку лишь моей родне известны во всех подробностях мои промахи, значит, насплетничали о них, скорее всего, братья – и меня заливают краска стыда. Моя мать, разумеется, ястребиным оком следила за всей этой сценой. Я жду укора в ее глазах, но она только смотрит на меня мгновенье – а потом отводит взгляд.

Празднование длится до глубокой ночи. Гости так наедаются, что потом едва ноги передвигают, а вино течет, как Арно в пору наводнения, поэтому многие мужчины сильно хмелеют. О чем они разговаривают друг с другом, я не могу вам поведать, потому что тут меня отправляют в одну из верхних комнат, с двумя приставленными служанками и с дюжиной других девушек моего возраста. Отделение незамужних девушек от прочих гостей по окончании пира – давний обычай (покуда цветок не раскрылся, его следует оберегать от преждевременного натиска лета), но с недавних пор я чувствую, что меня и других девушек разделяет куда более глубокая пропасть, нежели разница в возрасте. И, глядя сверху на продолжение ночного

празднества, я сказала себе, что это последний раз, когда я выступаю в роли наблюдательницы, а не участницы!

И оказалась права – хотя еще не знала, какую цену мне предстояло за это заплатить.

К своему удивлению, я заскучала по Плаутилле. Поначалу просторная белизна постели и мое неоспоримое единовластие над комнатой, которую прежде мы делили, доставляли мне удовольствие. Но вскоре без сестры кровать мне стала казаться велика. Я больше не услышу ее сопения, не буду уставать от ее болтовни. Ее несмолкаемая стрекотня, пускай пустая и докучливая, так долго служила фоном для моей жизни, что я и не представляла себе, что такое тишина. Дом вокруг меня наполнился эхом. Отец снова уехал в дальние края, а в его отсутствие братья чаще пропадали на улицах. Даже художник ушел: он теперь работал в мастерской поблизости от Санта Кроче, овладевая искусством фресковой живописи, – оно потребуется ему для росписи нашего алтаря. Имея хорошего учителя (и поддержку в виде кошелька моего отца), он купит себе место в гильдии врачей и аптекарей, без обладания которым ни один живописец по закону не имеет права работать в нашем городе. Одна только мысль о подобном возвышении наполняла меня тоской и завистью.

Что до моего будущего, то мать сдержала слово, и пока разговоры о замужестве не велись. Когда отец возвратился, голова у него была занята совсем другими делами. Даже я замечала, что после смерти Лоренцо расстановка сил в городе начала меняться. Вся Флоренция бурно спорила о том, окажутся ли Пьеро Медичи впору отцовские башмаки, а если нет, то не обретут ли враги его семейства, столько лет не смевшие поднять голову, достаточно сторонников, чтобы свалить его. Хотя в ту пору я плохо разбиралась в политике, невозможно было не замечать яда, извергаемого с кафедры Санта Мария дель Фьоре. Ибо с недавних пор приору Савонароле сделалась мала его церковь в монастыре Сан Марко, и теперь он читал свои еженедельные проповеди в Соборе, куда с каждым разом набивалось все больше народу. Похоже, святейший монах напрямую общался с Господом, и когда они с ним вдвоем взирали с высоты на Флоренцию, то видели город, испорченный привилегиями и гордыней ума. После стольких лет, проведенных за слушанием проповедей, трактовавших Писание, но не несших в себе ни искорки огня, теперь я, замороженная, слушала

его речи, пламенные, словно лава. Когда он обрушивался на Аристотеля или Платона как на язычников, чьи сочинения подрывают основы истинной церкви, в то время как души их горят в вечном огне, я конечно же могла найти свои доводы в их защиту – но лишь после того, как голос Савонаролы переставал звенеть у меня в ушах. Его страстность была сродни одержимости, от картин ада, что рисовали его слова, внутри меня все сжималось, и в воздухе пахло серой.

Как все это грозило сказаться на моем будущем браке, трудно было сказать; ясно было только, что замужества не избежать: если верить Савонароле, в этом мрачном, пораженном всеми пороками городе девственницы находятся в большей опасности, чем когда-либо прежде: стоит только вспомнить о той несчастной девушке, чье тело оказалось погублено чьей-то похотью и брошено на пожранье псам на берегу Арно. Мои братья, которым предстояло ходить в холостяках лет до тридцати с лишним, чтобы достаточно остепениться ко времени женитьбы, а заодно успеть перепортить бог весть сколько невинных девушек-служанок, на все лады издевались надо мной, посвящая во все подробности брачного союза.

Мне запомнился один такой разговор, случившийся летом, после свадьбы сестры. В доме снова кипела жизнь: отец занимался делами, связанными с его последним путешествием, а художник, вернувшийся к нам после ускоренной учебы, закрылся у себя в комнате и засел за работу, заканчивая зарисовки для часовни. Я сидела в своей комнате с раскрытой книгой на коленях, а сама ломала голову над тем, как бы и под каким предлогом зайти к нему. И тут в дверях показались Томмазо и Лука: нарядные, явно куда-то собрались. Впрочем, новомодный плащ, оставляющий открытыми бедра, куда больше шел Томмазо с его красивыми ногами, чем Луке, который носил отцовские ткани с изяществом воловьей телеги. Томмазо, напротив, улавливал модные веяния на лету и с ранних лет ходил с таким видом, словно им любуется весь мир. Щегольство его было столь неприкрытым, что становилось смешно, хотя я и знала, что лучше его не высмеивать. В отместку он умел ранить очень больно, что уже делал неоднократно.

– Алессандра, сестрица, – сказал он, отвешивая мне насмешливый поклон. – Гляди-ка, Лука, она опять читает книгу! Само очарование, А какая скромная поза! Только ты имей в виду, сестренка: мужьям хоть и

нравятся покладистые жены с потупленным взором, иногда тебе придется поднимать на них глазки.

– Что ты сказал? Прости, я не расслышала.

– Я сказал, что ты на очереди. Правда, Лука?

– На какой еще очереди?

– Мне сказать – или ты ей скажешь? Лука передернул плечами.

– Чтобы тебя ощипали и начинили, – сказал он тоном повара на кухне. Моим братьям туго давалась греческая грамматика, зато они быстро подхватывали последние уличные словечки, которые и пускали в ход, когда матери не было поблизости.

– Ощипали? Начинили? Что это значит, Лука? Объясни.

– Это то, что сделали с Плаутиллоу. – Он ухмыльнулся, намекая на недавно поразившее наш дом известие о беременности моей сестры и ожидаемом наследнике.

– Бедная сестренка. – Сочувствие Томмазо еще хуже, чем его злоба. – Разве она не рассказала тебе, как это делается? Ладно, это еще впереди. А я могу говорить только за мужчин. Если с той, что созрела, – то это похоже на первый кусок сочной дыни.

– А что ты потом делаешь с кожурой? Он рассмеялся.

– В зависимости от того, надолго тебе эта дыня нужна или нет. Впрочем, может быть, тебе нужно задать тот же вопрос своему драгоценному художнику.

– А он-то тут при чем?

– А ты не знаешь? Ах, милая Алессандра, я-то думал, ты знаешь все на свете. Ведь об этом нам постоянно твердят учителя.

– Они имеют в виду – по сравнению с вами, – съязвила я, не сдержавшись. – Так что ты там говоришь про художника?

Я проявляю слишком явное нетерпение, и это дает Томмазо преимущество.

Он заставляет меня томиться любопытством.

– Я говорю, что наш якобы благочестивый художничек проводит ночи, рыская по флорентийским трущобам. И вовсе не затем, чтобы писать картины. Правду я говорю, Лука?

Брат с глупой ухмылкой кивает.

– Откуда тебе знать?

– Да мы его там встретили – вот откуда.

– Когда?

– Прошлой ночью. Он крался домой по Понте-Веккьо.

– Ты с ним заговорил?

– Я окликнул его и спросил, куда он ходил.

– А он?

– Поглядел на меня виновато, как сам грех, и ответил, что «дышал ночным воздухом».

– Может, так оно и было.

– Ах, сестричка! Ты себе не представляешь. У твоего драгоценного художника такой вид был! Роба как у призрака, вся в пятнах. От него прямо разило дешевой сучьей дыркой. – Я не слышала этого выражения раньше, но по тому, как он его произнес, я, кажется, догадалась, что оно значит, – причем меня поразило ледяное презрение в его голосе. – Вот так. Если снова будешь ему позировать, закутывайся в плащ поплотнее. А не то он тебе такой портрет сделает...

– Ты кому-нибудь еще об этом рассказывал? Он улыбается:

– Ты хочешь знать, не наябедничал ли я на него? А зачем? Наверняка он рисует лучше после сочной шлюхи, чем испостившись на Евангелии. Что это бишь за художник, который тебе так нравится? Тот, что спал с монашкой и писал с нее Мадонну?

– Фра Филиппо, – сказала я. – Она была красавица. И он предложил ей потом стать его женой.

– Только потому, что его Медичи заставили. Готов поспорить, старик Козимо сбил ради этого цену за алтарную роспись.

Похоже, что Томмазо унаследовал некоторую долю отцовской деловой сметки.

– А что за сделку ты заключил с художником в обмен на твое молчание, Томмазо?

Он рассмеялся:

– А как ты думаешь? Заставил его пообещать, что у нас с Лукой на портретах будут красивые ноги и широкие лица. Запечатлеть нашу красоту для потомков. А тебя он изобразит с заячьей губой. И одну ногу сделает короче другой – чтоб понятно было, почему ты так танцуешь.

Хоть я и ждала чего-то подобного, его жестокость все равно застаёт меня врасплох. Суть всех наших с ним споров – всегда одна и та же: ему хочется отомстить мне за свои унижения в классной

комнате, а я не сдаюсь. Мне иногда кажется, что весь мой жизненный путь разыгрывался в этих битвах с Томмазо. И каждый раз, побеждая, я в чем-то и проигрывала.

– Ах, только не говори, что я ранил твои чувства! Если б ты только знала... Мы же делаем тебе честь, правда, Лука? Нелегко ведь подыскать мужа для девушки, которая цитирует Платона, но путается в собственных ногах. Всем известно, что тебе понадобится немалая помощь в этом поиске.

– Вам лучше поостеречься – обоим, – произнесла я мрачным тоном, понижая голос, чтобы скрыть обиду. – Вам кажется, вы можете вытворять все, что вздумается. Что деньги отца и наш герб развязывают вам руки. Но если бы вы открыли глаза, то увидели бы, что мир меняется. Меч гнева Господня уже занесен над городом. Господь наблюдает за вами, когда вы крадетесь ночными улицами, и видит, какое зло вы творите.

– О, да ты заговорила совсем как этот, – нервно хихикает Лука. Я неплохо подражаю чужим голосам, если стараюсь.

– Смеешься! – Я поворачиваюсь к нему и сверлю его взглядом, как делает Савонарола, выступая с кафедры. – Но очень скоро ты заплачешь. Господь пошлет мор, наводнение, войну и голод, дабы наказать неправедных. Те, кто ныне облачится в праведные одежды, будут спасены, все же прочие задохнутся в серном дыму.

На мгновение, я готова поклясться, даже мой рыхлый братец ощутил жар адского пекла.

– Не слушай ее, Лука. – Томмазо орешек покрепче, его так просто не запугаешь. – Этот монах – безумец. Все это понимают.

– Не все, Томмазо. Он умеет проповедовать и ловко приводит места из Писания. Тебе не мешало бы как-нибудь его послушать.

– А-а... Да я пытался слушать, только у меня сразу глаза слипаются...

– Это потому, что ты ночью шляешься! А ты оглянись вокруг – и увидишь, как он воздействует на тех, кто всю ночь проспал в собственной постели. Да у них глаза с тарелку. И они верят ему. – Я замечаю, что Лука внимательно меня слушает.

– Война? Голод? Наводнение? Да мы почти каждый год видим, как Арно выходит из берегов, а если выпадет неурожай, то людям снова нечего будет есть. При чем тут воля Божья?

– Да, но если он что-нибудь предскажет, а потом оно сбудется, то люди это отметят. Вспомни, как было с Папой Римским.

– Ну и что? Он предсказывал, что больной старик умрет, а когда тот умирает, все называют этого говоруна пророком. Не думал, что это тебя поразит. Кстати, тебе надо поостеречься – причем больше, чем нам. Если ученость в мужчинах внушает ему подозрения, то женщин он и вовсе почитает сосудами дьявола. Он даже убежден, что женщины не должны разговаривать... Потому что, если помнишь, милая сестренка, именно Ева своими речами соблазнила Адама...

– Почему в доме только и слышно, что ваши споры? – В комнату ворвалась мать, одетая в дорожное платье. За ней семенили Мария и другая служанка с несколькими кожаными сумами в руках. – Вы же вопите, как уличные оборванцы! Стыдно вас слушать! Вам, мессер, не подобает дразнить сестру, а ты, Алессандра, позоришь весь женский пол.

Мы все кланяемся ей. Но в полупоклоне я нахожу глазами Томмазо, и он отвечает понимающим взглядом. Несмотря на наши перепалки, иногда приходится прикрывать друг дружку.

– Милая матушка, мы просто спорили о религии, – оправдывается он с очарованием, обезоружившим бы иную, но наша мать остается непоколебимой. – Насколько внимательно мы должны прислушиваться к недавним проповедям нашего доброго монаха?

– О-о... – Мать сердито вздыхает. – Надеюсь, мои дети смогут следовать Божьей воле сами, без понуканья Савонаролы.

– Но вы-то, конечно, с ним не согласны, матушка? – торопливо вмешалась я. – Ведь он же считает, что изучение древних – это отступничество от Христовой истины?

Она, замерев, с недоумением глядит на меня, видимо продолжая думать о чем-то другом.

– Алессандра, каждый день я молюсь о том, чтобы ты обрела покой, задавала меньше вопросов и больше вещей принимала как данность. Что касается Джироламо Савонаролы: что ж, он – святой человек, который верует в царствие небесное. – Тут она нахмурилась. – И все же я не понимаю – зачем Флоренции понадобилось выискивать монаха из Феррары, дабы тот поднес к ее душе зеркало. Уж если приходится выслушивать плохие вести, то

пусть их принесет кто-нибудь из родни. Как вот сейчас. – Она вздохнула. – Мне нужно ехать к Плаутилле.

– Плаутилле? Зачем?

– Что-то не так с ребенком. Она послала за мной. Скорее всего, я переночую у нее, а весточку пришлю с Анджеликой. Алессандра, прекрати спорить и начинай готовиться к занятиям с учителем танцев – он, кажется, еще верит в чудеса. Ты, Лука, ступай садись за уроки, а ты, Томмазо, останешься дома и будешь дожидаться разговора с отцом, когда тот возвратится. Он сейчас на заседании Совета Десяти в Синьории, так что, вероятно, придет домой поздно.

– Но, матушка...

– Какими бы делами ты ни собирался заниматься сегодня вечером, Томмазо, они могут подождать до возвращения твоего отца. Ясно?

И мой братец-красавчик, у которого на все готов ответ, прикусил язычок.

Я засиделась допоздна, уплетая молочные желе, которые стянула из кладовой (из-за моего аппетита наш повар души во мне не чаял, и такая кража в его глазах выглядела лишь искреннейшей лестью его искусству), и играла с Эрилой в шахматы, попутно выуживая из нее сплетни. Шахматы – единственная игра, в которой я способна взять над ней верх. В кости и карты меня обыгрывает, хотя подозреваю, что она и жульничать мастерица. Занимайся она этим на улице, она бы, наверное, быстро разбогатела, хотя азартные игры причислены Савонаролой к тем грехам, на которые он обрушивает теперь свой пламенный гнев с кафедры собора.

Когда игра утомила нас, я попросила Эрилу помочь мне смешать тушь, а потом попозировать в шелковом одеянии для Мадонны моего Благовещения. Я поместила лампу слева от нее, чтобы отбрасываемые тени создавали впечатление дневного освещения. Все, что мне было известно о подобных ухищрениях, я вычитала у Ченнини. Хотя его уже давно нет на свете, он – мой единственный учитель (и другого, надо полагать, у меня никогда не будет), и я изучаю его труды с прилежанием послушника, читающего Писание. Следуя его советам, касающимся драпировок, я взяла самую густую тушь для наиболее темной части тени, затем накладывала тушь все более разбавленную, пока не дошла до вершины складки, куда я нанесла немного разведенных свинцовых белил – чтобы казалось, что на изгиб ткани падает яркий свет. Но если эти хитрости и придали облачению Пресвятой Девы некоторую объемность, даже я сама видела, какая это грубая работа – трюк кистью, а не отраженная ею правда. Я приходила в отчаяние от собственной неумелости. Пока я буду оставаться и наставником, и учеником одновременно, мне не вырваться из сетей неопытности.

– Ну-ка, не шевелись. Мне не видно складку, когда ты вертишься.

– А вы попробуйте сами тут постоять как каменная. У меня уже руки занемели, сейчас отвалятся.

– Это оттого, что ты слишком шустро передвигала свои фигуры на доске. А если бы ты позировала настоящему художнику, то тебе пришлось бы замирать как статуя на несколько часов.

– Если бы я позировала настоящему художнику, у меня бы кошелек лопался от флоринов.

Я улыбнулась:

– Странно, что они тебя на улицах не останавливают и не зовут к себе в мастерские. Твоя кожа так и сверкает на солнце.

– Ха! Для какой же такой святой истории сгодились бы моя кожа?

Теперь, вспоминая об этом, я жалею, что мне не хватило смелости сделать ее своей Мадонной – просто для того, чтобы запечатлеть этот угольно-черный блеск. В нашем городе еще находились такие, кому цвет ее кожи казался диковинным: когда мы с Эрилой, бывало, возвращались из церкви, они останавливались среди улицы как вкопанные и пялились на нее во все глаза, то ли восхищаясь, то ли негодуя. Но она давала таким зевакам отпор: тоже уставлялась на них в упор и ждала, пока те первые не отстанут. Мне цвет ее кожи всегда представлялся роскошным. Случалось иногда, что я едва могла устоять против искушения схватить кисточку и провести по ее предплечью свинцовыми белилами – просто для того, чтобы полюбоваться контрастом между светлым и черным.

– А как же наш художник? Мать говорит, что фрески в часовне будут изображать житие святой Екатерины Александрийской. Там-то и тебе место найдется. Разве он не звал тебя?

– Чтобы Заморыш писал с меня портрет? – Эрила внимательно на меня поглядела. – А вы что думаете?

– Я... Не знаю. Мне кажется, у него хороший глаз, он чувствует красоту.

– И боится ее, как молодой монашек. Я для него – просто цвет, который ему нужно передать.

– Значит, ты думаешь, он равнодушен к женщинам? Она фыркнула:

– Ну, если это так, тогда он – диковинка! Да он просто окоченел от собственной чистоты.

– В таком случае я не понимаю, отчего ты всячески стараешься оберегать меня от его общества!

Она уставилась на меня.

– Потому что иной раз невинность таит в себе больше ловушек, чем искушенность.

– Что ж, это показывает, что тебе ничего не известно, – заявила я, торжествуя, что хоть однажды у меня оказалась сплетня посвежее, чем у нее. – А я-то слышала, он проводит ночи с женщинами, чьи души чернее твоей кожи.

– Кто вам сказал?

– Братья.

– Ба! Да они в этом ни уха ни рыла не смыслят! Томмазо слишком занят собственной персоной, а Лука у женщины зада от переда не отличит!

– Ты сейчас так говоришь, а я помню времена, когда он так на тебя поглядывал!

– Лука! – И она расхохоталась. – Да в нем греховодник просыпается, только когда он полбочонка пива выдует. А когда он трезв, я для него – дьяволово отродье.

– Да это и вправду так! Прекрати вертеться! Я не могу поймать эту тень, когда ты крутишься.

Потом, когда Эрила ушла, я почувствовала в животе боль, которая то и дело волнами накатывала и пропадала: трудно было сказать, была ли она как-то связана со вчерашним обжорством. Уже наступила летняя жара, от которой днем мозги закипали. Я подумала о Плаутилле. Может быть, это ее боль передалась мне? Ее тягости шел всего четвертый или пятый месяц. Что это значит? Благодаря сплетням Эрилы и незатейливой откровенности братьев я, пожалуй, знала о плотской близости больше, чем мои сверстницы, точно так же жившие взаперти, однако вокруг всего, что я знала, расстилался маленький океан неведения. Как, например, развивается младенец во чреве? И все же, судя по тревоге, ясно читавшейся на лице матери, дело там серьезное. Вот снова вернулась боль – будто кулак сжал все мои внутренности. Я поднялась и начала ходить по комнате, чтобы унять ее.

Художник не шел у меня из головы. Я думала о его даровании, вспоминала, как он рисовал мои неподвижные руки, какими мирными, одухотворенными он их изобразил. А потом представила себе, как он шагает по Понте-Веккьо – Старому мосту, а перед ним вдруг вырастает шайка моего брата. И, сколько я ни старалась, никак не могла увязать между собой две эти картины. Хотя, несмотря на сомнения Эрилы, уже одно его появление там было весьма

подозрительно. У Понте-Веккьо была страшная слава: там находились мясные ряды и свечные лавки, темные, глубокие, как утробы, откуда на улицу вырываются густые запахи воска и портящегося мяса. Даже днем там всюду шныряли собаки и попрошайки, выискивая остатки съестного или отбросы, а по ночам по обе стороны от моста город превращался в лабиринты переулков, где темнота покрывала все мыслимые грехи.

Сами блудницы вели себя довольно осмотрительно. Для них существовали особые правила. Так, закон предписывал им носить бубенцы и перчатки, но они же служили приманками соблазна. Впрочем, и этот закон применялся мягко. Как и в случае закона против роскоши, граница между духом и буквой была весьма размытой. Приходя домой, Эрила постоянно рассказывала о том, как чиновники придирались к женщинам из-за мехов или серебряных пуговиц, а те принимались спорить, хитро играя словами: «О нет, мессер, это не мех! Это новая материя – она только *выглядит* как мех. А это? Никакие это не пуговицы. Вы же сами видите, для них даже петель-то нет. Это скорее кнопки. Кнопки? Ну да, вы, должно быть, слышали о них. Не правда ли, наша Флоренция – поистине чудо света, столько в ней всего нового?» Но, как говорили, подобные словесные уловки перестали оказывать нужное действие на некоторых новых чиновников. Чистота вновь входила в моду, и к подслеповатым очам властей понемногу возвращалась острота зрения.

Я только однажды видела куртизанку. Мост Понте-алле-Грацие повредило наводнением, и нам пришлось переходить реку по Понте-Веккьо. Были уже сумерки. Впереди нас с Плаутиллою ступала Лодовика, а замыкала шествие Мария. Мы поравнялись с распахнутой дверью одной из свечных лавок.

Мне запомнилось, что это было мрачноватое помещение, сквозь оконце в дальней стене виднелся закат над рекой. Я заметила силуэт сидящей женщины с обнаженной грудью – а у ее ног стоял на коленях мужчина, спрятав лицо у нее в юбках, будто в молитве. Женщина была миловидна, ее освещало заходящее солнце, и в этот самый миг она повернула голову, чтобы поглядеть на улицу, и встретила мой оторопелый взгляд. Она улыбнулась, и вид у нее был настолько... настолько самоуверенный, что ли... Я вдруг ощутила такое волнение и смущение, что отвела глаза.

Позже я не раз задумывалась о ее осязаемой красоте. Если Платон был прав, то как же возможно, чтобы женщина, лишенная добродетели, обладала такой внешностью? Возлюбленная Филиппо Липпи, по крайней мере, была монахиней и служила Богу в ту пору, когда ей был зов стать Мадонной художника. И в каком-то смысле она продолжала служить Богу и потом, ибо ее образ побуждал людей к молитве. Ах, какая же она была красавица! Ее лицо озаряет десятки его картин: ясноглазая, спокойная, она держала свою ношу с благодарностью и изяществом. Она нравилась мне больше, чем Мадонна Боттичелли. Хотя фра Филиппо Липпи был его учителем, Боттичелли избрал себе в модели женщину совсем иного типа – все знали, что она была любовницей Джулиано Медичи. Увидев ее однажды, ты узнавал ее всюду: в его нимфах, ангелах, героинях античных мифов, даже в святых. Чувствовалось, что Мадонна Боттичелли может принадлежать всякому, кто на нее посмотрит. Мадонна фра Филиппо принадлежала только Богу и самой себе.

В животе снова заныло. Матушка держала в своей гардеробной, в ларчике для снадобий, флакончик с желудочной настойкой. Пожалуй, стоит отхлебнуть этого средства – вдруг мне полегчает? Я вышла из комнаты и тихонько спустилась на один лестничный пролет, но, уже поворачивая в сторону матушкиных покоев, обратила внимание на мерцающую полосу света, сочащегося из-под дверей часовни, по левую руку. Слугам входить в часовню воспрещалось, а поскольку ни матери, ни отца дома сейчас не было, то там мог находиться только один человек. Я уже не помню, остановила или, напротив, подстегнула меня тогда эта мысль.

Там внутри пламя озаряет заалтарную стену, но от сквозняка круг света съеживается, а затем и вовсе гаснет, с последней потушенной свечой. Я выжидаю, потом медленно-медленно закрываю за собой дверь, чтобы петли заскрипели погромче, а затем со стуком захлопываю ее. Пускай он думает, что тот, кто сюда заходил – кто бы это ни был, – снова вышел.

Долго, очень долго мы стоим в крошечной темноте и тишине настолько полной, что когда я сглатываю слюну, этот звук кажется мне оглушительным. Наконец, там, где стояли свечи, загорается тоненький лучик. Я слежу за тем, как тонкий вощенный фитиль зажигает одну свечу, вторую, третью – пока заалтарную стену заново не озаряют

оранжевые языки, и тогда показывается он: длинная худая фигура посреди полукруга света.

Я делаю первые шаги ему навстречу. Я босиком, к тому же привыкла тихо передвигаться по ночам. Но он, видимо, тоже. Он резко скидывает голову, совсем как животное, учуявшее чужого.

– Кто здесь? – Его голос звучит пронзительно, и у меня начинает стучать сердце, хотя я понимаю, что он не столько разозлен, сколько напуган.

Я продвигаюсь к световому кругу. Огонь отбрасывает тени на его лицо, глаза у него вспыхивают – настоящий кот, затаившийся во тьме. Ни я, ни он не одеты как подобает. На нем нет плаща, рубаха распахнута так, что мне видны его костлявые ключицы и гладкая обнаженная кожа на груди, жемчужно мерцающая в пламени свечей. Сама я являю собой застывшую нескладную фигуру в мятой сорочке, с гривой неприбранных волос. Тот самый кислый запах, который запомнился мне в день, когда я позировала ему для портрета, и сейчас витает в воздухе. Только теперь-то мне известно, что это за запах. Как тогда мой брат выразился? «От него разило дешевой сучьей дыркой»? Но если все-таки права Эрила, то как на такое мог отважиться мужчина, который боится женщин? А что, если он явился сюда покаяться?

– Я шла по коридору и увидела здесь свет. Что вы делаете?

– Работаю, – отрезал он.

Теперь позади него я различаю эскиз, прикрепленный к восточной стене алтаря, – прорисовку будущей фрески в полную величину, с дырочками, чтобы каждую линию, каждый штрих углем перенести на стену. Он своими руками делает то, что я знаю лишь в теории, и от мысли о его новых умениях я чувствую, что готова расплакаться. Я понимаю, мне не следует здесь находиться. Распутник он или нет – если нас тут застигнут наедине, то наши пути разойдутся навсегда. Но мое голодное любопытство пересиливает страхи, и я двигаюсь дальше, мимо художника, чтобы лучше разглядеть рисунок.

Он до сих пор стоит у меня перед глазами: вся слава Флоренции, запечатленная сотней искусных движений пера; две группы людей на переднем плане, справа и слева от носилок на полу, где лежит тело девушки. Они чудесно изображены, эти зрители: живые мужчины и женщины нашего города, в каждом лице передан характер – мудрость,

доброта, безмятежность, упрямство, – всему находится свое место. Его перо из заоблачных высей наконец-то спустилось на землю, и больше всего это заметно в фигуре девушки. Она сразу приковывает к себе взгляд. И не только тем, что помещена в центр композиции, а еще и своей напряженной хрупкостью. У меня в ушах еще звучит сквернословие Томмазо, и потому я невольно удивляюсь – где же он нашел такую модель? Может быть, он выискивает этих женщин только для того, чтобы их рисовать? Но разве бывают такие юные блудницы? То, что это девушка, а не женщина, очевидно: под сорочкой угадываются ее только-только набухающие груди, а членам придана легкая неуклюжая угловатость, как будто женственность еще не успела вступить в свои права. Но что поражает больше всего – это полная безжизненность тела...

– О-о. – Слова вырываются у меня, прежде чем я успеваю за ними уследить. – Вы многому научились в нашем городе. Как вам это удается? Отчего я сразу понимаю, что она мертва? Когда я гляжу на нее, это ясно. Но что убеждает меня в этом? Объясните мне. Когда я рисую человеческие тела, я не умею провести грань между сном и смертью. У меня мертвецы выглядят так, будто бодрствуют с закрытыми глазами. – Ну вот. Вырвалось. Я жду, что он рассмеется мне в лицо или тысячами других способов выкажет мне свое презрение. Тишина сгущается, и я начинаю пугаться, стоя рядом с ним в темноте.

– Могу вам сообщить, мессер, что это не исповедь перед Богом: Он уже давно все знает, – говорю я тихо. – Это исповедь перед вами. Ну, так, может быть, вы что-нибудь скажете в ответ?

Я гляжу мимо него в сумрачную глубину часовни. Лучшего места не придумать. Наверняка эти стены услышат в грядущие годы что-нибудь и пострашнее.

– Вы рисуете? – спрашивает он мягко.

– Да. Да. Но мне этого мало. Я хочу заниматься живописью. Как вы. – Внезапно мне кажется, что сейчас самое главное на свете – обо все рассказать ему. – Неужели это так ужасно? Если бы я родилась мальчиком, и у меня был бы талант, меня бы наверняка отправили учиться к мастеру. Как учились вы. Тогда бы и я тоже умела оживить эти стены красками. А вместо того я сижу тут взаперти, пока родители подыскивают мне мужа. В конце концов они купят мне кого-нибудь

знатного, и я переселюсь к нему в дом, буду вести его хозяйство, рожать ему детей и постепенно затеряюсь в ткани его жизни, как светлая нить теряется в пестром ковре. А город тем временем будут заполнять живописцы, возносящие славу Господу. А я так никогда и не узнаю, по силам ли и мне делать то же самое. Даже если у меня и нет такого дарования, как у вас, художник, у меня есть желание творить. Вы должны мне помочь. Пожалуйста.

И я чувствую, что он понял меня. Он не смеется и не отворачивается от меня. Но что он может мне сказать? Что вообще можно на такое сказать? Я слишком заносчива – даже в отчаяний.

– Если вам нужна помощь, вы должны просить ее у Бога. Это ваше с Ним дело.

– Да, но я уже просила. И Он послал мне вас. – От колеблющегося пламени по его лицу пробегают тени, и мне больше не видно его выражение. Но я чересчур молода и нетерпелива, чтобы долго выносить молчание. – Разве вы не понимаете? Мы же с вами союзники. Если бы я хотела вам навредить, то рассказала бы родителям о том, как вы накинулись на меня в ту первую нашу встречу.

– Так-то оно так, только мне кажется, вы в тот день погрешили против приличий не меньше моего, – спокойно замечает он. – Как и сейчас, когда мы с вами здесь наедине. – И он принимается собирать свои вещи, готовясь потушить свечи, а я вижу, что все снова вот-вот ускользнет от меня.

– Почему вы все время отталкиваете меня? Только потому, что я – женщина? – Я перевожу дух. – Потому что, сдается мне, вы многому тут научились – но не совсем тому, что нужно. – Он замирает, хотя не поворачивается и никак еще не откликается на мои слова. – Я говорю... я говорю об этой вашей девушке, на носилках. Любопытно узнать, сколько вы ей заплатили, чтобы она улеглась перед вами?

Теперь он оборачивается и смотрит прямо на меня. Лицо его кажется бескровным в свечном пламени. Но отступить уже некуда.

– Я знаю, чем вы занимаетесь по ночам, мессер. Я видела, как вы уходите из дома. Я разговаривала с моим братом, Томмазо. Думаю, моему отцу было бы крайне неприятно обнаружить, что художник, который расписывает его часовню, ночами развратничает в городских трущобах.

И тут мне показалось, что он вот-вот расплачется. Талант, сколько бы Господь ни вложил его в пальцы, бессилен перед коварством нашего города. Какое разочарование, должно быть, ожидало художника, когда он прибыл в новые Афины – и обнаружил, до чего они запятнаны пороком! Может быть, Савонарола и прав. Может быть, мы в самом деле поддались земным соблазнам и отступились от былой добродетели.

– Вы ничего не понимаете, – отвечает он глухо.

– Все, о чем я прошу, – это чтобы вы взглянули на мои работы. И высказали бы свое суждение, честно и прямо. Если вы согласитесь выполнить эту простую просьбу, я никому ни слова не скажу. Больше того – я буду защищать вас от моего брата. Он-то способен причинить вам куда больше вреда, чем я, и...

Мы оба слышим шум. Внизу со скрежетом открываются парадные двери дома. Одна молния ужаса поражает нас обоих, и мы не раздумывая начинаем гасить свечи. Если сейчас кто-нибудь войдет сюда... И о чем я только думала, когда пустилась на такой риск?

– Это отец, – шепчу я в сплошной мрак, окутавший нас. – Он был на совете в Синьории и задержался допоздна.

И тут я слышу отцовский голос, раздающийся на лестнице, а потом где-то рядом распаивается еще одна дверь. Должно быть, Томмазо уснул, дожидаясь его. Теперь их голоса звучат одновременно, и слышно, как захлопывается другая дверь. Потом все стихает.

Рядом, во тьме, красное пятнышко вощеного фитиля мерцает, как светлячок. Мы стоим так близко друг к другу, что я щекой чувствую его дыхание. Его запах, жаркий и кислый, обступает меня отовсюду, и на меня вдруг накатывает тошнота. Если я вытяну вперед руку, то смогу коснуться его голой груди. Я делаю шаг назад, будто он обжег меня, и свеча, крутясь, летит на плиты пола. И падает с чудовищным грохотом. Еще бы мгновенье – и...

– Я пойду первая, – говорю я, снова собравшись с духом, и от страха голос мой звучит отрывисто. – Оставайтесь здесь, пока не услышите, как закроется дверь.

Он что-то бормочет в знак согласия. Рядом с фитилем вспыхивает свечное пламя, озаряя склоненное над ним лицо. Он поднимает свечу и дает ее мне. Наши глаза встречаются в этом мерцании. Возник ли между нами сговор? Понятия не имею. Я торопливо шагаю к двери.

Дойдя, оглядываюсь и вижу его увеличенный силуэт на фоне стены: он снимает лист бумаги с алтарной стены, и руки у него, как у Распятого, простерты крестом.

Вернувшись к себе в комнату, я слышу, как эхом на каменной лестнице отдаются голоса отца и брата, долетающие снизу, из отцовского кабинета. Боль снова сводит мне живот – да так, что я едва не сгибаюсь пополам. Я подождала, когда спор стихнет, а потом снова прокралась в коридор, думая уж на этот-то раз добраться до материнского ларчика со снадобьями.

Но оказывается, я – не единственная, кто на ногах, когда положено спать. По лестнице с изяществом раненого быка спускается Томмазо, явно стараясь не шуметь. Он так сосредоточенно силится ступать по воздуху, что натывается прямо на меня – и с виноватым видом отскакивает. Значит, сейчас преимущество на моей стороне.

– Алессандра! Мать Божья, как ты меня напугала! – проговорил он отрывистым шепотом. – Что ты здесь делаешь?

– Я услышала, как вы с отцом спорите, – не моргнув глазом солгала я. – Вы меня разбудили. А ты что здесь делаешь? Это ранним-то утром.

– Я... Мне нужно кое с кем увидеться.

– Что сказал отец?

– Ничего.

– Он получал известия от Плаутиллы?

– Нет, нет. От нее не приходило никаких вестей.

– Так о чем же вы говорили? – Он только плотнее сжал губы. – Томмазо? – настаивала я, уже с легкой угрозой в голосе. – О чем ты разговаривал с отцом?

Он холодно на меня поглядел – как бы давая понять, что прекрасно понимает, чем я ему угрожаю, и в то же время показывая, что он не очень-то и боится.

– В городе беспорядки.

– Что за беспорядки?

Он помолчал.

– Плохая новость... Ночная стража Санто Спирито обнаружила два тела.

– Два тела?

– Мужчину и женщину. Их убили.

– Где?

Он перевел дух.

– Прямо в церкви.

– В церкви! Что произошло?

– Никто не знает. Их нашли сегодня утром. Под скамьями. У обоих перерезано горло.

– Ах!

Но это было еще не все. Я по глазам его видела. Господи, не знаю сама почему, но я вдруг вспомнила о той молодой женщине, чей труп объели собаки.

– А что еще слышно?

– Оба были раздеты догола. А ей кое-что запихнули в рот. – Он сказал это мрачным тоном, потом замолчал, как будто сказал этим достаточно. Я нахмурилась, показывая ему, что не понимаю. – Его член.

Он понаблюдал за моим замешательством, потом недобро улыбнулся и положил руку себе на гульфик.

– Теперь понимаешь? Тот, кто их убил, отрезал ему член и засунул его в рот женщине.

– Ой! – Наверное, я закричала, как маленькая. – Боже, кто мог такое сотворить? Да еще в Санто Спирито!

Но оба мы знали ответ. Это был тот же безумец, который искромсал тело той девушки в болоте за церковью Санта Кроче.

– Вот о чем говорили на заседании, где был отец. Синьория и Совет Десяти постановили перенести тела.

– Перенести? То есть...

– Чтобы их нашли за чертой города.

– И об этом отец говорил с тобой сегодня ночью? Томмазо кивнул.

Но зачем отец это сделал? Если нужно сохранить в тайне столь ужасное дело, о нем не станешь никому рассказывать. Особенно юнцам вроде Томмазо, которые полжизни проводят на улице. Юнцам, которые, выходит, и сами серьезно рискуют, если не захотят переменить свое поведение... Все же боль в животе явно притупила мой ум.

– Но... зачем их куда-то переносить? Ну, раз их там нашли, то почему...

– Что с тобой, Алессандра? Ты по ночам глупеешь? – Он вздохнул. – Сама подумай. Осквернение святыни повлечет бунт.

Он прав. В самом деле, начнется бунт. Всего несколько недель назад одного молодого человека застигли с поличным, когда тот откалывал кусочки от статуй в нишах снаружи старой церкви Орсанмикеле, и ему едва удалось спасти свою жизнь, когда толпа окружила его. Эрила говорила, что малый просто не в своем уме, но Савонарола, рассказав о святотатстве, взбудоражил весь город, и три дня спустя после короткого суда палач казнил того юношу – без пыток, но и без особых церемоний. Очередное кощунство даст Монаху в руки новое оружие. Как он говорил о Флоренции? «Когда городом правит диавол, похоть состоит при нем некоронованной соложницей, и вот зло умножается, доколе не водворятся всюду лишь мерзость и отчаяние».

Мне сделалось так тошно и так страшно, что пришлось притворяться, будто я ничуть не испугалась.

– А знаешь, Томмазо, – сказала я со смешком, – есть на свете такие братья, которые на твоём месте оберегали бы своих младших сестренек от подобных рассказов.

– А ещё на свете есть такие сестренки, которые только и делают, что почитают своих старших братьев.

– Да на что тебе такие, скажи-ка? – возразила я мягко. – Ты бы с ними от скуки помер.

Мы глядим друг на друга, и мне впервые приходит в голову: а ведь мы могли бы дружить, если бы не оказались врагами. Он слегка повел плечами, потом двинулся вперед, намереваясь пройти мимо меня.

– Но ты же не пойдёшь сейчас на улицу? Зная о том, что случилось. Ведь там же опасно.

Брат ничего не ответил.

– Из-за этого вы с отцом и ссорились, да? Он запрещал тебе уходить?

Он покачал головой:

– У меня назначена встреча, Алессандра. Я должен идти. Я помолчала.

– Кто бы она ни была, ты можешь подождать.

Он посмотрел на меня сквозь полутьму, потом улыбнулся:

– Ты ничего не понимаешь, сестричка. Даже если бы я мог подождать, *она* не может. Всё. Спокойной ночи, – тихо проговорил он и двинулся дальше.

Я положила руку ему на рукав.

– Береги себя.

Он чуть-чуть помедлил, а потом осторожно снял мою руку. Похоже, он собрался сказать мне что-то еще, а может, мне только померещилось. И вдруг он сделал шаг назад.

– Господи, Алессандра, что с тобой? Ты поранилась?

– Что?

– Да погляди на себя – ты вся в крови.

Я посмотрела вниз. Действительно, на сорочке спереди расплывалось свежее темное пятно.

И вдруг я все поняла. Значит, это не боль Плаутиллы я ощущала, а свою собственную! Началось! Этого мига я боялась больше всего. Я почувствовала, что краснею от жгучего стыда. С горящим лицом, я обеими руками схватилась за свою ночную сорочку, смяв ткань с пятном, чтобы его не было видно. И одновременно ощутила, как горячая струя потекла по моей ляжке.

Томмазо, разумеется, тоже обо всем догадался. Мне сделалось совсем дурно, когда я представила себе, что он скажет в отместку. Но он вместо этого сделал другое – чего я никогда не забуду. Он склонился ко мне и погладил по щеке.

– Ну вот, – произнес он почти с нежностью. – Похоже, у нас теперь у обоих свои секреты. Спокойной ночи, сестренка.

Он двинулся мимо меня вниз по лестнице, и я услышала, как за ним тихо закрылась дверь. Я пошла к себе и улеглась, чувствуя, как из меня вытекает кровь.

Когда матушка вернулась домой, мы все еще спали. Они с отцом позавтракали за закрытыми дверями. В десять часов Эрила разбудила меня и сказала, что мне велено явиться к отцу в кабинет. Завидев кровь, она лукаво улыбнулась мне, переменяла постельное белье и принесла мне кусочек ткани, чтобы я вложила его в свои нижние панталоны.

– Никому ни слова, – предупредила я. – Ты поняла? Никому ни слова. Пока я сама не разрешу.

– Тогда поторопитесь, а то Мария живо все пронюхает.

Эрила быстро одела меня и я отправилась к отцу. За обеденным столом сидел Лука и с мутным взглядом набивал рот хлебом со свиным студнем. От вида еды меня затошнило. Лука посмотрел на меня сердито и я ответила ему тем же. Мать с отцом ждали. Несколько минут спустя явился Томмазо. Хотя брат и переменял платье, все равно было видно, что он не спал всю ночь.

Отцовский кабинет располагался позади его лавки, в той части нашего палаццо, куда ламы со всего города приводят своих портных выбирать новые ткани. Эта комната насквозь пропахла камфарой и ароматическими смесями, подвешенными в мешочках к потолку, чтобы отпугивать моль. Обычно нас, детей, – особенно меня с Плаутиллоу – сюда не допускали, поэтому, разумеется, я еще больше любила это помещение. Из своей конторы, уставленной шкафами с пергаментами, мой отец управлял маленькой торговой империей, охватывающей всю Европу и некоторые страны Востока. Помимо шерсти и хлопка из Англии, Испании и Африки, он закупал множество красителей всех цветов радуги: киноварь и сандарак на берегах Красного моря, кошениль и оричелло – в Средиземноморье, чернильный орешек – на Балканах, а с берегов Черного моря привозил квасцы для закрепления всех этих красок. Готовые ткани, если они так и не вошли во флорентийскую моду, снова грузились на корабли и отправлялись обратно в другие страны, чтобы там насаждать роскошь. Теперь, когда я об этом вспоминаю, мне кажется, что на отцовские плечи давила тяжесть всего мира: ведь я знаю, что, хоть мы и преуспевали, порой приходили плохие вести – иной корабль с товаром

топила буря или захватывали пираты, и тогда отец всю ночь просиживал у себя в кабинете, а на следующий день мать велела нам ходить на цыпочках, чтобы не разбудить его. Разумеется, отец вспоминается мне сидящим за счетами или бумагами, как он записывает в столбцы прибыли и убытки, рассылает заказы купцам, подрядчикам и ткачам в города, названия коих я порой даже выговорить не могла, в края, где не все верили в то, что Иисус Христос – сын Божий, хотя языческие пальцы тамошних жителей прекрасно чувствовали красоту и истину, щупая ткани в тюках. Такие письма ежедневно вылетали из нашего дома, как почтовые голуби, – подписанные, запечатанные и обернутые непромокаемой материей для защиты от стихий, а аккуратно снятые с них копии громоздились кипами в отцовском кабинете – на случай пропажи в дороге или какой-нибудь путаницы.

При подобной занятости не удивительно, что у отца оставалось так мало времени для собственного дома. Но в то утро он выглядел особенно усталым, лицо его казалось более осунувшимся и морщинистым, чем всегда. Он был семнадцатью годами старше моей матери, так что ему в ту пору уже перевалило за пятьдесят. Богатый, всеми уважаемый, он дважды избирался на государственные должности, а недавно стал членом Совета Десяти. При известной настойчивости он, наверное, быстрее пробился бы к власти, но, невзирая на деловую хватку, отец оставался человеком бесхитростным и понимал в доставке тканей гораздо лучше, чем в политике. Думаю, он любил нас, детей, и правильно наставлял Томмазо с Лукой на путь истинный, когда того требовало их поведение, но, похоже, среди своих тюков и счетов он чувствовал себя увереннее, чем в кругу своих домашних. Его образования как раз хватало, чтобы справляться с торговлей (его отец занимался тем же самым делом), а вот познаний и красноречия нашей матери у него и в помине не было. Зато он с первого взгляда замечал, когда ткань в штуче прокрашена неровно, и всегда точно угадывал, какой оттенок красного придется к лицу даме при дневном освещении.

Поэтому речь, которую он произнес перед нами в то утро, показалась нам необычайно длинной и тщательно продуманной (подозреваю, моей матерью).

– Вначале я сообщу вам хорошую новость. Плаутилла здорова. Ваша мать провела возле нее всю ночь, и ей стало лучше.

Мать сидела с прямой спиной, сложив руки на коленях. Она давно и в совершенстве овладела искусством женской неподвижности. Не зная этого, можно было бы подумать, что она и в самом деле спокойна.

– Но есть и другая новость. Поскольку все равно вы слышали бы ее очень скоро от сплетников, то мы решили, что лучше вам узнать все дома.

Я украдкой бросила взгляд на Томмазо. Неужели он действительно заведет сейчас речь о женщине с отрезанным мужским членом во рту? Нет, это слишком непохоже на отца.

– Синьория созывала совет этой ночью, потому что в чужих краях происходят события, затрагивающие нашу безопасность. Король Франции во главе своего войска подошел к северным рубежам и собирается проследовать в герцогство Неаполитанское, чтобы завладеть им. Он уже разбил неаполитанский флот под Генуей и подписал договоры с Миланом и Венецией. Но, чтобы продвинуться дальше на юг, ему нужно пройти через Тоскану, и он уже послал гонцов, прося нас поддержать его притязания и гарантировать безопасность его армии.

По искорке, блеснувшей в глазах Томмазо, искоса поглядевшего на меня, я догадалась, что он знает куда больше того, о чем рассказал мне ночью. Ну конечно – зачем посвящать женщин в политические дела!

– Значит, будет драка? – Глаза у Луки засверкали, как золотые флорины. – Я слышал, французы – свирепые вояки.

– Нет, Лука. Драки не будет. Мир куда доблестней, чем война, – строго ответил отец: уж кому, как не ему, было знать, что, когда начинаются беспорядки, спрос на роскошные ткани резко падает. – По совету Пьеро Медичи Синьория не поддержит притязаний французского короля, но объявит о своем невмешательстве. Таким образом, мы проявим и силу, и благоразумие одновременно.

Еще полгода назад имя Пьеро успокоило бы нас всех, но теперь даже мне было известно, что после смерти его отца репутация Медичи сильно пошатнулась. Поговаривали, он и сапоги-то натянуть не может без того, чтобы не расхныкаться или не рассвирепеть. Как такому улестить или обхитрить короля, которому и незачем церемониться с

нашей Республикой, коль скоро он легко может вступить в ее пределы и растоптать ее?

– Ну, ежели уповать на Пьеро, то можно сразу распахнуть городские ворота и ждать дорогих гостей.

Отец вздохнул.

– Какой болтун наплел тебе это, Томмазо? – Томмазо повел плечами. – Я говорю вам, что Синьория верит в самое имя Медичи. Никто иной не пользуется у иноземных владык столь высоким уважением.

– Ну а я думаю, негоже так просто пропускать французов через наши земли. Я думаю, нужно сразиться с ними, – вмешался Лука, который, как всегда, слушал, но так ничего и не услышал.

– Нет, мы не станем сражаться с ними, Лука. Мы проведем переговоры с ними и придем к соглашению. Воевать они с нами не собираются. Это будет соглашение между равными. Может быть, они даже что-то предложат нам взамен.

– Что? Или ты думаешь, Карл станет биться на нашей стороне и преподнесет нам Пизу?

Я никогда раньше не слышала, чтобы Томмазо так хорохорился в присутствии отца. Мать уже устремила на него строгий взгляд, но тот или не замечал, или не хотел замечать этого.

– Он будет делать только то, что ему самому угодно. Он же знает: стоит ему только пригрозить – и наша великая Республика рухнет, как карточный домик.

– Ты просто мальчишка, который пытается рассуждать как мужчина, но выходит у тебя это смехотворно, – ответил отец. – Пока ты не повзрослеешь и не научишься разбираться в государственных делах, лучше держи свои изменнические воззрения при себе. В своем доме я не желаю их слушать! Последовала напряженная тишина, и я отвела взгляд от них обоих. Потом Томмазо угрюмым голосом проговорил:

– Хорошо, мессер.

– А если они явятся? – спросил Лука, не придавший значения этой маленькой размолвке. – Они войдут в городские стены? Неужели мы позволим им это?

– Это еще предстоит решить, когда мы будем знать больше.

– А как быть с Алессандрой? – тихо спросила мать.

– Дорогая моя, если сюда явятся французы, Алессандру придется отослать в монастырь, вместе со всеми остальными флорентийскими девушками. Это мы уже обсуждали...

– Нет! – выпалила я.

– Алессандра...

– Не хочу, чтобы меня отсылали из дома. Если...

– Ты сделаешь так, как я сочту нужным, – договорил отец, теперь уже совсем сердитым тоном. Он не привык, чтобы дети перечили ему. Впрочем, он, наверное, и не заметил, что все мы выросли. Мать, куда более деловитая и благоразумная, просто поглядела на свои сложенные руки и мягко проговорила:

– Думаю, прежде чем продолжать разговор, вам следует узнать, что у вашего отца осталась еще одна новость.

Родители переглянулись, и мать слегка улыбнулась. Отец с благодарностью последовал ее подсказке.

– Я... Возможно, что в обозримом будущем я буду призван к почетной должности приора.

Значит, он войдет в Совет Восьми. В самом деле, это большая честь, хотя то, что он знает о предстоящем повышении заранее, свидетельствует, что само избрание делается небескорыстно. Вспоминая ту сцену сейчас, я все еще слышу гордость в голосе отца. Такую гордость, что в тот миг было бы дерзко даже подумать: в переломный момент городу следовало бы призвать на высокий пост людей более мудрых, более опытных. Ибо признать это означало бы также признать, что в государстве что-то серьезно разладилось, а я думаю, что никто из нас – даже Томмазо – в тот миг не хотел бы заходить так далеко.

– Отец, – произнесла я, когда стало ясно, что ни один из моих братьев не собирается отверзать уста, – для нас это великая честь и большая радость. – Я подошла к отцу, преклонила перед ним колени и поцеловала ему руку, снова выказав себя почтительной дочерью.

Мать одобрительно поглядела на меня, когда я поднялась.

– Что ж, благодарю тебя, Алессандра, – сказал отец. – Я вспомню твои слова, заняв место в правительстве города, коль скоро это случится.

И, пока мы улыбаемся друг другу, мне в голову лезут мысли о тех изувеченных трупах, лежащих в луже крови под скамьями в Санто

Спирито, и о том, как воспользуется этим Савонарола, обличая город, – ведь перед лицом предсказанного им иноземного вторжения монах в глазах народа делался еще лучшим пророком.

Мать сидела у окна в своей комнате. Вначале я подумала, что она молится. Оставаясь в одиночестве, мать всегда замирала так неподвижно, что начинало казаться: ее здесь нет. Но я не всегда умела распознать, молится она или о чем-то раздумывает, а спросить об этом мне не хватало смелости. Наблюдая за ней с порога, я вижу, какая она красивая, хотя молодость ее уже давно миновала, и резкий утренний свет придает ее облику еще большую хрупкость. Каково это – когда твоя семья тихонько ускользает от тебя, а твоя старшая дочь скоро сама станет матерью? Ликуешь ли ты, матушка, оттого, что тебе удалось провести ее между Сциллой и Харибдой, или задумываешься над тем, чем же ты сама будешь заниматься теперь, когда она покинула дом? Матери повезло, что у нее есть еще предмет для тревог – я.

Наконец она заметила меня, хотя и не повернула головы.

– Я очень устала, Алессандра, – тихо проговорила она. – Если у тебя не срочное дело, давай погоеорим позже.

Я глубоко вздохнула:

– Я хочу, чтобы вы знали, матушка: я не пойду в монастырь.

Мать нахмурилась:

– Ну, решение еще не окончательное. Хотя, если до этого дойдет, ты сделаешь так, как тебе велит отец.

– Но вы же сами говорили...

– Хватит! Я не собираюсь сейчас это обсуждать. Ты слышала, что сказал отец. *Если* французы придут – а это еще точно не известно, – то город станет небезопасным местом для молодых женщин.

– Но он же говорил, что они явятся не как враги. Если мы подпишем с ними договор...

– Послушай, – оборвала меня она, наконец поворачиваясь в мою сторону. – Не женское это дело – совать нос в государственные дела. А тем более – открыто. Однако жить в неведении тоже не следует. Любая армия, вступив в город, получает на него некие права. А когда солдаты воюют, то они уже не граждане, а только наемники, так что юным девственницам грозит опасность. Ты пойдешь в монастырь, если это будет нужно.

Я набралась духу.

– А что, если я выйду замуж? Я перестану быть девственницей, и меня будет оберегать муж. Тогда я буду в безопасности.

Мать поглядела на меня с удивлением:

– Еще недавно ты совсем не хотела замуж.

– Но я не хочу, чтобы меня усылали в монастырь. Матушка вздохнула:

– Ты еще слишком молода.

– Только годами, – возразила я. Отчего, подумалось мне, вечно приходится вести двойные разговоры? Одно женщины говорят в присутствии мужчин, а другое – когда они одни? – Да я во многом старше, чем они все. Если мне нужно выйти замуж, чтобы остаться в городе, тогда я выйду замуж.

– Ах, Алессандра! Это еще не повод.

– Матушка! Теперь все переменялось, Плаутилла нас покинула. С Томмазо я вечно на ножах, а Лука живет словно в густом тумане. Я не могу бесконечно учиться. Наверное, это означает, что я готова. – И в тот миг я, кажется, сама верила в то, что говорила.

– Но ты же сама знаешь, что не готова к браку.

– Теперь – готова! – упрямо возразила я. – Прошлой ночью у меня начались месячные.

– О-о! – Мать взметнула руки кверху и снова уронила их на колени, как она всегда делала, когда хотела успокоиться. – О-о! – Потом она рассмеялась и встала, и тут я увидела, что она плачет. – О, мое милое дитя, – проговорила она и обняла меня. – Милое, милое мое дитя.

Когда Карл оказался у тосканской границы и к городским воротам подступила паника, вся Флоренция обратилась к церкви. В то воскресенье в Санта Мария дель Фьоре собралось так много народу, что вся толпа не поместилась внутри собора, и многие остались стоять на ступеньках. Мать сказала, что такого стечения народа на службу она еще никогда не видела, а мне показалось, будто мы все ждем Судного дня. Поглядев на свод купола, я, как всегда, почувствовала внезапное головокружение: похоже, сама его огромность лишает разум опоры. Отец рассказывает, что о чуде Брунеллески до сих пор не устают говорить в Европе, дивясь, как столь огромное сооружение держится без помощи привычных опорных балок. Даже сейчас, когда я пытаюсь вообразить второе пришествие, мне представляется собор Санта Мария дель Фьоре, заполненный толпами праведников, восставших из могил, и трепетанье ангельских крыл под сенью его купола. И все же, смею надеяться, в Судный день запах будет стоять более приятный, ибо зловонные испарения, поднимавшиеся от такого количества тел, повисали в воздухе смрадным туманом. Несколько женщин из тех, что победнее, уже потеряли сознание: видимо, самые благочестивые прихожане уже начали поститься, как и призывал Савонарола, дабы вернуть заблудший город к Господу. Чтобы в обморок стали падать богачи, понадобится куда больше времени; впрочем, я отметила, что те намеренно скромно оделись: теперь не время навлекать на себя обвинения в суетности.

К тому времени, когда Савонарола взошел на кафедру, церковь уже наполнилась благочестивым гулом. Но с его приходом настала гробовая тишина. Поразительная ирония эпохи заключалась том, что самый уродливый человек во всей Флоренции оказался самым угодным Богу. Впрочем, уродство лишь показывало силу его красноречия: ибо, когда он проповедовал, все забывали про его карличье тело, про его сверлящие глазки и крючковатый нос, похожий на орлиный клюв. Вместе со своим заклятым врагом Лоренцо они смотрелись бы как две горгульи. Легко представить себе такой диптих – два мощных профиля грозят друг другу кривыми носами на фоне

Флоренции – города, ставшего их полем брани. Но кто бы сейчас взялся писать подобную картину? Кто бы осмелился заказать ее?

Его враги уверяли, будто он до того малорослый, что, стоя на кафедре, подкладывает себе под ноги книги – переводы Аристотеля и классических авторов, которые его монахи раздобывали своему настоятелю специально для такого попраiania. Другие заявляли, будто он использует для этой цели табурет из своей кельи – один из немногих предметов, которыми владел – по своему крайнему аскетизму. Поговаривали, что его каморка в Сан Марко была единственной кельей, не украшенной благочестивой живописью – столь опасался он искусства, чья сила способна подорвать чистоту веры; а еще рассказывали, что он смирял любые желания плоти, каждодневно стегая себя кнутом. Пускай среди прихожан всегда находились такие, кому бичевание было в сладость, все же столь изысканное страдание нравилось далеко не всем. Теперь, оглядываясь в прошлое, я прихожу к мысли, что мы, флорентийцы, всегда любили удовольствие больше, нежели боль, хотя во времена бедствий страх и порождal в нас тягу к самоистязанию.

Мгновенье монах постоял молча, взявшись руками за каменный бортик кафедры, пронизывая взглядом собравшуюся перед ним огромную толпу.

– Настоятелю предписано приветствовать свою паству: Но сегодня я не приветствую вас. – Звуки его голоса, вначале похожие на шипенье, с каждым последующим словом делались все громче, пока не заполнили весь Собор и не поднялись до самого купола. – Ибо сегодня вы толпитесь в Доме Божиим лишь оттого, что страх и отчаяние лижут вам пятки, как языки адского пламени, и потому что вы ищете избавления.

– И вот вы приходите ко мне, к человеку, чье ничтожество сопоставимо лишь с великодушием Господа, избравшего его Своими устами. Да, Господь является мне, Он благословил меня даром видения и открывает мне будущее. Войско, что уже стоит у наших пределов, было предречено, ибо явился мне меч, нависший над городом. Нет гнева, подобного гневу Божию, *«Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа»*.^[9] И се лежит

Флоренция, аки падаль, кишачая мухами, на огненной стезе Его возмездия.

Даже тем, кто хорошо знал Писание, трудно было заметить, где кончается Слово Божие и начинается слово Монаха.

Он уже вспотел от напряжения, откинул капюшон, и нос его двигался туда-сюда, как большой клюв хищной птицы, целящийся в воробьев. Рассказывали, что раньше, когда он только начинал проповедовать, голос у него был слабосильный и хриплый. И что, слушая его проповеди, старухи засыпали, а у церковных дверей принимались выть собаки. Но теперь-то он обрел голос, и тот рокотал, подобно грому. Греки назвали бы это демагогией, но здесь было и нечто большее. Он говорил как будто с каждым; благочестию его грех представлялся великим уравниателем, подтачивавшим и власть и богатство. Вдобавок он умело подмешивал в свои речи политические дрожжи. Потому-то его так боялись первые люди города. Но все эти мысли приходили мне в голову потом. Пока он говорил, можно было только слушать.

Из складок своего одеяния Савонарола достал зеркальце. И направил его на толпу. Поймав отражение яркого свечного пламени, он принялся гонять эти огоньки по всей церкви, говоря:

– Видишь, Флоренция? Вот я подношу зеркало к твоей душе, и что же оно показывает? Гниль и разложение. Се, некогда град благочестивый, ныне она изливает больше грязи на улицы свои, нежели Арно в пору половодья. Сказано: *«Не вступай на стезю нечестивых, и не ходи по пути злых»*.^[10] Но Флоренция заткнула уши свои, не желая слышать слов Господа. Когда опускается ночь, выходит Зверь и принимается рыскать, и начинается битва за ее душу.

Я почувствовала, как рядом со мной Лука ерзает на месте. В классной комнате его занимали только те тексты, в которых речь шла о войне и кровопролитии. Если назревало сражение, то, кто бы ни был враг, Лука рвался в бой.

– В каждом темном переулке, где задут светоч Божий, царят грех и насилие. Вспомните о растерзанном теле той чистой молодой женщины. Всюду надругательство и содомия. *«Выжги их мерзости, Господи, и да отрекутся их тела от греха в муках и вечном огне»*. Всюду скверна, всюду блудодейство. *«Ибо мед источают уста чуждой жены и мягче ея речь ее; но последствия от нее горьки, как полынь,*

остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней».^[11]

Теперь внимательно слушал даже Томмазо, испорченный, избалованный Томмазо, чья внешность притягивала к себе женщин, как свечное пламя – мотыльков. Когда он последний раз задумывался об аде? Ну, так сейчас он о нем думал: это читалось в его глазах. Он всегда был так беспечен, а теперь его жгла мысль о тех изувеченных телах, о грозном французском войске у городских ворот. Я засмотрелась на него, заинтригованная этим незнакомым мне выражением тревоги у него на лице. Он заметил мой взгляд, нахмурился в ответ и опустил голову.

И едва он понурился, над его лицом показалось другое – вдалеке, за несколькими рядами скамей: какой-то мужчина смотрел прямо на меня, и глаза его светились ясным блеском. Он показался мне знакомым, но я не сразу его узнала. Ах, ну конечно. На свадьбе Плаутиллы! Мужчина, который упомянул про греческий язык и помог мне благополучно завершить танец. Когда наши глаза встретились, он слегка кивнул, и мне показалось, я заметила легкую усмешку на его губах. Его настойчивое внимание смутило меня, и я снова перевела взгляд на кафедру.

– Спросите сами себя, о мужи и жены флорентийские: для чего Господь движет на нас ныне французское полчище? Для того, чтобы показать нам, что город наш позабыл о вести Христовой. Что город наш ослеплен блеском фальшивого золота, ибо поставил ученость превыше благочестия, а мнимую мудрость язычников – превыше слова Божия.

Когда нас снова накрыла эта волна гнева, по церкви разнесся низкий стон людских голосов, как некий хор отчаяния.

– *«Обратитесь к моему обличению. „...И вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли“,* говорит Господь. *За то я и посмеюсь вашей гибели; порадуюсь, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь... Тогда позовут меня, а я не услышу.»*^[12] О, Флоренция! Когда же отвернешь ты свои очи и вернешься на пути Божий?

Стон сделался громче. Я даже услышала, как у Луки заклокотало в горле. И снова поглядела на того мужчину. Он не слушал Савонаролу, Он все еще смотрел на меня.

Четырьмя днями позднее изувеченные тела тех мужчины и женщины нашли за пределами городских стен, в оливковой роще вблизи дороги между Флоренцией и деревней Импрунета.

Жара стояла так долго, что люди уже начинали бояться засухи и гибели урожая, и решено было пройти крестным ходом и доставить в город, для молитв и для богослужения, чудотворную статую Пресвятой Девы Импрунетской. Если Господь и осерчал на Флоренцию, то, быть может, он прислушается к заступничеству Пресвятой. Но так как шествие становилось все более многолюдным, по мере приближения к городским воротам вбирая все больше народу, то оно стало веером расходиться по окрестным полям. Так и получилось, что один мальчик очутился у края виноградника и там набрел на окровавленные трупы под лозами. Будь я на месте отца на заседании Совета, я бы, наверное, спросила, что за болван позволил перевезти тела в столь приметное место, – но никто, разумеется, ничего не сказал.

Поскольку преступление произошло за городскими стенами, это как бы не касалось самой Флоренции, и потому на площади Синьории не звучало никаких воззваний и проклятий. И все же весть об убийствах разнеслась повсюду как чума. Убитая женщина была проституткой, а мужчина – ее гостем. Их трупы смердели, раны кишели личинками мух. Брезгливостью наш город никогда не страдал. Если бы ту женщину судили за распутство, то добрая толпа собралась бы поглядеть, как ей отрезают нос. Те же самые люди, наверное, и раньше видели человеческие внутренности, выпущенные во имя справедливости, однако столь кощунственное насилие обожгло души людей, и в них эхом отозвались мрачные пророчества Монаха. Кто же мог сотворить такое? Это было столь гнусное деяние, что проще было истолковать его как возмездие: будто сам дьявол выбрался из ада и принялся рыскать по улицам, чтобы до срока затребовать обреченные ему души.

Дома отец снова собрал нас, чтобы рассказать, как пришли гонцы от французов и ушли с кучей даров и льстивых заверений в невмешательстве – но без гарантий безопасности. Удовольствуются ли

они этим? Или у Карла хватит духа вторгнуться в Тоскану? Все, что нам оставалось, – это ждать. А жара все продолжалась. По-видимому, заступничества Богородицы оказалось недостаточно.

Я сидела у себя в комнате. Мое Благовещение было завершено, но мне оно не нравилось. Да, удалось показать смятение Пресвятой Девы, и движение Ангела получилось живым, но их мир оставался монохромным, а у меня пальцы ныли, тоскуя по цвету. Раньше я по возможности занималась домашней алхимией: похищала с кухни яичные желтки (повар безоговорочно верил в мою баснословную любовь к меренгам), которые, если примешать к ним свинцовых белил, давали оттенок близкий к телесному. Черную краску я изготавливала из жженных миндальных скорлупок, растертых с сажей из лампы, где горело льняное масло, а однажды я даже изобрела приемлемый оттенок яри-медянки, налив крепкого уксусу в медные плоскости. Но когда обнаружилось, что плоскости перепачканы и испорчены, на кухне поднялся переполох, да и качество получившейся краски оказалось скверное. Да и потом – какие сюжеты можно изображать, используя только черный, телесный и зеленый цвет?

Прошла почти неделя с тех пор, как мы виделись с художником в часовне. Рабочие уже начали сооружать леса, чтобы он мог приступить к работе. Я больше не могла ждать. И позвала Эрилу.

После известия о моих месячных она страшно разволновалась за меня. Когда мне выберут мужа, она окажется в доме, где ее госпожа будет госпожой всего дома, а значит, и сама она обретет безграничное влияние. У Эрилы было куда больше вкуса к жизни, чем у многих невольников. Но и жизнь обходилась с ней не так жестоко, как с другими. Были такие дома, где рано или поздно с нею обошлись бы недостойно (по городу ходило немало рабынь с большими животами, которые прислуживали господам не только в столовой, но и в спальне), но мой отец был не из таких хозяев, а Лука, хотя и пытался к ней подступиться, получил от ворот поворот. Томмазо, насколько мне было известно, вообще на Эрилу не заглядывался. Слишком тщеславный, он избегал всего, что не ведет к верной победе.

– А когда я найду художника, что я ему скажу?

– Спроси его, когда мне можно принести их. Он поймет, о чем речь.

– А вы сама-то понимаете? – съязвила она.

– Эрила, ну пожалуйста. Сделай это для меня – всего один раз. Теперь уже не так много времени осталось.

И Эрила, хоть и бросила на меня суровый взгляд, все-таки пошла исполнять поручение, а позже, когда она вернулась и сообщила, что завтра утром он будет в саду, я поблагодарила ее и сказала, что пойду туда сама.

Я поднялась на заре. В воздухе разносился запах свежего хлеба, и у меня в животе заурчало от голода. Сад на нашем заднем дворе был самой большой маминой отрадой. Разбили его недавно, чуть больше десяти лет тому назад, но отец привез туда большие деревья с виллы, так что сад выглядел старым. Там росла раскидистая смоковница, гранатовое дерево, грецкий орех, кусты самшита, перемежавшегося с душистым миртом, а на грядках в изобилии произрастали ароматные травы для кухонных нужд – шалфей, мята, розмарин и базилик. А еще глаз радовали пестрые цветы, сменявшие друг друга по мере того, как сменялись времена года. Моя мать, с ее врожденным вкусом к платоническим усладам, считала, что сады приближают нас к Богу, и всегда превозносила пользу созерцания для растущего ума. Я приходила сюда зарисовывать кустарники и травы – их разнообразия тут хватило бы, чтобы заселить фон для дюжины вариаций Благовещения и Рождества.

Однако у сада имелся и один недостаток. Не ограничившись растениями, мать завела тут и кое-какую живность: голубей с подрезанными крыльями и своих любимых павлинов – двух самцов и трех самок. И лишь для нее одной они приберегали свое почтение, даже приязнь. Они узнавали ее по звуку шагов, а когда она приходила – обычно с мешочком зерна, – самцы бежали ей навстречу. Поев, они важно расходились, распутив для нее хвосты веером. Я терпеть не могла павлинов – и за тщеславие, и за зловерный нрав. В детстве я как-то залюбовалась их опереньем и попыталась погладить одну из птиц, но та так больно клюнула меня, что с тех пор павлиньи клювы преследуют меня в кошмарах. Когда я думала о тех двух трупах в поле или о девушке, чье тело обглодали собаки, я невольно представляла себе, что бы сделали с их глазами клювы павлинов.

Но в то утро они нашли другую добычу. На каменной скамье сидел художник, а рядом с ним лежали кисти и десяток скляночек с красками. Он бросал зерно двум павлинам и внимательно наблюдал,

как оба, упрямо сложив хвосты, волочат их за собой, словно веники. Но, завидев меня, один из павлинов испустил раздраженный резкий крик и двинулся в мою сторону, распутив свой веер в угрожающем танце.

– А!.. Не шевелитесь, – воскликнул художник, хватаясь за кисти, и руки его запорхали над склянками; он, несомненно, заранее решил, как смешает краски.

А я окаменела на месте.

– Пожалуйста! – проговорила я в смятении. Мгновенье он переводил взгляд со своей кисти на меня,

потом достал немного зерна из мешочка и вытянул руку вперед, издав при этом горлом какой-то чудной квохчущий звук. Птица наклонилась, как бы благодаря, и важно двинулась к ладони с угощением.

– Не бойтесь их! Они безобидны.

– Это вам так кажется. А у меня до сих пор на руке шрам остался, и он доказывает обратное. – Я постояла, наблюдая за ним. Нужно быть очень смелым человеком, чтобы с руки кормить таких тварей. Из тех, кого я знала, только моей матери и ему это удавалось. – Как это у вас получается? Несправедливо, что Господь наделил вас и пальцами фра Анджелико, и даром святого Франциска.

Он не сводил глаз с птицы.

– В монастыре в мои обязанности входило кормить животных.

– Но не павлинов же, – пробормотала я.

– Нет, не павлинов, – ответил он, по-прежнему разглядывая немислимое оперенье. – Их я никогда раньше не видел. Только слышал про них.

– А зачем вам их изображать? Не думаю, что святая Екатерина общалась с животными.

– Крылья ангелов, – пояснил он, а маленький свирепый клюв между тем то и дело тыкался в его ладонь. – Для «Успения» на потолке алтаря. Поэтому я хочу видеть их перья.

– В таком случае осторожнее! Как бы ваши ангелы не затмили самого Господа. – Я вдруг сама удивилась тому, как легко идет у нас разговор, словно утреннее солнышко прогнало прочь неловкость, рожденную в сумраке часовни. – А каких птиц вы брали за образец там, у себя на Севере?

– Голубей... гусей и лебедей.

– Ну конечно! Ваш белоснежный Гавриил!

И мне снова вспомнились волнистые крылья на той незаконченной фреске в его комнате. Но теперь-то он ловко обращался с цветом. Я видела это по его рукам. Чего бы я только не отдала за то, чтобы и мои ногти покрылись разноцветной запекшейся коркой! Павлин, доклевав свой корм, чинно пошел прочь, уязвив меня полным невниманием. На меня снова накатил приступ тоски. Художник снова взялся за кисть, и я придвинулась к нему поближе.

– Кто смешивает вам краски?

– Я сам.

– Это трудно?

Он покачал головой, а пальцы все двигались, быстро-быстро.

– Поначалу – пожалуй. А теперь – нет.

Мне до зуда в пальцах захотелось прикоснуться к краскам, так что пришлось сжать кулаки.

– Я могу назвать каждый оттенок на каждой стене Флоренции, и я знаю рецепты десятков этих красок. Но, даже сумей я раздобыть нужные ингредиенты, у меня нет мастерской, где я могла бы смешивать их, и нет возможности располагать собой по своему усмотрению, без чужого надзора. – Я немного помолчала. – Я так устала от туши и пера. Тушь дает только тень жизни, и ото всего, что бы я ею ни изобразила, почему-то веет меланхолией.

На этот раз он оторвался от работы, поглядел на меня, и наши взгляды встретились. И снова, как это уже было в часовне, я почувствовала, что он меня понял. Свернутые в трубочку рисунки жгли мне ладонь. Там было мое «Благовещение» и еще дюжина рисунков, самых лучших и дерзновенных. Или сейчас, или никогда. От внезапно накатившего страха вспотели ладони, и я повела себя резче, чем собиралась. Я просто протянула ему свои рисунки.

– Будьте искренни, ладно? Мне нужна правда.

Он не шевельнулся, и по тишине, наступившей вслед за моими словами, я догадалась, что разрушила нечто, что уже начало вырастать между нами, но сейчас я слишком волновалась, чтобы понять, как следует поступить.

– Простите. Я не имею права выносить свое суждение, – сказал он тихо. – Все, что я могу, – это исполнять свою работу.

Хотя он произнес это беззлобно, его слова уязвили меня в самую душу, словно удар павлиньего клюва.

– Значит, мой отец ошибся в вашем таланте. А вы навсегда останетесь учеником и никогда не станете мастером. – Моя рука по-прежнему была вытянута в его сторону. Я уронила рисунки на скамью возле него. – Ваше мнение – или ваша репутация. Вы не оставляете мне выбора, художник.

– А что за выбор тогда остается у меня?

На этот раз он не стал отводить глаза. Взгляд длился долго, очень долго, выйдя за всякие рамки приличий, так что в конце концов отвести глаза пришлось мне.

В глубине сада показалась Эрила. Для вида я набросилась на нее, хотя прекрасно знала, что она издалека наблюдала за нами.

– Что ты тут делаешь? – Я перешла на итальянский. – Следишь за мной...

– Ах, госпожа, не топайте на меня ногами, – проговорила она с наигранным смирением. – Вас разыскивает ваша матушка.

– Мама! В такой-то час? Что ты ей сказала?

– Что вы в саду, рисуете листья.

– О! – Я обернулась к художнику. – Вам нужно уходить отсюда, – сказала я ему на латыни. – Скорее. Она не должна застать вас здесь, рядом со мной.

– А как же ваши листья?

Похоже, он теперь лучше понимает по-итальянски. Он взял угольный стержень, и из-под пальцев его мгновенно появилось любимое апельсиновое деревце моей матери, гнущееся под тяжестью готовых упасть плодов. Когда он вручил мне листок бумаги, я не знала – смеяться мне или плакать. Он собрал свои краски и положил в мешок, лежавший рядом. А потом взял мои рисунки и отправил их туда же.

– Мне все равно, что вы скажете, – бросила я ему вдогонку. – Только не лгите мне.

Свежий хлеб, испеченный нашим поваром, был восхитителен. Я уминала его за обе щеки с ломтиками вяленых персиков, а мама, охваченная волнением, только пила разбавленное вино. Письмо рано утром принес гонец, но она, скорее всего, знала о нем заранее: моя сестра Плаутилла приглашала родных и друзей в гости. Ребенок

должен был появиться на свет через несколько месяцев, а сейчас самое время показать родне чудесное белье и одежду, купленную в ожидании этого события, Я уже и забыла об этом приглашении. А вот мама, похоже, и думать ни о чем другом не могла. Она велела Эриле причесать меня и заранее подобрать мне лучшие наряды.

– Если он вам не понравится, тогда придется что-то срочно придумать, – проговорила Эрила с полным шпилек ртом, а потом зачесала мне волосы назад и всадила в них тяжелые перламутровые гребни.

– О чем это ты?

– Не о чем, а о ком. Когда это вы в последний раз, собираясь повидать сестрицу, наряжались в пух и прах?

Она высвободила последний локон из раскаленных щипцов, и мы обе увидели в зеркале, как он скользнул вниз вдоль моей щеки. Мгновенье-другое сохранялась совершенная симметрия, а потом левая прядь решительно опустилась ниже правой.

Мать при виде меня даже не пыталась скрыть тревогу:

– Боже! До чего же темные у тебя волосы! Наверное, все-таки нам следовало их перекрасить. Ну а что с твоим платьем? Давай-ка поглядим. Золотой отлив снова вошел в моду, но, мне кажется, отец предпочел бы, чтобы ты надела шелк поярче. Тебе был бы к лицу темно-красный цвет,

Я не помнила, чтобы отец хотя бы раз сделал разумное замечание касательно моего гардероба.

– А вам не кажется, что это будет чересчур пышно? – спросила я. – К чему нам вызывать благочестивый гнев на улицах?

– Проповедник еще не правит нашим городом! – возразила мать, и, пожалуй, я впервые различила в ее голосе нотки презрения по отношению к монаху. – Пока мы вправе одеваться как нам вздумается, отправляясь навестить родных. Тебе пойдет этот оттенок. А еще надо потрудиться над твоим лицом. Стоит нанести немножко белил, а то кожа слишком смуглая. Эрила тебе поможет, если не будет все время сплетничать.

– Матушка! – сказала я. – Если все это делается ради мужчины, то проще выбрать слепого. Тогда он не заметит ни одного моего недостатка.

– Нет, дорогая моя, ты не права. Ты очень хороша собой. Очень хороша. Твой здоровый, радостный дух озаряет тебя внутренним светом!

– Да, я умна, – сказала я угрюмо. – А ум и красота – не одно и то же. Как я слышала уже много раз.

– От кого? Неужели от Плаутиллы? Она не настолько жестока.

Я замешкалась.

– Нет, не от Плаутиллы.

– Значит, от Томмазо? Я пожала плечами. Мать задумалась.

– У твоего брата острый язычок. Пожалуй, тебе лучше жить с ним в дружбе.

– Я тут ни при чем, – мрачно возразила я. – Он сам вечно обижается.

– Ну и пускай. Когда дело доходит до важных вещей, то кровь горячее воды, – жестко произнесла она. – Ладно. Давай теперь подумаем о башмачках.

Плаутилла напоминала корабль на всех парусах. У нее даже лицо расплнело. Казалось, она прямо-таки утопает в собственной плоти. Волосы утратили прежний золотистый оттенок – теперь не время их осветлять. С таким-то животом ей, пожалуй даже на крышу не подняться. Но она, похоже, об этом и не жалела. Толстая и безмятежная, она походила на животное, уютно устроившееся у водопоя, слишком крупное, чтобы куда-то спешить. К тому же было слишком жарко.

Мы прибыли первыми. Мама вручила Плаутилле засахаренные фрукты и миндаль, а та повела нас смотреть на недавно обставленную спальню. На стене висели новые гобелены, на постели красовались простыни, по краям украшенные вышивкой и монограммой с семейным гербом. Сбоку стояла колыбелька с покрывалом из белого камчатного полотна, отороченным золотой и серебряной бахромой. Свадебный сундук красовался на почетном месте, и танцующие сабинянки казались чересчур бодрыми для нынешнего зноя. Утихает ли мужская похоть в такую душную пору? Дитя, зачатое в разгар лета, вызывает подозрения; вероятно, потому, что это связано с двойным жаром – воздуха и вожделения. Впрочем, я была еще слишком юна, чтобы кто-то посвящал меня в сокровенные параграфы сей тайной премудрости. Несомненно, скоро я обо всем узнаю не понаслышке.

По словам Томмазо, Маурицио поставил тридцать флоринов против четырехсот, что родится девочка. Видимо, надеется возместить разочарование денежным выигрышем, хотя я сомневаюсь, что такая сумма покрыла бы его расходы на роскошное приданое для малыша и прочие покупки. Все было по последней моде: ароматные белые вина для будущей матери, стайка молодых голубей, которых предстояло зарезать сразу после рождения ребенка, потому что их мясо легко усваивается. Сверху было слышно, как птицы воркуют во дворе, не ведая об ожидающей их участи. Уже нашли и держали в доме повитуху, а теперь подыскивали подходящую кормилицу. Комната была обставлена и украшена со вкусом – разными благочестивыми картинами и скульптурами, – для того чтобы Плаутилла во время родовых мук видела только прекрасные вещи, отчего возрастали бы

красота и благонравие ребенка. Я была тронута. Надо отдать должное Маурицио, он сделал все, чтобы угодить своей толстощекой голубке.

– Мама говорит, что художник уже закончил поднос к рождению, – сказала Плаутилла, тяжело переводя дух, когда мы закончили осмотр всех ее богатств, – и что он получился чудесный. Я попросила на одной стороне изобразить Сад Любви, а на другой – шахматную доску. Маурицио так любит играть, – добавила она и по-детски захихикала над собственными словами.

Неужели я тоже буду говорить нечто подобное, когда выйду замуж? Я поглядывала на свою упитанную, счастливую сестру почти с ужасом. Теперь она знает намного больше моего. Но отважусь ли я когда-нибудь спрашивать ее?

– Не тревожься. – Она заговорщицки подтолкнула меня. – раз у тебя начались месячные, ты очень скоро сама все поймешь. – Она состроила гримасу. – Хотя, скажу тебе сразу, это не совсем то же, что книжки читать.

Так что же это такое? – хотелось мне спросить. Расскажи мне. Расскажи мне все.

– Это больно? – вырвалось у меня как-то почти само собой. Плаутилла сложила губки бантиком и молча поглядела на меня, смакуя миг своего торжества.

– Конечно, – ответила она просто. – Так узнают, что ты – чистая девушка. Но потом боль проходит. И тогда все совсем не так плохо. Честное слово.

И, глядя на нее, я подумала, что она говорит серьезно, и впервые в жизни я осознала, что эта тщеславная глупышка наконец-то нашла себе в жизни занятие по душе. Я порадовалась за нее, но одновременно еще больше ужаснулась за свое будущее.

Наша беседа прервалась: прибыли новые гости, друзья семьи, все – с небольшими подарками. Плаутилла с улыбкой переходила от одного к другому. А потом к нам присоединился тот мессер.

Он был в винно-красном бархатном плаще, еще более красивом, чем тот, что был на нем в церкви; мой отец, несомненно, одобрил бы такой выбор ткани. Он выглядел старше, чем в наши прошлые встречи, но ведь дневное освещение более жестоко, чем свечное пламя или свет масляных ламп. Он заметил меня сразу, как только вошел в комнату, но вначале подошел поздороваться с моей матерью. Я видела, как она

сложила руки и внимательно выслушивала его любезности. Они явно виделись не первый раз. Удивилась ли я? До сих пор сама не понимаю. Гораздо позже я слышала, что нередко с первого взгляда распознаешь людей, которым предстоит переменить твою жизнь. Даже если поначалу они совсем тебе не нравятся. А я уже заметила его. Как и он – меня. Бог нам в помощь теперь.

Я подкараулила Плаутиллу, неловко кружившую между гостями по комнате, и притиснула ее к ближайшей стенке – во всяком случае, приблизилась к ней настолько, насколько позволял ее живот.

– Кто он?

– Кто?

– Плаутилла! Я же не могу ущипнуть тебя, как раньше. Иначе у тебя еще схватки начнутся, а я не вынесу твоих криков. Зато, когда ты родишь, я буду безнаказанно щипать твоего ребенка, и пройдут годы, прежде чем он сумеет на меня пожаловаться.

– Алессандра!

– Ну, я жду. Кто он? Она вздохнула:

– Его зовут Кристофоро Ланджелла. Он из знатного рода.

– Не сомневаюсь, – ответила я. – А чем я привлекла его внимание?

Но времени сплетничать больше не было. Он уже отошел от мамы и направлялся в нашу сторону. Плаутилла оторвалась от меня и с улыбкой поплыла по комнате. Я неловко замерла на месте, разглядывая свои ноги, своим видом опровергая все мыслимые представления о женственности и обаянии.

– Юная госпожа, – обратился он ко мне, отвесив легкий поклон, – мы, кажется, друг другу не представлены.

– Нет, – буркнула я, бросив на него быстрый взгляд. Лучики мелких морщинок вокруг глаз. Ну, значит, по крайней мере, он умеет посмеяться, подумала я. Но станет ли он смеяться вместе со мной? Я снова уставилась в пол.

– Как поживают сегодня ваши ноги? – спросил он по-гречески.

– Может быть, вам лучше у них об этом спросить? – ответила я голосом, в котором сама услышала ребяческую обиду. Я чувствовала, что мать наблюдает за мной, что она мысленно велит мне хорошо себя вести. И даже если ей не слышно, о чем мы беседуем, то по моей мимике она легко отличит ехидство от смирения.

Он снова поклонился, на этот раз гораздо ниже, и произнес, глядя на подол моего платья:

– Как вы поживаете, ножки? Наверное, радуетесь тому, что сегодня танцевать не нужно? – Он замолк. Потом поднял глаза и улыбнулся. – Вы тоже были в церкви. Как вам понравилась проповедь?

– Наверное, будь я грешницей, то, слушая его, я бы уже почувствовала запах кипящего масла.

– Тогда вам повезло, что вы не грешница. А как вы думаете, много ли таких, кто слушает его и не чувствует этого запаха?

– Немного. Но, мне кажется, в его речах бедняки слышали стенания тех, кто богаче их.

– Ммм... По-вашему, он проповедует бунт? Я задумалась:

– Нет. Мне кажется, он проповедует угрозу.

– Это правда. Но я слышал, что он умеет изливать желчь на всех – не только на богатых или напуганных. Он обрушивается со страшными нападками на Церковь.

– Пожалуй, Церковь этого заслуживает,

– В самом деле. Вам известно, что у нашего нынешнего Папы над входом в спальню висит образ Мадонны? Только вот у Мадонны этой лицо его собственной любовницы.

– Неужели? – оживилась я.

– Да-да. Рассказывают, что столы у него ломаются от жареных певчих птиц, так что в лесах вокруг Рима смолкли все звуки, а его детей привечают в доме, как если бы грех вовсе и не был грехом. Однако человеку свойственно ошибаться, не правда ли?

– Не знаю. Мне кажется, для этого и существует исповедаляня.

Он рассмеялся.

– Вы слышали о фресках Андреа Орканьи в трапезной Санта Кроче?

Я покачала головой.

– На его «Страшном суде» между зубов у дьявола – головы монахинь. А у самого сатаны такой вид, как будто он страдает несварением от множества проглоченных кардинальских шапок.

Я невольно захихикала,

– Ну, расскажите мне, Алессандра Чекки, вы любите искусство нашего прекрасного города?

– О да, я им восхищаюсь, – ответила я. – А вы?

– Тоже. Потому-то моя душа и не замирает от слов Савонаролы.
– Вы не грешник? – спросила я.
– Напротив. Я часто грешу. Но я верю, что сила любви и красоты – это тоже один путь к Богу и к искуплению.

– Вы следуете древним?

– Да, – театральным шепотом ответил он. – Только не рассказывайте об этом никому, потому что определение ереси с каждой минутой становится все шире.

И сколь ни наивно это было с моей стороны, я поддалась его заговорщическому очарованию.

– Ваша тайна умрет вместе со мной, – восторженно ответила я.

– Я уверен в этом. Ну так скажите мне – какой защиты нужно искать, когда наш безумный монах учит нас, будто темные неграмотные старухи лучше разбираются в делах веры, чем все греческие и римские мыслители, вместе взятые?

– Надо дать ему почитать «Защиту поэзии» Боккаччо. В его переводах историй о греческих богах можно найти только христианнейшие из добродетелей и нравственных истин.

Он отступил на шаг и внимательно поглядел на меня, и я могу поклясться, что угадала в его глазах восхищение.

– Да, я уже слышал, что вы – дочь своей матери.

– Я бы не сказала, что мне очень приятно слышать это, мессер. Мой брат всем рассказывает о том, что матушка, когда носила меня, видела насилие на улицах города и потому я оцепенела от ужаса у нее во чреве.

– Значит, ваш брат жесток.

– Да. Хотя это не мешает ему быть честным.

– Может быть. Но в данном случае он ошибся. Вы с удовольствием предаетесь своим занятиям. В этом нет ничего дурного. Вам нравятся только античные авторы или кто-нибудь из наших нынешних тоже?

– Данте Алигьери. Он, по-моему, величайший поэт из всех, кого только рождала Флоренция.

– ...и родит впредь. Здесь нам не о чем спорить. Вы знаете наизусть «Божественную комедию»?

– Не всю! – возмутилась я. – Мне только пятнадцать лет.

– Это хорошо. Если бы вы решили прочитать ее наизусть целиком, мы бы сидели здесь с вами до второго пришествия. – Он снова задержал на мне взгляд. – Я слышал, вы рисуете?

– Я... Кто вам это сказал?

– Вам не надо меня опасаться. Я же вам уже доверил свою тайну – разве вы забыли? Я упоминаю об этом просто потому, что я поражен. Это так необычно.

– Не всегда так было. Вот в древности...

– Знаю. В древности были женщины художницы. – Он улыбнулся. – Вы не единственная, кто знаком с Альберти. Хотя и он тогда не знал о том, что у нашего Паоло Учелло была дочь, которая работала в отцовской мастерской. Самый малый воробушек – так ее называли. – Он помолчал. – Пожалуй, вам стоило бы показать мне как-нибудь свои работы. Я с удовольствием бы их посмотрел.

Из-за его локтя показался слуга, обносивший гостей засахаренными фруктами и вином с пряностями. Мой собеседник взял бокал и протянул его мне. Но чары уже были разрушены. Мы немного постояли молча, глядя каждый куда-то в сторону. Молчание становилось если не тягостным, то красноречивым. Потом он спросил вкрадчивым голосом, каким говорил тогда, во время танца:

– Алессандра, вам известно, зачем мы с вами сегодня встретились?

У меня внутри что-то сжалось. Разумеется, мне следует ответить «нет», как наверняка подсказала бы мне мать. Но я-то знала правду. Как я могла не знать?

– Да, – ответила я. – Думаю, что да.

– Вы бы этого хотели? Я поглядела на него:

– Я и не подозревала, что мои чувства будут приниматься во внимание.

– Обязательно будут. Потому я вам и задаю сейчас этот вопрос.

– Вы очень добры, мессер. – И я почувствовала, что краснею.

– Нет. Ничуть. Но мне хотелось бы считать себя справедливым. Мы с вами – случайные пловцы в этом море. Время бороться в одиночку уходит в прошлое. Поговорите с вашей матерью. Не сомневаюсь, мы с вами еще увидимся.

Он отошел от меня и вскоре покинул дом Плаутиллы.

В его пользу многое говорит, Алессандра. Его родители умерли, так что ты станешь полновластной хозяйкой в его доме. Он получил очень хорошее образование. Он сочиняет стихи, он тонкий знаток и покровитель искусств.

Матушка была слишком взволнована, чтобы держать руки на коленях. Я провела ночь и следующий день в еще большей тревоге.

– Звучит все это так, будто он – самый желанный жених во всем городе. Почему же он до сих пор не женат?

– Мне кажется, он был очень занят – что-то сочинял. А недавно умерли двое его братьев, не оставив наследников. Род Ланджелла очень знатный, его необходимо продолжить.

– Ему нужен сын.

– Да.

– Поэтому ему понадобилась жена.

– Да. Но, мне кажется, он просто захотел жениться.

– Но раньше-то не хотел.

– Люди меняются, Алессандра.

– Он стар.

– Не молод, это верно. Но это не всегда недостаток. Я думала, что уж ты-то это хорошо понимаешь.

Я разглядывала резьбу на деревянном сиденье. Была середина дня, и все остальные домашние спали. Наша летняя лоджия на верхнем этаже дома была открыта для ветерка, если бы он вздумал подуть в такую погоду, а ее стены были выкрашены в прохладнейший из оттенков зеленого, чтобы напоминать о свежей листве. Но даже здесь сейчас было слишком жарко, чтобы думать. Обычно в это время года мы уже переселялись за город, на отцовскую виллу. Уже само то обстоятельство, что мы так надолго задержались в городе, было угрожающим признаком – отца что-то тревожило.

– А вы, матушка, какого мнения о нем?

– Я мало что о нем знаю, Алессандра. Он из хорошей семьи, в этом смысле брак с ним был бы весьма почетным. Все, что я могу тебе рассказать, – это что он увидел тебя на свадьбе Плаутилле, а несколько недель спустя обратился к твоему отцу. Он человек не нашего круга. Я

слышала, несмотря на свою ученость, он не занимается политикой. Но он образованный и серьезный человек, а, учитывая нынешние беспокойные времена, это, пожалуй, даже разумнее. В остальном же он для меня – такой же незнакомец, как для тебя.

– А какие про него слухи ходят? Что говорит Томмазо?

– Твой брат обо всех отзывается дурно. Хотя любопытно – и мне только сейчас это пришло в голову, – что как раз о нем он ничего дурного не говорил. Не уверена, что Томмазо с ним знаком. Но, Алессандра, ему ведь сорок восемь лет. А мужчина в таком возрасте уже успел пожить в свое удовольствие, уж в этом можешь не сомневаться.

– Мужчины живут – женщины ждут.

– Ах, Алессандра! Ты слишком молода, чтобы изрекать подобные старушечьи истины! – сказала мать таким тоном, каким тысячу раз утишала мои маленькие бури. – Ничего ужасного в этом нет. Ты сумеешь все обернуть себе на пользу. Быть может, он любит одиночество не меньше, чем ты.

– Брак, основанный на разлуке?

– Но от этого не менее приятный. Ты не согласишься, но есть вещи, которых даже ты пока еще не понимаешь!

Мы улыбнулись друг другу. Между нами давно уже существовал неписанный договор. Мать соглашалась закрывать глаза на отсутствие у меня важнейших добродетелей (а перечень их был велик: молчаливость, послушание, скромность, кротость), если я не позорю ее на людях. Она научила меня всему, чему могла. И я честно пыталась следовать ее урокам.

Я подумала, уж не такие ли разговоры ведутся обычно между дочерью и матерью накануне свадьбы, а если да, то когда же мы коснемся брачной ночи. Я попыталась мысленно перепрыгнуть огромную пропасть. Представила себе, как просыпаюсь в чужой постели, рядом с чужим мужчиной, раскрывая объятия навстречу новому дню...

– Я хочу взять с собой Эрилу – как часть приданого, – заявила я.

– Она отправится с тобой. Конечно, у него есть и свои слуги, но я уверена, он захочет, чтобы ты чувствовала себя как дома. Разговаривая с твоим отцом, он особо отметил это.

Наступила долгая пауза. Было очень жарко. У меня даже волосы взмокли от пота, будто кто-то облил меня теплой водой. На улицах уже поговаривали, что и это – кара Божия: мол, Господь в знак гнева Своего повелел остановиться временам года. Больше всего на свете мне сейчас хотелось искупаться, а потом улечься на кровать и нарисовать нашу кошку, которая растянулась на подстилке, ленись даже хвостом шевельнуть. Моя жизнь вот-вот разлетится на куски, а у меня даже сил нет что-то с этим поделать.

– Ну, так значит, дело решено, Алессандра? – мягко спросила мать.

– Не знаю. Все так стремительно...

– Но ты же сама так решила. Отец говорит, если французы придут, то они будут в городе уже через месяц. Скоро будет поздно.

– А я думала, смысл моего брака в том, чтобы нашей семье покрасоваться перед всей Флоренцией. Теперь-то времени на это не остается.

– Это верно. Хотя отец считает, что при нынешних настроениях так оно и лучше. К тому же мне трудно поверить, что ты в самом деле желаешь шествовать по улицам под взглядами толпы и чтобы для этого тебя неделями отмывали, умащали и причесывали?

И я вдруг испугалась – как я буду жить без матери – единственного человека, который знает меня почти как я сама, хоть и не всегда в этом признается.

– Ах, матушка! Если бы решать было мне, я предпочла бы остаться дома, читала бы книги, рисовала бы и умерла бы девицей. Но... – Я твердо продолжила: – Я знаю, что это невозможно, а потому, раз мне нужно кого-то взять в мужья, то почему бы не взять его. Думаю, он будет... – Я не сразу подыскала нужное слово. – Думаю, он будет добр ко мне. А если я окажусь неправа – что ж! Он стар и, наверное, скоро умрет, и тогда я стану свободной.

– Даже в шутку не смей этого желать! – рассердилась мать. – Не настолько уж он стар, и да будет тебе известно, что во вдовстве нет места свободе. Уж лучше сразу привыкай к монастырю!

Я изумленно глядела на нее. Неужели и перед ней когда-то стоял такой же выбор?

– А знаешь, мне до сих пор снится тот сон. – Я вздохнула, – О таком месте, где мне позволено делать то, что хочется. И славить за это

Бога.

– Алессандра, если бы подобный монастырь существовал, то попасть в него пожелала бы половина женщин нашего города, – заметила мать с кроткой язвительностью. – Ну так что? Решено? Прекрасно. Я скажу отцу. Полагаю, твой будущий муж тоже готов поторопиться со свадьбой. У нас не будет времени заказывать свадебный кассоне, а значит, придется либо купить подержанный, либо воспользоваться тем, что переходил в его семье по наследству. Если он спросит, то какую живопись на сундуке ты бы предпочла?

Я задумалась.

– Мне безразлично, какой там будет изображен сюжет, лишь бы не та девушка из истории про Настаджо, которую травят собаками и разрывают на куски. Пускай там будет много фигур, чтобы можно было долго разглядывать. – Я снова представила себя в чужой спальне в доме чужого мужчины, и вдруг вся моя отвага куда-то улетучилась. – Когда я выйду замуж и уйду отсюда, с кем же я смогу тогда разговаривать? – спросила я и услышала, как дрожит мой голос.

Матушка оторопела – и я поняла, что ей тоже больно.

– Ах, милая моя Алессандра, ты сможешь разговаривать с Богом. Как и полагается. Там это будет легче, потому что ты будешь одна. И Он обязательно услышит тебя. Он всегда слышит. Меня Он слышал. И Он поможет тебе разговаривать с мужем. Так ты стаешь хорошей женой и хорошей матерью. Твоя жизнь не будет сплошной мукой. Обещаю тебе. – Она немного помолчала. – Иначе бы я не допустила, чтобы это с тобой произошло.

Мне показалось, матушка уговаривает саму себя. Не откладывая, она побеседовала с отцом, и на той же неделе наши семьи уговорились, что приданое будет готово через месяц, после чего сразу же будет заключен брак.

И решено это было вовремя, потому что через пять дней после нашего разговора Карл VIII дал свой ответ Флоренции на ее предложение невмешательства. Пересекши границу Тосканы, он подошел к Фивиццано, разграбил крепость, город и вырезал весь гарнизон.

В Соборе стенала паства, бичуемая языком Савонаролы: «Воззри же ныне, Флоренция, ибо бич уже пал, по слову пророчества. Не я это

предрекал, но самый Господь, Господь, ныне насылающий полки. Меч опустился на землю... Се, он уже грядет. Се, близится».

Я больше не видела своего будущего мужа до самого утра нашей свадьбы. Это были ужасные дни. Правительству что ни день грозило падение, и уныние повисло над городом как готовая излиться грозовая туча. Пьеро Медичи призывал Флоренцию постоять за себя, но теперь даже ближайшие сторонники отвернулись от него и открыто заводили речь о переговорах с врагом. Мой отец совсем лишился покоя, но его так и не призвали в Синьорию. Влияние Медичи стремительно убывало – казалось, что скоро будет опасно иметь к ним хоть малейшее отношение.

Наконец, в конце октября Пьеро с личной свитой выехал из города и направился в стан французов.

В классной комнате учитель заставил нас молиться о его благополучном возвращении. Савонарола с кафедры открыто привечал Карла, называя его орудием Господа, спасающего душу Флоренции, и понося Пьеро как трусливое отродье Медичи – семейства, погубившего нашу благочестивую Республику. Город бурлил тревожным ожиданием. За три дня до того отец вернулся домой с известием, что если французская армия войдет в город, некоторые дома решением Синьории будут отведены для постоя. Чиновники, ходившие по улицам, поместили белыми крестами такое множество дверей, будто снова разразилась чума. И как при моровом поветрии, богатство и влияние больше не спасало. Выбор пал и на оба мои дома – старый и новый. Если французы заявятся, то они станут первыми гостями, которых я приму в качестве замужней дамы и хозяйки дома.

Каждый день приносил весть, что в очередном семействе дочерей, а то и жен, отправляли под безопасную монастырскую сень; впрочем, однажды, когда паника достигла высшей точки, я услышала, как моя мать пробормотала: «Бывало ли такое, чтобы иноземная армия, входя в чужой город, щадила святость монастырских стен?»

А до дня моей свадьбы, назначенной на 26 ноября, оставалось меньше двух недель.

Накануне жара наконец спала, и начался дождь. Я сидела у окна, рядом со своим приданым, смотрела, как по канавам текут потоки

грязи, и думала: а что, если это тоже Божья воля – отмыть город дочиста? Эрила помогала мне упаковать сундук.

– Как все быстро получилось!

– Да, – ответила я и посмотрела ей в глаза. – Тебя это настораживает?

Она слегка передернула плечами.

– Может, вам и не следовало идти за первого, кого предложили.

– Ах, в самом деле! Как же это я не заметила длинной очереди, выстроившейся возле нашего дома? Или ты предпочла бы, чтобы я перебирала четки, сидя в сырой келье какого-нибудь глухого монастыря? Но я бы тебя и туда с собой взяла.

Она молчала.

– Эрила? – Я подождала еще. – Он будет и твоим господином тоже. Если тебе известно что-то такое, что неизвестно мне, лучше выкладывай все сейчас.

Она покачала головой:

– Нас обеих уже продали. Нам остается лишь извлечь из этого выгоду.

Казалось, будто моя жизнь стремительно утекает, как песчинки в песочных часах, и кончается время, прожитое бездумно и беспечно. Я до сих пор не имела вестей от художника. Его молчание мучило меня, как боль, которую пытаешься не замечать, но все же иногда, лежа в постели, когда зной становился совсем невыносимым, я невольно отдавалась этой боли – и тогда вновь мысленно оказывалась в прохладе часовни, где его кожа отливала перламутровым блеском в свечном пламени, или в саду в свежий рассветный час, где его пальцы сновали по листу бумаги и где я заворуженно наблюдала, как от его касания рождаются и растут ангельские крылья. В такие ночи я плохо спала и пробуждалась в поту – ледяном и горячечном.

Я решила, что честность – лучшая уловка, и попросила разрешения у матери посетить часовню, так как вскоре мне предстоит покинуть родной дом. Сама она была слишком занята, чтобы пойти вместе со мной, а необходимость в других сопровождающих теперь почти отпала. Для этой цели годилась и Эрила.

Часовня преобразилась. Алтарь превратился в нечто среднее между строительной площадкой и пещерой волшебника: всюду были леса и балки, создававшие ряды проходов и площадок, взбегавшие

вверх по стенам; на полу, посередине, горел небольшой костер, наполняя воздух дымом, а наверху, под самой крышей, была натянута решетка из толстой черной проволоки, которая отбрасывала при свете пламени тень на сводчатый потолок. Художник, обхваченный ремнями, был поднят высоко в воздух. Он висел под самой крышей и старательно обводил тени, отбрасываемые решеткой на потолок. Закончив одну линию, он кричал слугам внизу, чтобы те ослабили или подтянули веревку, переместив его на другую сторону – поближе или подальше от жара.

Мы с Эрилой наблюдали за всем этим в оцепенении. Он был сосредоточен и проворен, как висящий в пространстве паук, ткущий грубую, но геометрически безупречную паутину. Он передвигался быстро, старательно избегая жара от костра. На одной стене уже виднелись контуры фигур, прорисованные сангиной; оставалось только нанести слой штукатурки. На полу паренек, на вид не старше меня, сидел за столом, растирая пестиком в ступке краску для контуров. Когда работа над фреской начнется в полную силу, помощников будет больше, а сейчас довольно и одного. Художник окликнул его с высоты. Мальчик поглядел в нашу сторону и, оторвавшись от своего занятия, направился к нам. Он низко поклонился:

– Мастер говорит, он не может сейчас прерваться. Иначе огонь опалит потолок, если будет слишком долго гореть, а ему нужно закончить решетку сегодня, до вечера.

– Что он такое делает? – пробормотала Эрила, явно устрешенная всем увиденным,

– Он наносит сетку на потолок, чтобы потом она помогала ему писать фреску, – живо отозвался мальчик.

Я поглядела на него. Лицо перепачкано сажей, а глаза блестят. В каком возрасте он впервые ощутил зуд в пальцах? Эрила по-прежнему недоумевала.

– Свод обманчив, когда его расписываешь, – объяснила ей я. – Правильно оценить перспективу на глаз невозможно.

А линии решетки помогут ему придерживаться исходного рисунка. На свой набросок он нанесет такую же сетку, как на карту, а потом, квадрат за квадратом, перенесет его на потолок.

Мальчик бросил на меня любопытный взгляд. Я не отвела глаз. Не спорь со мной, отвечал ему мой взгляд. Я прочла и знаю об этом больше, чем когда-либо узнаешь ты, пускай не мне, а тебе суждено покрыть наши потолки небесными видениями.

– Тогда скажи своему учителю, что мы подождем, а пока понаблюдаем за его работой, – заявила я спокойно. – Принеси-ка нам пару стульев.

Он, похоже, немного испугался, но, ничего не сказав, поспешил обратно к алтарю и принялся искать подходящие стулья. Найдя два стула, он потащил было их в нашу сторону, но тут на него закричал художник, и мальчишка застыл на месте, разрываясь между двумя приказами. Я с удовольствием отметила, что слово художника оказалось важнее, и подмастерье, бросив свою ношу на полпути, вернулся к прежней работе. За стульями отправилась Эрила.

Прошел почти час, прежде чем художник спустился. В костре жгли солому – дешевое и капризное топливо, которое вспыхивало и прогорало в считанные мгновения. Один или два раза художник вскрикивал, когда пламя разгоралось чересчур сильно, и слуги подливали в него немного воды, но от этого поднимался страшный дым, и художник заходилась кашлем. Я слышала, что на этом этапе случаются страшные увечья; поэтому слуги должны быть не менее искусными в своем деле, чем живописец – в своем. Наконец, он подал им сигнал опускать его. Веревка дрогнула и закрутилась, устремившись к полу. Он чуть не выпал из своих ремней и, бросившись ничком на пол, неудержимо закашлялся, сплевывая сгустки мокроты и пытаясь восстановить дыхание. Под силу ли женщинам такая работа? Может быть, дочь Учелло и нарисовала множество драпировок для храма Марии Магдалины, но она не могла бы вот так подняться под эти сводчатые небеса. Мужчины творят, женщины лишь восторгаются. Я уже начала терять веру в себя. Савонарола с кафедры призывал отправить женщин по домам. Ходили слухи, что скоро он будет проповедовать одним мужчинам, а если придут французы, то женщины, еще не попрятанные по монастырям, будут крепко заперты на замок у себя дома. Спаси нас Бог!

Художник приподнялся, сел, обхватив голову руками, потом поглядел в сторону и увидел, что мы все еще в часовне, все еще ждем. Он встал, оправил одежду, насколько мог, и подошел к нам. Он

изменился – облик стал более мужественным, а прежнюю робость словно прогнала поглотившая его работа. Эрила поднялась, мгновенно став преградой между ним и мною. Лицо у него сейчас было чернее, чем у нее, а пахло от него потом и гарью, и будто сам дьявол вселял в него уверенность.

– Я сейчас не могу прерваться, – сказал он сиплым от дыма голосом. – Мне нужен не только огонь, но и дневной свет.

– Вы с ума сошли, – возразила я. – Вы заболете!

– Не заболею, если буду работать быстро.

– О! У моего отца есть зеркала, которые он использует, когда работает ночами: они делают свечное пламя ярче. Я попрошу его прислать вам такое зеркало.

Он склонил голову:

– Благодарю вас.

От алтаря донесся голос – это кто-то из слуг о чем-то спрашивал его. Художник ответил на чистом тосканском наречии.

– Вы преуспели в итальянском.

– Огонь торопит с учеьем! – И по его перепачканному лицу скользнул призрачный смех.

Наступило молчание.

– Эрила, – сказала я, – ты не оставишь нас на минутку одних!

Та бросила на меня сердитый взгляд.

– Прошу тебя. – Я не знала, что еще сказать.

Она пристально поглядела на художника, потом отвела взгляд и двинулась к алтарю, беспечно покачивая бедрами, как она иногда делала, когда хотела, чтобы мужчины обратили на нее внимание. Мальчишка глаз от нее не мог оторвать, а художник даже не поглядел в ее сторону.

– Вы их посмотрели?

Он слегка кивнул, но я ничего не смогла прочесть в его глазах, покрасневших от дыма. Он снова глянул на огонь...

– Ну так если не сейчас, то когда же? Я через несколько дней уезжаю.

– Уезжаете? Куда?

Значит, он ничего не слышал.

– Меня выдают замуж. Разве вы не знали?

– Нет. – Он помолчал. – Нет, я этого не знал.

Он существовал так обособленно, что до него не доходили даже сплетни прислуги.

– Тогда, наверное, вы не слышали и о том, что нашему городу угрожает вторжение. И что дьявол бесчинствует на его улицах, убивая и калеча людей.

– Я... Да, об этом я что-то слышал, – пробормотал он, и мне показалось, что на мгновение его снова покинула уверенность.

– Вы ходите в церковь? Тогда вы слышали проповеди Монаха.

Он снова кивнул, но на этот раз отвел глаза...

– Вам следует остерегаться, не то Монах вложит вам в руки молитвенник вместо кисти. Я...

Но тут возле меня снова выросла Эрила и укоризненно зацокала языком, В ее обязанности входило сохранить меня чистой для супружеского ложа, и она явно опасалась, как бы я, секретничая с каким-то мастеровым, не запятнала себя.

Я вздохнула:

– Ну так когда же, художник? Сегодня вечером?..

– Нет. – Голос его прозвучал грубо. – Нет, сегодня вечером я не могу.

– Должно быть, у вас назначена встреча с кем-то еще? – И я замолкла, дав своему вопросу повиснуть в воздухе. – Тогда завтра?

Он поколебался.

– Послезавтра. Тогда решетка будет закончена, а костер убран.

От алтаря снова донесся чей-то голос. Художник поклонился, а потом повернулся и зашагал прочь. Жар от огня ощущался даже там, где мы стояли.

Конечно, я поджидала его. Он вышел поздно, уже после того, как погасли факелы, и если бы у меня в комнате не было открыто окно, то я бы не услышала, как скрипнула задняя дверь нашего дома, и не заметила бы, как он тенью скользнул в черноту. Сколько раз я мысленно отправлялась за ним вослед? Это ведь так легко. Мне был знаком каждый шаг, каждый неровно лежащий булыжник на пути до Собора, и в отличие от большинства девушек моего возраста я не боялась темноты. Что дурного могло приключиться с тем, кто, как я, видит во мраке, словно кошка?

Весь вечер я истязала себя, воображая, как отважусь на это. Я нарочно не раздевалась, не желая растерять свою решимость. Ведь еще несколько дней, и я окажусь под замком – в чужой жизни, в чужом доме, в совершенно незнакомой части города, которой я даже мысленно не представляла себе, и тогда моей вожделенной ночной свободе придет конец. На подоконнике рядом со мной лежала одна из шляп Томмазо, которую я потихоньку стащила из его гардеробной. Я часами примеряла ее, так что уже приноровилась – как нужно надеть ее, чтобы моего лица никто не смог разглядеть. Конечно, мешают все эти юбки, но их можно спрятать под длинным отцовским плащом, а если идти быстро, то разоблачение мне грозит, только если навстречу попадется... Свет факела? Человек? Шайка бродяг?.. Я велела себе перестать об этом думать. Я давно дала себе слово. Раз уж мне предстоит выйти замуж и быть похороненной заживо, я не согласна умереть, так и не увидев наяву хоть частицу моей земли обетованной. Я задолжала себе это зрелище. А если дьявол и расхаживает там, по улицам, то уж наверняка найдутся грешники, более достойные его наказания, чем девушка, послушавшаяся родителей, чтобы раз в жизни вдохнуть ночной воздух на память о прежней свободе.

Я спустилась по лестнице и пересекла задний двор, откуда через дверь для прислуги можно было выйти на боковую улицу. Обычно в это время ночи она была закрыта на засов изнутри, но художник, выходя, отважился оставить ее незапертой. Случись теперь кому-нибудь проснуться и обнаружить это... Я поняла, что могла бы

погубить его жизнь, просто задвинув засов. Но вместо этого я скользнула вслед за ним во тьму.

Я сделала шаг вперед. Дверь за мной была все еще распахнута. Я потянула за нее, прикрыла, потом толкнула назад, чтобы увериться, что она открывается. Немного постояла на месте, подождала, пока сердце перестанет так колотиться.

Когда я почувствовала, что успокоилась, то сделала полдюжины шагов в темноту. Дверь за мной растаяла в черной пустоте. Но в тот же миг мои глаза стали лучше видеть. На небе висел тоненький серпик луны, но его света хватало, чтобы я различала булыжники прямо перед собой. Я заставила себя шагать быстрее. Пятнадцать, теперь двадцать шагов. Потом тридцать. До конца одной улицы, до начала другой. Тишина оказалась еще глубже темноты. Я почти достигла следующего угла, как вдруг послышалось шуршанье, по подолу моего платья что-то пробежало. Я невольно замерла от страха, хотя понимала, что это всего лишь крыса. Как там говорил Монах? Что под покровом ночи рыщет отребье города. Что ночь вливает похоть, как яд, в жилы людей. Но почему? Пускай люди скрывают свои мерзости друг от друга – ведь Божье око видит их так же ясно во тьме, как и при дневном свете? Или это наваждение может напасть на всякого? Может быть, блудницы – это обычные женщины, которые просто слишком надолго задержались в ночной темноте? Смех да и только. И все же я поежилась, как от холода.

Я сделала несколько глубоких вдохов. К запаху свободы примешивалась кислая вонь мочи и гниющих объедков. Флорентийцы оставляли на улицах свои метки, словно коты. Пускай Савонарола ратует за чистоту помыслов, грязь и разложение окружают нас отовсюду. Однако этим меня было не испугать, не остановить. Ведь мои братья, грубияны и невежды, каждую ночь разгуливают по темному городу. Я просто последую их примеру и пройду по улицам к Собору, а оттуда к реке. Потом вернусь. Это не так далеко, чтобы заблудиться, но достаточно далеко, чтобы спустя много лет, когда мои дочери станут приставать ко мне со своими расспросами, я могла бы сказать им, что здесь им нечего бояться, но и не к чему особенно стремиться. Это тот же самый город – просто без света.

Улица стала шире. Я зашагала быстрее, мои башмаки отстукивали дробь по неровной булыжной мостовой, а отцовский плащ мел землю

вокруг меня. Где же сейчас художник? Прежде чем пуститься по его следам, я некоторое время выждала. Наверняка он давно уже миновал мост. Сколько времени ему на это понадобится – дойти туда, потом вернуться? Это зависит от того, что он там собирается делать. Но об этом я сейчас не стану думать.

Когда я завернула за угол, то впереди, в конце улицы, показалась темная – чернее самой ночи – громада Собора с его исполинским куполом, поднимавшимся прямо в небо. Чем ближе я подходила, тем невероятнее казалась его величина – словно весь город лежал, свернувшись, в его тени. Я легко представляла себе, как он отрывается от земли прямо у меня на глазах, медленно, как гигантская черная птица, поднимается над домами, над долиной и воспаряет ввысь, в небеса.

Я обуздали свое воображение и торопливо двинулась через площадь, опустив голову. За Баптистерием я свернула на улицу, ведущую на юг, прошла мимо церкви Орсанмикеле – ее святые поглядели на меня из своих ниш каменными глазами. Днем здесь был рынок, шла торговля тканями, за столами, покрытыми зеленым сукном, сидели менялы и ростовщики, и их громким голосам вторило шелканье деревянных счетов. Когда отец только начинал свое дело, у него тоже была здесь лавка, и однажды мы с матерью пришли сюда повидать его, – я тогда подивилась рыночной суете и гаму. Помню, как отец обрадовался, увидев меня, а я зарылась лицом в горы бархата – гордая, избалованная дочка преуспевающего купца. Но сейчас площадь была совершенно пустынна, стояла гулкая тишина, а под арками лоджий, будто в кармашках, затаилась самая густая чернота.

– Юный мессер очень поздно бродит по улицам. Твои родители знают, где ты сейчас?

Я застыла. Этот голос, тягучий и сладкий, как патока, доносился откуда-то из тьмы. Если я поверну обратно, то в считанные мгновенья окажусь на площади у Баптистерия. Но бежать означало бы выдать свой страх.

Я увидела, как от стены отделяется фигура монаха – высокого мужчины в темной доминиканской сутане, с головой, закрытой капюшоном. Я ускорила шаг.

– Ты нигде не укроешься, мессер! Господь всюду увидит тебя. Сними шляпу и покажи мне свое лицо. – И голос его сделался резким.

Но я почти достигла угла, и его слова неслись за мной, когда я углублялась в темноту. – Ну, давай. Беги домой, мальчик. Не забудь надеть свою шляпу, когда явишься в исповедальню, чтобы я знал, на кого налагать епитимью!

Мне пришлось сглотнуть не один раз, прежде чем в пересохшем рту вновь появилась слюна. Чтобы отвлечься, я попыталась представить себе карту города. Я свернула налево, потом еще раз налево. Переулок был крутым и узким. Должно быть, я уже снова приблизилась к Собору, как вдруг послышался смех и передо мной из темноты выросли две мужские тени. У меня похолодела кровь в жилах. Они шли под руку, целиком занятые друг другом, и вначале не обратили на меня внимания. Если повернуть назад, я снова столкнусь с тем монахом, а между ними и мной больше не было боковых улиц. Чем быстрее я буду идти, тем скорее все кончится.

Один заметил меня раньше другого. Он снял руку с талии своего спутника и сделал шаг в моем направлении. Потом за ним последовал и второй, и стало ясно, что они оба решительно направляются ко мне с двух сторон, так что между ними вскоре осталось расстояние в несколько шагов. Я опустила голову еще ниже, так что теперь шляпа Томмазо полностью закрывала мое лицо, и еще плотнее запахла плащ. Я скорее слышала, чем видела, как они все приближаются. Мне стало трудно дышать, кровь стучала в ушах. Они поравнялись со мной раньше, чем я успела собраться с мыслями, и оказались по обе стороны от меня. Мне хотелось пуститься наутек, но я боялась, что это лишь раззадорит их. Я опустила голову и принялась мысленно считать шаги.

Когда они приблизились, я услышала их шепот, похожий на какие-то звериные звуки, свистящий и угрожающий: «Чак-шак-хсс, чак-шак-чак-шак. Хсссс». За этим последовало совсем девичье хихиканье. Мне стоило огромных усилий не закричать. Проходя мимо, они слегка задели меня.

А потом так же неожиданно они исчезли. Я услышала, как их смех делается хриплым и уверенным, каким-то лукавым, и, бросив украдкой взгляд через плечо, я увидела, что они снова слились, как два ручейка, взяли за руки и позабыли обо мне, снова занявшись друг другом.

Мне больше ничего не грозило, но от пережитого ужаса меня покинули последние остатки смелости. Я подождала, пока незнакомцы скроются, а потом повернулась и побежала домой. Не чуя под собой ног, я мчалась что было духу и, поскользнувшись на булыжниках, чуть не растянулась на мостовой. Наконец впереди показался фасад нашего палаццо со статуей Пресвятой Девы на углу, приветствующей усталых путников, и я из последних сил пробежала оставшийся отрезок пути до задней двери. Как только дверь закрылась за мной, я почувствовала, что у меня подкашиваются ноги, и села на землю. Глупая, глупая девчонка! Прошла с десяток улиц и понеслась бегом домой, напугавшись первых признаков жизни. Нет у меня ни смелости, ни силы духа. Я и вправду заслуживаю того, чтобы меня держали взаперти. Пускай дьявол забирает отважных, зато добродетельные обречены умирать от скуки. От скуки и тоски.

На глазах у меня выступили слезы обиды и ярости. Я поднялась с земли и уже пересекла половину двора, как вдруг раздался скрип отворяющейся двери.

Я снова скользнула в тень. Это он. Дверь затворилась, тихо-тихо, и я услышала звук засова, ложащегося в пазы. На мгновение наступила тишина, а потом послышались приглушенные шаги по двору. Я выждала, пока он почти поравняется со мной. Он тяжело дышал. Возможно, он тоже бежал. Если бы я

стояла тихо, он бы просто прошел мимо. Зачем я это сделала? Потому что обидно оказаться такой трусихой? Чтобы понять, на что я способна? А может, мои намерения были куда менее добрыми – мне захотелось напугать другого человека так, как только что напугали меня?

– Вы хорошо развлеклись?

Заговорив, я сделала шаг вперед и встала у него на пути. От неожиданности он подскочил на месте, и я услышала, как что-то упало: глухой стук, как будто какой-то твердый предмет ударился оземь. И это, похоже, испугало его больше, чем мое появление: он опустился на корточки и принялся отчаянно шарить вокруг себя. Но я его опередила. Мои пальцы наткнулись на твердый переплет книги. Наши руки встретились. Он мгновенно отдернул свои, как будто их обожгло мое прикосновение. Я протянула ему книгу, и он схватил ее.

– Что вы здесь делаете? – прошипел он.

– Вас подкарауливаю.

– Зачем?

– Я же говорила. Мне нужна ваша помощь.

– Я не могу вам помочь. Разве вы не понимаете? Я расслышала страх в его голосе.

– Почему? Что там произошло? Что вы видели?

– Ничего. Ничего. Оставьте меня в покое.

И он оттолкнул меня в сторону, встал и, пошатываясь, пошел дальше. Но видимо, мы слишком шумели, потому что из мрака загремел голос, пригвоздив нас обоих к месту:

– Эй вы там! Заткните глотки! Ступайте блудить в другое место!

Я съежилась, сидя на корточках во тьме. Голос замер, а несколько мгновений спустя я услышала, как художник удаляется. Я подождала, пока все стихнет, а потом оперлась на руки и стала подниматься. И вдруг нащупала что-то на земле – похоже, это был листок бумаги, выпавший из его книги. Стиснув в руке находку, я тихонько прокралась через двор и поднялась по лестнице для прислуги в господскую часть дома.

Оказавшись у себя в комнате, в безопасности, я поспешила зажечь масляный светильник. Прошло некоторое время, прежде чем пламя разгорелось и я смогла что-то разглядеть. Я развернула лист бумаги и расправила его на постели. Он был разорван пополам, но читался достаточно ясно. Изображение человеческого тела – обнаженные ноги и почти весь торс. Дальше листок обрывался – чуть ниже того места, где должна была помещаться шея. Угольные штрихи – грубые, торопливые, как будто художнику не хватало времени, чтобы запечатлеть увиденное, но само изображение потрясло. От самой ключицы до паха тело было рассечено пополам одним глубоким ударом лезвия, плоть раздвинута, как у туши в мясном ряду, вынутые внутренности лежали рядом.

Мои руки взметнулись к губам, чтобы подавить невольный стон, и тут я ощутила знакомый запах на пальцах – то же сладковатое зловоние, которое исходило от художника в день, когда он писал мой портрет в часовне; теперь мне вспомнилось, что и в тот раз он накануне отправлялся на ночную прогулку по городу. Так я узнала, что, какую бы цель ни преследовал наш благочестивый живописец, его ночные странствия имели больше отношения к смерти, чем к блуду.

Прошло, наверное, всего несколько часов, и меня разбудили крики на улице. Я так и заснула, не раздевшись, зажав в руке листок с рисунком. Масляный светильник все еще горел, а по небу пролегли розовые полосы облаков. Кто-то колотил в парадные двери палаццо. Я набросила плащ поверх платья и посреди лестницы столкнулась с отцом.

– Ступай обратно в постель, – коротко бросил он мне.

– А что происходит?

Но он ничего не ответил. Внизу, во дворе, слуга уже оседлал для него лошадь. Я заметила на площадке мать в ночном наряде.

– Матушка?

– Твоего отца срочно вызвали. Пьеро Медичи возвратился в Синьорию.

Разумеется, после такого известия о сне уже и речи не могло быть. За неимением другого места я сунула листок туда же, где уже лежали все мои рисунки, – в мой свадебный сундук.

О том, что с ним делать, я подумаю позже. Теперь не до того. Внизу Томмазо и Лука собирались уходить. Я подошла к матери и последовала за ней в спальню – умолять ее, хотя и знала, что все мольбы будут бесполезны.

– Вы сами когда-то говорили, что нужно видеть своими глазами, как совершается история. Мы стояли тогда с вами в капелле Гирландайо, и вы сказали мне именно эти слова. А сейчас в нашем городе происходят еще более важные события. Так почему бы нам не стать их очевидцами?

– Об этом не может быть и речи. Отец говорит, что Пьеро вернулся во Флоренцию с мечом в руке и войском, следующим за ним по пятам. Здесь начнется кровопролитие и насилие. Негоже женщинам видеть, как совершается подобное.

– А что же нам делать? Сидеть и шить себе саваны?

– Напыщенность тебе не к лицу, Алессандра. Ну да, можешь шить, если хочешь. Хотя полезнее молиться. И за себя, и за свой город.

Что можно было на это возразить? Я больше не понимала, что правильно, а что нет. Все, что прежде казалось незыблемым и вечным,

теперь рушилось на глазах. Род Медичи правил нашим городом вот уже полвека. Но за это время они ни разу не поднимали оружия против Республики. В лучшем случае Пьеро оказался плохим политиком, в худшем – предателем. Томмазо был прав. Республика рушится, как карточный домик. Куда же все подевалось? Вся ее слава, все богатство и ученость. Неужели Савонарола прав? Все искусство, какое ни есть в мире, бессильно остановить нападающее войско. Может, эта беда – за наши грехи и гордыню?

Мать погрузилась в домашние хлопоты.

На лестнице я встретила Эрилу, которая собиралась выскользнуть из дома.

– Все опасаются кровопролития, – сказала я. – Будь осторожна. Мать говорит, что женщинам сейчас не место на улице.

– Буду иметь в виду, – ответила Эрила, усмехаясь и с годовой закутываясь в покрывало.

– Ах, возьми и меня с собой, – прошептала я, когда она зашагала прочь. – Пожалуйста... – И знаю, она расслышала мои слова, потому что я видела, как она помедлила, прежде чем уйти, но потом устремилась к двери.

Я несла стражу у своего привычного подоконника в зале приемов. Вскоре после полудня ударили в большой колокол Синьории. Я никогда не слышала его раньше, хотя сразу поняла, что это он. Как его называли мои наставники? «Корова», потому что звучал он низко и скорбно, как мычанье. Но если его имя и казалось забавным, сам его звон знаменовал конец света, ибо в этот колокол били лишь во время величайших бедствий: то был призыв ко всем гражданам Флоренции собраться на площади Синьории. Республике грозит опасность.

В зал вбежала мать и встала рядом со мной у окна. Людской поток уже устремился по улицам. Теперь и она была взволнована не меньше меня. Мне даже на миг показалось, что она нездорова.

– Что с вами?

Она ничего не отвечала.

– Что с вами? – настаивала я.

– Я так давно его не слышала, – сказала она мрачно. И покачала головой, словно отгоняя дурные мысли. – Он звонил в тот день, когда в Соборе убили Джулиано и ранили Лоренцо. Город был объят

безумием. Отовсюду слышались людские вопли. – Мать умолкла, я поняла, что ей трудно продолжать. И мне вдруг вспомнились ее внезапные слезы при виде тела Лоренцо. Что она тогда пережила?

– Я... Я как раз носила тебя, и в тот миг, когда раздался набат, я почувствовала, как ты яростно ворочаешься у меня под сердцем. Наверное, ты и тогда все хотела видеть сама. – И матушка слабо улыбнулась.

– И что же вы сделали? – спросила я, вспомнив рассказы слуг о ее давнем проступке.

Она прикрыла глаза:

– Бросилась к окну – как ты сейчас.

– И?..

– И увидела, как толпа тащит одного из убийц, священника де Баньоне, по улицам к виселице. Его оскостили, и за ним тянулся кровавый след.

– О-о! – Значит, это была правда. Я перевернулась в материнской утробе от страха и ужаса. Не раздумывая, я отпрянула от окна.

– Значит, от того потрясения я сделалась злонравной.

– Нет! Ты не злонравна, Алессандра! Ты просто любопытна. И юна. Совсем как я в ту пору. – Матушка помолчала. – И, если тебя это утешит, могу тебе признаться, что это зрелище не столько потрясло или напугало меня, сколько преисполнило сострадания. Ведь человеку довелось пережить такую боль, такой ужас... Я знаю, что говорят о подобных вещах другие, но я много думала об этом с того самого дня и пришла к выводу, что если я и наделила тебя чем-то еще в утробе, так это умением сопереживать людским страданиям.

Я села рядом с ней, и она обняла меня одной рукой.

– Что с нами будет, матушка? – спросила я немного погодя.

Она вздохнула:

– Не знаю. Боюсь, что Пьеро не останется ни ума, ни силы, чтобы спасти правительство Республики, хотя, быть может, он еще успеет спасти собственную жизнь.

– А французы?

– Отец говорит, что они уже совсем близко. Пьеро заключил с ними унижительную сделку, предоставив им свободу действий в нашем городе, пожаловав им Пизу и изрядную сумму на военные расходы Карла.

– Ничего себе! Да как же он посмел? И когда они сюда заявятся?

– Через несколько дней. – И она поглядела на меня так, словно только теперь меня заметила. – Пожалуй, твою свадьбу стоит сыграть раньше, чем мы собирались, Алессандра.

Новости, как всегда, принесла Эрила. Час был уже совсем поздний, и матушка так взволновалась, что на сей раз даже не стала отсылать меня в мою комнату.

– Пьеро бежал, мадонна. Взял своих людей и покинул город. Когда в Синьории узнали, на каких условиях он заключил договор, то постановили выдворить его из города. Но он отказался покинуть площадь, а его люди обнажили мечи. Вот тогда-то и ударили в колокол. Вы бы видели эти толпы! За полминуты сбежалось пол-Флоренции. И там же, на месте, постановили создать новое правительство. И первое, что оно решило, – изгнать Пьеро и назначить награду в две тысячи флоринов за его голову. Я возвращалась домой по улице Торнабуони. Дворец Медичи осажден. Там, похоже, идет сражение.

Значит, Савонарола все-таки оказался прав. Меч уже навис над нами.

Я поднялась в шесть часов утра. Марию я отослала прочь – только не сегодня! – и мне никто не возражал. Эрила одела меня, уложила мне волосы. Мы обе измучились. Я уже вторую ночь кряду проводила без сна. Во дворе конюхи взнуздывали лошадей, а на кухне кормили отряд стражников, нанятых отцом для охраны. Полгорода все еще бродило по улицам, и поговаривали, будто дворец Медичи разграблен. Никому бы в голову не пришло устраивать свадьбу в такой день.

Я поглядела на себя в зеркало. У моего жениха не оставалось времени на то, чтобы составить мне новый гардероб, как того требовал обычай, так что придется обойтись старыми нарядами. За последние месяцы мое лучшее платье из кармазинной парчи стало мне маловато, но меня все равно в него втиснули, так что теперь я едва могла пошевелить руками – такими тесными оказались рукава. Ничего похожего на шуршащие шелковые юбки сестры и ее белую кожу. Мне не досталось ни красоты, ни изящества. Но, как бы то ни было, сейчас неподходящее время для парадных семейных портретов. И к лучшему! Разве нашла бы я в себе силы чинно позировать мужчине, чей уголь запечатлевал по ночам рассеченную человеческую плоть и очертания вынутых внутренностей?

Мне сделалось дурно при одной этой мысли.

– Тсс... Сидите спокойно, Алессандра. Я не могу вплетать цветы вам в волосы, когда вы так крутитесь.

Но дело было не в том, что я вертелась – просто цветы поникли, их стебли обмякли. Вчерашние цветы для сегодняшней невесты! Я поймала в зеркале взгляд Эрилы. Она не улыбнулась, и я поняла, что она тоже испугана.

– Эрила?..

– Шшш... Сейчас не время. Все будет хорошо. Вы же к браку – не к гробу готовитесь. Не забывайте, вы сами предпочли это монастырю.

Но похоже, она просто бодрилась, а увидев меня в слезах, обняла меня. Закончив возиться с моими волосами, Эрила предложила сходить за поджаренными каштанами и вином для меня. И когда она уже выходила из комнаты, я вспомнила о художнике и о том, что мы с ним уговорились повидаться сегодня вечером.

– Скажи ему... – Но что можно было теперь ему сказать? Что я покидаю отцовский дом, пока он проводит ночи в смертном смраде, среди кровавых человеческих потрохов? – Скажи ему, что теперь уже поздно. – Так оно и было.

Вскоре после того, как она ушла, дверь снова отворилась и на пороге застыл Томмазо, словно не смея двинуться дальше. На нем была та же одежда, что и вчера вечером.

– Что творится на улицах, братец? – ровным голосом спросила я, глядя в зеркало.

– Можно подумать, вторжение уже началось. Со всех зданий сдирают герб Медичи и рисуют на его месте эмблему Республики.

– Нам ничего не угрожает?

– Не знаю.

Он снял плащ и утер им лицо.

– Да ты совсем не по-праздничному одет, а ведь сегодня у меня свадьба, – заметила я, почти обрадовавшись поводу для перебранки. – В таком грязном наряде ты никого не покоришь! Хотя, наверное, в нынешних обстоятельствах гостей соберется гораздо меньше, чем мы думали.

Он слегка пожал плечами.

– У тебя свадьба, – повторил он мягко. – Наверное, я – единственный, кто до сих пор тебя не поздравил. – Он помолчал, мы

глядели на наши отражения в зеркале. – Ты... очень мила.

И эта незатейливая похвала прозвучала в его устах так непривычно, что я невольно рассмеялась.

– Достаточно, чтобы меня ощипали и начинили – ты это хочешь сказать?

Он нахмурился, словно моя грубость расстроила его. Он шагнул в комнату, чтобы видеть меня, а не только мое отражение.

– До сих пор не пойму, зачем ты согласилась.

– Согласилась на что?

– Выйти за него замуж.

– Чтобы избавиться от тебя, конечно, – ответила я беспечно, но он и на эту колкость никак не отозвался. Я повела плечами. – Потому что иначе бы умирала медленной смертью в монастыре, а здесь у меня и так жизни никакой нет. Быть может, с ним все будет иначе.

Он кашлянул, как будто и этот ответ его не устраивал.

– Надеюсь, ты будешь счастлива.

– Правда?

– Он образованный человек.

– Об этом я слышала.

– Думаю... Думаю, он даст тебе ту свободу, о которой ты так мечтаешь.

Я нахмурилась. Уж слишком похоже это прозвучало на то, что прежде говорила мне мать.

– А ты почему так думаешь? Он пожал плечами.

– Ты его знаешь, да?

– Немного.

Я покачала головой:

– Нет. Сдается мне, что даже не «немного». – Ну конечно. В последние дни столько всего происходило, что у меня даже пораскинуть мозгами не было времени. Откуда бы еще мессер Ланджелла мог прознать о моих занятиях, о том, что я рисую? Кто еще снабдил бы его подобными сведениями? – Это же ты рассказал ему обо мне, верно? – спросила я. – О греческом. О рисовании. И о танцах.

– Ну, как ты танцуешь, видно всякому, а твои познания, сестренка, – да, о твоих познаниях ходят легенды. – В нем снова проснулся прежний Томмазо: яд ехидства, капающий с кончика языка.

– Объясни мне кое-что, Томмазо. Почему мы с тобой вечно воюем?

– Потому что... – Он замолчал. – Потому что... Я уже не помню.

Я вздохнула.

– Ты старше меня, у тебя больше свободы, больше прав, ты даже танцуешь лучше... – Я остановилась. – И ты намного красивее меня. – Он ничего не отвечал. – Или, во всяком случае, чаще меня смотришься в зеркало, – добавила я со смехом.

Он мог бы рассмеяться в ответ. Случай был подходящий.

Но он по-прежнему молчал.

– Ну, – сказала я мягко, – может быть, сейчас и не время заключать мир. Пожалуй, это стало бы для нас излишним потрясением, а город теперь и без того потрясают страшные события.

Больше говорить было не о чем, но брат все не уходил, все медлил.

– Я правду говорил, Алессандра. Ты в самом деле выглядишь очень красивой.

– Я выгляжу решительно, – поправила я его. – Хотя это и не означает, что я действительно полна решимости. Но все равно... В следующий раз, когда мы с тобой увидимся, я буду замужней женщиной, а Флоренция – городом, захваченным врагом. Постарайся пока избегать ссор на улицах. А то еще напорешься где-нибудь на французский меч.

– Ну, так лучше я буду навещать тебя.

– Ты всегда будешь желанным гостем в моем доме, – ответила я чинно. И подумала, сколько еще должно пройти времени, прежде чем эти слова станут для меня привычными.

– В таком случае я буду часто приходить к тебе. – Томмазо снова помолчал. – Передавай поклон своему мужу.

– Непременно.

Теперь-то я, конечно, знаю, что этот разговор смутил его куда больше, чем меня.

Едва ли это можно было назвать свадебным шествием.

Я ехала на коне, почти полностью скрытая окружавшими меня со всех сторон стражниками, и прохожие на улицах не останавливались, чтобы полюбоваться моим нарядом. В городе было беспокойно. Люди сбивались в кучки на перекрестках, а когда мы добрались до Собора,

нас остановили и попросили ехать другой дорогой, потому что площадь перед фасадом оцеплена.

Однако оцепление было неплотным, и мне удалось хорошо все разглядеть.

На ступенях Баптистерия, привалившись к блестящим вратам, украшенным рельефами Гиберти, лежало тело. Голову его закрывал плащ, но, судя по форме ног и расцветке одежды, это был молодой мужчина. Могло показаться, что он просто уснул после ночной попойки, если бы не лужа черной крови, продолжавшая растекаться из-под его тела.

Конюх дернул поводья, приказывая моему коню идти дальше, но тот, похоже, учуял запах крови, потому что вдруг взбрыкнул, захрапел и забил копытами по булыжнику. Я вжалась в седло, не сводя глаз с трупа. И тут плащ соскользнул с мертвеца, и я увидела изуродованное окровавленное лицо: голова наполовину отсечена от туловища, а на месте носа зияет отверстая рана. Прямо над телом, на дверной створке, виднелась библейская сцена с Ангелом Господним, останавливающим руку Авраама, – «Жертвоприношение Исаака». Но здесь, в жизни, места подобному милосердию не нашлось. Еще один изувеченный труп возле очередной церкви. Савонарола прав: Флоренция ведет войну сама с собой и в часы ночной тьмы городом правит дьявол.

Конюх еще раз с силой дернул коня, и мы продолжили путь.

Палаццо моего мужа было старым, полным сквозняков, и запах сырости исходил там от каждого камня. Моя догадка насчет гостей оказалась верна. И причиной тому, что их число уменьшилось, стало не только беспокойное время, но и опасения выказать свою верность прежним владыкам. В минуты, когда власть переходила в другие руки, многие не захотели показываться на свадьбе представителя старой гвардии, да и мой отец, пускай он и не получил высокой должности, какой желал, тоже был из числа сторонников Медичи. Не могу сказать, что это меня расстроило. К чему нам лишние зрители? Церемония была простой и короткой. Нотарий был взволнован больше нас, оглядывался через плечо на всякий крик или шум с улицы, но справился-таки со своей работой – удостоверился, что контракты подписаны, а новобрачные обменялись кольцами. В суматохе у моего жениха не осталось времени приготовить свадебные подарки, но он сделал, что мог, и, мне кажется, мать была тронута его даром – маленькой брошью с янтарем, принадлежавшей некогда его матери. Луке досталась фляга, а Томмазо – серебряный пояс, очень красивый, как мне показалось. Всем нам были обещаны и другие подарки.

Если город сотрясали бедствия, то внутри старого дома Кристофоро царили покой и утонченность. Да и сам он держался, как всегда, спокойно и во время церемонии обходился со мной с вежливым вниманием, скорее как с доброй знакомой, нежели с невестой; впрочем, если вдуматься, так оно и было. Мы стояли с ним бок о бок, и он был достаточно высок, так что я могла не сутулиться, чтобы казаться одного с ним роста, а это было бы необходимо, окажись на его месте другой мужчина. Выглядел он, надо заметить, лучше, чем я. Должно быть, в молодости он был чрезвычайно привлекателен, да и теперь, несмотря на морщины и несколько лихорадочный цвет лица, в его наружности еще сквозили следы былой красоты, способные привлечь взгляд.

После обряда было подано простое угощение: холодное мясо, свиной студень и свежая жареная щука, фаршированная изюмом. На брачный пир не похоже, хотя по выражению отцовского лица я догадалась, что вина из погреба его зятя превосходны. Когда все

насытились, в зимнем парадном зале начались танцы с музыкой. Плаутилла, пыхтя и отдуваясь, проделала несколько кругов, но прежняя грация газели исчезла под тяжестью огромного живота. Немного погодя она уселась в сторонке и стала смотреть, как танцуют другие. Когда мой новоиспеченный супруг пригласил меня на балли-ростиболи, я ни разу не споткнулась и не пропустила ни одного па. Матушка спокойно наблюдала за мной. Отец, сидевший подле нее, делал вид, что тоже смотрит, но я видела, что голова у него занята совсем другими вещами. Я мысленно попыталась взглянуть на мир его глазами. Он всю свою жизнь старался возвысить положение своей семьи и умножить славу своего государства. Теперь дочери покинули его дом, сыновья бесчинствуют на улицах, Республика на краю пропасти, а французское войско – в одном дне пути от Флоренции. А мы тем временем танцуем здесь, как будто ничего и не происходит.

Празднество закончилось рано – после вечерних колоколов выходить на улицу запрещалось. Моя родня разошлась, на прощанье заключив в объятия меня и моего мужа. Мать торжественно поцеловала меня в лоб и, наверное, хотела еще что-то сказать мне в напутствие, но я избегала смотреть ей в глаза. Я очень волновалась и была готова обвинять кого угодно, кроме себя самой, в моем нынешнем затруднительном положении.

«Не бойся, – торопливо наставляла она меня утром, осматривая мое платье, так как времени на длительную беседу не оставалось. – Он поймет, что ты совсем юна, и будет заботлив. В брачную ночь будет немножко больно. Но боль быстро пройдет. Зато это большое событие, Алессандра. Оно изменит твою жизнь, и я думаю, если ты того захочешь, принесет тебе покой и удовлетворение, которого ты иначе никогда бы не обрела».

Я не уверена, что она сама во все это верила. Что до меня, то я тогда была так взволнованна, что толком и не слушала.

– Ну, Алессандра Ланджелла, чем мы теперь с тобой займемся?

Он стоял, обозревая остатки пиршества. После музыки тишина казалась тревожной.

– Не знаю.

Я поняла, что ему передается мое волнение. Он налил себе еще вина. Прошу тебя, только не напивайся, подумала я. При всем своем неведении, даже я знала, что, во-первых, жених не должен входить к

невесте охваченным необузданной похотью (ничего подобного он пока не выказывал; за всю церемонию он прикоснулся ко мне только во время танцев), а во-вторых, не подобает ему входить к ней и пьяным. Что касается других запретов – что ж, с ними мне, несомненно, еще предстояло познакомиться в ходе нашей совместной жизни.

– Пожалуй, можно заняться чем-то, что привлекает нас обоих. Хочешь, посмотрим кое-какие скульптуры?

– О, еще бы! – ответила я, и, должно быть, лицо мое сразу повеселело, потому что он рассмеялся над моей горячностью, как смеются над нетерпеливыми детьми. И я тут же подумала, что он, наверное, хороший человек и что, сделавшись мужем и женой, мы теперь будем снова беседовать, как тогда, на свадьбе Плаутиллы, и проводить досуг, сидя рядышком и читая или рассуждая об умных вещах, – как брат с сестрой: правда, с братьями-то у меня как раз ничего подобного и не было. Таким образом – пусть государство вокруг нас и трещит по швам – мы сбережем в своих душах прежнюю Флоренцию, а когда-нибудь из всего этого ужаса, быть может, и выйдет что-то доброе.

Когда мы поднимались по лестнице, я заметила, что похолодало.

Его коллекция скульптур помещалась на втором этаже. Он отвел для нее целую галерею. Там было пять статуй: два сатира, Геркулес с узловатыми веревками мышц под мраморной кожей и незабываемый Вакх, чье тело, хоть и каменное, казалось куда более живым, чем мое. Но прекраснее всех был молодой атлет: нагой юноша, который, перенеся всю тяжесть тела на отставленную назад ногу, изогнул туловище в полной готовности метнуть диск, крепко зажатый в правой руке. Его поза была полна текучей грации, словно взгляд Медузы застиг его за миг до того, как мысль и действие объединились. Не сомневаюсь, он пленил бы даже Савонаролу. Изваянный задолго до Христа, он источал какое-то божественное совершенство.

– Тебе он нравится?

– Еще бы, – выдохнула я. – Очень. Сколько ему лет?

– Он наш современник.

– Не может быть! Он же...

– Древний? Да, знаю, ошибиться нетрудно. Он – доказательство моего невежества.

– Как это понимать?

– Я купил его в Риме. У человека, который божился, что эту статую выкопали два года назад на Крите. Торс был действительно выпачкан в земле и покрыт плесенью. Видишь, на левой руке отколот палец? Я заплатил за него целое состояние. А потом, когда я вернулся во Флоренцию, один мой друг, у которого имелись друзья среди скульпторов, работавших на Медичи, сказал мне, что это – работа одного из них. Копия со статуи, принадлежавшей Козимо. Очевидно, такой обман совершился уже не в первый раз.

Я снова уставилась на мраморного юношу. Казалось, сейчас он повернет к нам голову и улыбнется своему разоблачению. Впрочем, такая улыбка искупила бы обман.

– И что же вы сделали?

– Я велел поздравить скульптора с удачей и оставил статую у себя. Полагаю, она стоит тех денег, что я за нее отдал. А теперь пойдем. У меня есть еще кое-что – думаю, это заинтересует тебя даже сильнее.

Кристофоро отвел меня в комнату поменьше. Из запертого шкафа он достал роскошный малахитовый кубок и две агатовые вазы, помещенные флорентийскими ювелирами на специальные позолоченные подставки с выгравированным именем владельца. Затем он стал выдвигать инкрустированные деревянные ящички, показывая мне собрание древнеримских монет и украшений. Но когда он бережно выложил передо мною на стол большую папку с рисунками, стало ясно, что настоящее сокровище он приберег напоследок.

– Это иллюстрации к тексту, с которым они когда-нибудь будут переплетены в одну книгу. Можешь ли вообразить, какую славу они тогда принесут художнику?

Я стала вынимать рисунки, один за другим, пока передо мной на столе не оказалась их целая дюжина. Пергамент был достаточно тонок, чтобы разглядеть строки на обратной стороне, но мне и не нужно было вчитываться, чтобы понять, что это за книга. Наброски тушью изображали небесные картины: изысканно-возвышенная Беатриче держала за руку Данте и вела его сквозь сонм крошечных духов еще выше, к верховной обители Бога.

– «Рай».

– Верно.

– Тут есть еще и «Чистилище», и «Ад»?

– Конечно.

Я снова принялась листать, песнь за песнью. По мере приближения к аду рисунки становились все сложнее и неистовее: иные кишели обнаженными фигурами, которых мучили бесы, другие изображали людей, вросших телами в деревья или терзаемых змеями. Хотя я хорошо знала Данте, мое собственное воображение никогда бы не могло породить такую бурную реку образов.

– О! Кто же автор?

– А разве ты не узнаешь его руку?

– Я не так хорошо разбираюсь в искусстве, как вы, – скромно ответила я.

– А ну-ка, попробуй угадать. – Он порылся в кипе листов и вытащил рисунок, иллюстрировавший одну из песней «Рая», где завитки волос Беатриче развевались вокруг ее лица с той же пышностью, что и складки одеяния – вокруг ее тела. И мне показалось, что в этом лице – полузастенчивом-полубезмятежном – мелькнуло сходство с другой, с той, что пробуждала вождление всех смотревших на нее мужчин, отвращая их от собственных жен.

– Алессандро Боттичелли?

– Превосходно! Она поистине его Беатриче, ты не находишь?

– Но... Но когда же он все это нарисовал? Я и не знала, что он делал иллюстрации к «Божественной комедии».

– О, наш Сандро испытывает к Данте не меньшую любовь, чем к Богу. Впрочем, я слышал, он стал меняться под действием слов Савонаролы. Но эти рисунки созданы несколько лет назад, после его возвращения из Рима. С самого начала он трудился над ними самоотверженно, словно не на заказ – хоть покровитель у него был и тогда. Он работал над ними очень долго. Но, как ты сама видишь, так и не завершил.

– А как они попали к вам?

– О, к сожалению, они хранятся у меня лишь временно. Мне передал их друг, который погрузился в политику и потому опасается, как бы его коллекция не пострадала от уличного насилия.

Разумеется, меня разбирало любопытство, кто же этот друг, но Кристофоро больше ничего не сказал. Я вдруг вспомнила о родителях – о том, насколько моя мать была умнее отца, и все же во многие вещи он ее не посвящал, а она никогда не спрашивала о них. Наверное, и я скоро научусь понимать, где проходит эта граница.

Я снова обратилась к рисункам. Странствие по «Раю» было увлекательным, даже познавательным, но моим вниманием очень скоро завладел «Ад». Эти страницы кишели образами страдания и печали: тела, тонущие в реках крови, полчища пропащих душ, несущиеся сквозь вечность, гонимые огненными ветрами; а тем временем Данте с Вергилием, на некоторых иллюстрациях облаченные в немыслимо яркие одежды, бредут вдоль холодного края каменной пропасти, которую лижут языки пламени.

– Скажи мне, Алессандра, – обратился ко мне муж, заглядывая мне через плечо, – как ты думаешь, отчего ад всегда таит в себе больше притягательности, чем небеса?

Я мысленно перебрала все другие картины и фрески, какие видела раньше, с их назидательной жутью: скорченные бесы с когтями и крыльями, как у летучих мышей, раздирающие мясо и хрустящие костями. Или сам дьявол с его исполинским звериным телом, поросшим густым волосом: вот он заталкивает себе в пасть вопящих грешников, словно морковки. Для сравнения – какие райские образы я помнила? Сонмы блаженных святых да сомкнутые ряды ангельских ратей, объединенные в безмолвной безмятежности.

– Быть может, оттого, что всем нам знакома боль, – ответила я. – А постичь возвышенное нам гораздо труднее.

– Вот как? Значит, противоположностью боли ты считаешь возвышенное? А как же наслаждение?

– Мне кажется... Мне кажется, «наслаждение» – слишком слабое слово, чтобы описать союз с Богом. Ведь наслаждение – это земное понятие: человек получает его, уступив соблазну.

– Именно! – Он рассмеялся. – Значит, муки ада напоминают нам о земных наслаждениях. Между ними крепкие узы, тебе не кажется? Потому что они напоминают нам о жизни.

– Хотя должны напоминать нам и о грехе, – произнесла я строго.

– Увы, это так. Грех! – Он вздохнул. Похоже, его эта мысль не очень печалила. – Они растут друг возле друга, сплетаясь, как плющ с деревом.

– А какое место вы бы там себе выбрали, мессер? – спросила я, забыв о строгости, и подумала, не употребить ли мне в следующий раз слово «муж».

– Я? О, я отправился бы туда, где собираются лучшие люди.

– Что бы вы предпочли – сплетни или философию?

Он улыбнулся:

– Разумеется, философию. Для вечности я выбрал бы в спутники мудрецов классической древности.

– Ну, в таком случае вы попали впросак! Ведь все эти великие умы античного мира пребывают в лимбе, ибо они жили еще до рождения подлинного Спасителя. И если они не испытывают мук, то страдают от отчаяния, потому что им не оставлено надежды на переход в иные сферы. Им не позволено даже войти в Чистилище.

Он рассмеялся:

– Превосходно! Хотя, должен сознаться, я сразу почуял твою ловушку. И решил угодить в нее, чтобы доставить тебе удовольствие. – И конечно же, стоило ему это сказать, как я подумала, что сама наша беседа приносит нам обоим наслаждение – и потому, если он прав, уже является спутницей греха. – Впрочем, я бы добавил, что если Данте суждено стать нашим Вергилием в странствиях по загробному миру, то, я уверен, мы оба согласились бы, что и в аду есть места, где можно найти себе отличных собеседников: ведь в промежутках между муками его грешники умудряются вести между собой глубокомысленные разговоры.

Теперь мы с ним стояли ближе друг к другу, а под нашими пальцами извивались сотни нагих тел. В Дантовом Аду была своя элегантная метафизическая симметрия: для каждого греха – соответствующее наказание. Так, чревоугодников карали вечным голодом; тела воров, которые при жизни не отличали свою собственность от чужой, терпели метаморфозы, перерастая в змей и прочих гадов, а сладострастники, сжигаемые жаром похоти, были гонимы нескончаемыми огненными ветрами, и от палящего зуда им не было избавления, сколько бы они ни чесались.

И вот на них смотрим мы, муж и жена, чье вожделение освящают узы брака. И если между нами произойдет телесное сближение, то это будет уже не грех, а, напротив, шаг в сторону божества. Мы же оба читали Марсилио Фичино. *Vinculum mundi*:^[13] любовь, связующая воедино все Божьи творенья, радостный союз платонизма с христианством. Значит, физическое соединение мужчины и женщины в любви служит первой ступенькой на лестнице, которая может привести к полнейшему восторженному единению с Божественным

Началом. И я, так часто мечтавшая о подобном запредельном опыте, вдруг ощутила где-то в глубине лона некое мимолетное ощущение, в котором будто соединились щемящая боль и наслаждение.

Наверное, все-таки во всем этом был промысел Божий. Если мой муж до сих пор и предпочитал похоть любви, то наверняка моя чистота приведет нас обоих на путь спасения. Через разум мы отыщем путь к телу, а через тело поднимемся к Богу.

– Где вы встречались с моим братом? – спросила я. Ибо, если нашему союзу предстоит стать союзом душ, мне необходимо было это знать.

Он помедлил с ответом.

– Я думал, ты знаешь где.

– В кабаке?

– Это тебя смущает?

– Не очень, – ответила я. – Вы забыли, что я долгое время прожила с ним в одном доме. И знаю, что он почти все время пропадает в подобных местах.

– Он еще молод. – Мой муж снова замолчал. – У меня нет такого оправдания.

– Меня не касается, какую жизнь вы вели до меня, – сказала я и сама порадовалась кротости собственных слов.

– Как мило ты это сказала. – Тут он улыбнулся.

Да, подумала я. Женщинам он наверняка нравится. Ведь, несмотря на свою привлекательность, он не домогается их. А вспомнив о том, как иных мужчин одолевает беспрестанная похоть, я поняла, что в такой манере обращения есть тонкий соблазн.

Мы замолчали. Наверное, оба поняли, что уже пора. Он был так вежлив и обходителен, что мне вдруг захотелось, чтобы он дотронулся до меня. Хоть мимолетно: пускай бы наши руки или рукава слегка соприкоснулись над пергаментом. Конечно, я предпочла бы, чтобы он был чище, однако нуждалась сейчас в его опыте. Я зевнула.

– Ты утомилась? – немедленно спросил он.

– Немного. День был такой долгий.

– Тогда мы отправимся почивать. Я позову твою невольницу. Как ее зовут?

– Эрила.

– Эрила. Она поможет тебе подготовиться.

Я лишь кивнула: у меня перехватило горло. Я отошла в сторону, устремив взгляд на рисунки, а он позвонил в колокольчик. Меня все еще обступали нагие тела, корчившиеся в адских муках и неистовых воспоминаниях о наслаждении. Что ж, этот мужчина искушен в наготе. У меня как у его жены есть преимущество – его возраст и опыт. Не так уж все и плохо.

Вначале Эрила сняла с меня туфли, вытащила из-под стельки золотой флорин, который засунула туда моя мать – чтобы брачный союз принес мне богатство и потомство. Зажав его в ладони, я почувствовала, что вот-вот расплачусь – до того мучительным было пробужденное этой монеткой воспоминание об утраченном доме. Затем она расшнуровала мне платье, и я высвободилась из него, потом из нижней сорочки и теперь стояла перед ней нагая. Моя рубашка, сшитая специально для первой брачной ночи, уже лежала на кровати. В комнате было холодно, и я вся покрылась пупырышками, напомнив самой себе ошипанную куриную тушку. Эрила стояла, держа наготове сорочку, и разглядывала меня. Она одевала меня с самого детства, из года в год наблюдая происходящие во мне перемены. И теперь мы обе дивились, откуда вдруг взялись эти пышные бедра и кустистая поросль внизу живота.

– О, моя госпожа, – сказала она нарочито шутливым тоном, – вы только поглядите на себя – будто спелый, персик.

Я невольно рассмеялась:

– Да скорее просто толстуха. Раздулась, как полный пузырь.

– Нет, это полнота, которая прибывает и убывает вместе с луной. Но вам это идет. Вы созрели.

– Ой, только ты не заводи эту песню. Я уже от Томмазо этого наслушалась. Нового во мне только то, что теперь я стала кровоточить, как заколотая свинья. Вот и все – в остальном я точно такая же, как раньше.

Эрила улыбнулась:

– Не такая же. Уж поверьте мне.

В который раз я пожалела, отчего она мне не мать. Тогда я могла бы у нее спросить обо всем, чего не знала, и что еще могло бы спасти мою жизнь или, по крайней мере, убересть мое достоинство в течение ближайших часов. Но было слишком поздно. Я схватила сорочку и натянула ее через голову. Шелковый подол скользнул до самого пола,

ласково коснувшись моих обнаженных бедер и ног, – эдакое напоминание об отцовских барышах. В таком наряде я выглядела почти изящной.

Я села, и Эрила занялась моими волосами. Густые и непослушные, они тяжело рассыпались по моей спине, стоило вынуть несколько шпилек.

– Как поток черной лавы, – сказала Эрила, начиная расчесывать и распутывать их.

– Скорее целое поле сварливых ворон, – возразила я. Она передернула плечами:

– На моей родине этот цвет считается красивым.

– Ну, тогда, может быть, мне стоит отправиться в те края? Или... постой-ка, я придумала кое-что получше. – Я поймала в зеркале ее взгляд. – Почему бы тебе не заменить меня сегодня ночью? И правда. Здорово я придумала! Все равно будет темно, и он не заметит разницы. Мы же с ним и двадцатью словами не обменялись. Ну, прекрати смеяться. Я всерьез. Ты почти такая же толстуха, как я. Все пройдет удачно – если только он не вздумает с тобой по-гречески заговорить.

Ее заразительный смех всегда был для меня отрадой, и некоторое время мы обе не в силах были остановиться. Что подумает мой муж, если услышит нас? Я вдохнула поглубже, задержала дыхание и прикрыла глаза. А когда раскрыла их снова, то увидела улыбку Эрилы.

– Тебе не кажется, что я слишком молода для этого, Эрила? – спросила я с тревогой.

– Вы достаточно взрослая.

– А с тобой когда это случилось? Она поджала губы.

– Не помню.

– Правда?

– Нет. – Она немного помолчала. – Конечно помню. Я вздохнула:

– Ну, подскажи мне хоть что-нибудь. Пожалуйста. Скажи мне, что я должна делать.

– Ничего! Если ты станешь что-нибудь делать, он решит, что ты уже проделывала это раньше, и попросит расторгнуть брачный контракт.

И мы снова расхохотались.

Она еще немного похлопотала, прибирая в комнате, а затем с затаенной улыбкой взяла мое свадебное платье и быстрым движением

приложила к себе перед зеркалом. На ней оно смотрелось бы лучше, чем на мне. Когда она получит свободу или мужа (неясно, что случится раньше), я подарю ей что-нибудь похожее – какой-нибудь пышный наряд, который будет чудесно сочетаться с ее бархатистой кожей и гривой курчавых волос. И да поможет Бог ее мужу.

– А что ты мне однажды говорила? Перед свадьбой Плаутиллы... Что это не так больно, как когда зуб вырывают, зато потом бывает порой так же сладко...

– ...как от звуков верхней струны, трепещущей на лютне. Я рассмеялась:

– Какой же поэт это сказал?

– Вот этот. – И она показала себе между ног.

– А как тебе сравнение... с первым куском сочной дыни?

– Что?!

– Это мой брат Томмазо так говорил. Она поморщилась.

– Ваш брат ничего в этом не смыслит, – произнесла она уже более сурово.

– Ну, в таком случае изо всех сил притворяется, что смыслит.

Но Эрилу уже покинуло игривое настроение.

– Ну, довольно дурачиться, – сказала она, оправив на мне сорочку и напоследок пригладив волосы. – Вас уже ждет муж.

– А ты где будешь ночевать? – спросила я, снова впад в беспокойство.

– Внизу, с другими невольниками. А там, скажу вам, сыро и холодно – не то что в палатке вашего отца. Так что этой ночью не вы одна будете искать, как бы согреться в новом доме. – Но тут она снова сжалась надо мной. – Да все будет хорошо, – заверила она меня и потрепала по щеке. – Не бойтесь! Умные женщины от этого не умирают. Запомните!

Я скользнула в хрустящие вышитые простыни, осторожно подобрав сорочку, чтобы она не задиралась. Моего мужа в спальне не было. Я стала ждать. Еще вчера я понятия не имела о том, как выглядит изнутри его дом. А через час я узнаю все то, чего не ведаю сейчас. А часа хватит? По правде сказать, несмотря на все разговоры, я не знала ничегошеньки.

Дверь отворилась. Мой муж был в прежней одежде и вообще имел такой вид, словно не в постель собирался ложиться, а на улицу выходить. Он подошел к столу, где стояла бутылка с вином, и наполнил два бокала. На мгновение я даже засомневалась – а заметил ли он меня. Но он приблизился к кровати и уселся рядом со мной.

– Доброй ночи, – сказал он. От него пахло вином. – Как ты себя чувствуешь?

– Хорошо. Хотя я немного устала.

– Еще бы. Сегодня долгий был день. – Он сделал глоток и вручил мне другой бокал с вином. Я покачала головой. – Выпей, – настаивал он. – Оно поможет тебе успокоиться. – И тут я осознала, что и так успокоилась. Во всяком случае, настолько, насколько я на это способна. Но я все-таки послушала его и выпила. Вкус был незнакомый – это вино оказалось крепче, чем те, к которым я привыкла. За ужином я съела мало, а с тех пор уже прошло несколько часов. Жидкость обожгла мне горло; в голове слегка зашумело. Я кинула на него взгляд поверх бокала. Он смотрел в пол, как будто его мысли были целиком заняты чем-то посторонним. Потом поставил бокал на место. Наверное, ему не по себе. Если я и не первая девственница его жизни, то уж наверняка первая девственная жена.

– Ты готова? – спросил он.

– Мессер?

– Ты ведь знаешь, что сейчас должно произойти?

– Да, – ответила я, опустив глаза и невольно залившись краской.

– Хорошо.

Он придвинулся ко мне и, сняв верхнюю простыню, аккуратно сложил ее в изножье кровати. Я осталась сидеть в своей шелковой сорочке, так что из-под подола торчали только пальцы ног. Поглядев на

них, я почему-то вспомнила Беатриче с босыми маленькими ножками, летящую навстречу Богу по велению радостного пера Боттичелли. Но Данте слишком любил ее, чтобы познать плотски. Правда и то, что он был женат совсем на другой женщине... Что мне сказала Эрилла? «Не бойтесь... Умные женщины от этого не умирают».

Он положил руку мне на лодыжку, и его прикосновение сквозь шелковый покров показалось мне липким и неживым. Рука его лежала там немного, а потом, уже обеими руками, он начал приподнимать край моей сорочки, аккуратно подворачивая ее, пока мои ноги не открылись почти до самого срама. Теперь, когда он коснулся моей икры, его пальцы встретились с моей обнаженной плотью. Я сглотнула слюну и продолжала смотреть на его руку, а не на лицо, и всеми силами старалась не дрожать. Он провел пальцами по моей коленке, по бедру, до края задранной сорочки, завернул ее еще выше, так что показался кустик волос – таких же темных, как у меня на голове, если не темнее. А Плаутилла – там она их тоже осветляла? Слишком поздно, лихорадочно подумала я. И неосознанно вновь одернула сорочку. Он убрал руку и некоторое время просто сидел, рассматривая меня. Похоже, что-то было не так. Как будто что-то вызвало его неудовольствие. Но во мне дело или в нем самом – я не могла понять. Мне вспомнились статуи из его собрания: гладкие мраморные тела – такие совершенные, такие юные. Быть может, его смущала моя неуклюжесть и собственный возраст?

– А вы разве не разденетесь? – спросила я. К довершению беды, мой голос прозвучал совсем по-детски.

– Без этого можно обойтись, – ответил он почти сухо.

У меня перед глазами внезапно возникла та, случайно подсмотренная, картина: сидящая куртизанка и мужчина, спрятавший голову в нее в коленях. И мне сделалось дурно. Я подумала – сейчас он, наверное, меня поцелует. Когда же еще? Но он не стал меня целовать.

Вместо этого он подошел еще ближе к краю кровати и одной рукой начал расстегивать свой дублет, а затем запустил под него руку и извлек свой детородный орган, который вяло улегся у него на ладони. Я сидела, застыв от ужаса, не зная, смотреть ли мне или отвести глаза в сторону. Конечно, я видела мужские детородные части и раньше – у статуй – и, как все юные девушки, одновременно поражалась их

жалкому уродству и дивилась, как эдакий сморщенный слизняк может вырасти в твердую снасть, способную проникнуть в женские недра. И теперь, хоть смотреть было невыносимо, я не могла отвести взгляд. Почему он не ложится в постель? Эрила как-то упоминала, что мужчина с женщиной могут совокупляться разными способами, но тут я даже растерялась. Он зажал свое естество в кулак и принялся поглаживать его и подергивать, водя рукой туда-сюда размеренными, почти ритмичными движениями. Другая его рука лежала в полном бездействии на моей ноге.

Я наблюдала как зачарованная. Похоже, мой муж вошел в экстаз. На меня он больше и не смотрел. Казалось, его взгляд устремлен внутрь: веки опущены, рот приоткрыт, оттуда доносятся какие-то тихие всхрапы. Через некоторое время он поднял другую руку, что лежала у меня на ноге, и ее тоже пустил в дело. Один раз он мельком взглянул на меня затуманенным взором, оскалив зубы в гримасе, хотя, наверное, это была улыбка. Я попыталась улыбнуться в ответ, но была настолько перепугана, что даже не поняла, увидел ли он мою улыбку. Ноги у меня будто склеились намертво.

Теперь он орудовал пальцами еще быстрее, и член его уже начал набухать.

– Хм... – Он часто задышал и поглядел на дело своих рук. – Уже лучше, – пробормотал он, еще чаще хватая воздух.

Теперь он взгромоздился на кровать, лег рядом со мною, не переставая поглаживать член, чтобы тот не терял твердости. Одной рукой он что-то вытащил из шкафчика, стоявшего поблизости. Это оказалась баночка синего стекла. Немного повозившись с крышкой, он погрузил туда пальцы и зачерпнул какой-то прозрачной субстанции. Намазался ею сам, а затем снова окунул руку в баночку и поднес ко мне.

– Не двигайся, – сказал он резким тоном. Я замерла. Коснувшись моих кущей, его пальцы стали нащупывать вход.

Мазь оказалась вязкой и холодной – такой холодной, что я невольно вскрикнула.

– Это же не больно, – выговорил он между выдохами. – Я еще ничего не делал.

Я, дрожа, замотала головой.

– Оно холодное. Очень холодное. – Я изо всех сил старалась не расплакаться.

Он громко рассмеялся. Я тоже – от ужаса.

– Господи, только не смейся, иначе все мои труды пойдут насмарку, – сказал он скороговоркой и снова принялся себя истязать. Смех застрял у меня в горле.

– Ты ведь девственница, верно?

– Да.

– Ну вот, сейчас я прорву девственную плеву. Чтобы легче войти в тебя. Понимаешь?

Я кивнула. Что внушалось обычно молодым женщинам? «Добродетель – приданое более ценное, нежели деньги». Но сейчас в таком наставлении было мало утешительного. Оно никак не объясняло, что за страшная нелепость совершается у меня на глазах.

Он просунул в меня два пальца. И, как только он это сделал, по его лицу прошла дрожь. На этот раз он не сумел скрыть отвращения. А потом он надавил. Я закричала. Было больно: обжигающая, раздирающая боль, как будто меня резали ножом. Я вспомнила про выдирание зуба, но не уловила ничего похожего на трепет струны.

– Ну-ну, молодчина, – хрипло забормотал он. – Молодчина. Вот и все. – Он снова надавил, и я снова вскрикнула, хотя не так громко, потому что на этот раз было уже не так больно. – Молодчина, – снова сказал он. Можно было подумать, он разговаривает с животным – щенящейся сукой или кошкой. Он убрал руку, и я заметила кровь у него на пальцах. А еще я заметила, что его член снова обмяк. – Проклятье! – выругался он и снова обеими руками схватился за него. – Проклятье! – Теперь мне показалось, что он почти разозлился.

Оживив свое орудие, он взобрался на меня, устроившись так, что его член находился прямо напротив моего срама, и, поерзав, начал проталкиваться внутрь. Едва коснувшись меня, его корень снова поник, но он, сжав пальцами, вернул ему твердость и наконец достиг своей цели. А я снова расплакалась, только теперь уже никак не могла остановиться. Он все напирал и напирал. Я зажмурила глаза изо всех сил, как ребенок, прячущийся от опасности, и ощутила, как всю меня заливают волна стыда, темная, головокружительная. Но мой муж был сейчас слишком занят, чтобы обращать на меня внимание.

Он изо всех сил трудился, пыхтя, напирая и бранясь себе под нос: «Черт возьми, черт возьми...» И даже сквозь боль я почувствовала, как его плоть растет внутри меня. Он дышал уже почти с храпом, как лошадь, которая тащит в гору тяжелый груз. Я открыла глаза и увидела над собой его лицо: глаза зажмурены, оскал как у черепа, все мышцы напряжены до предела, вот-вот лопнут, И вдруг раздался резкий хрип, переходящий в стон, и я почувствовала, как обмяк мой муж, и тут же по моим ногам потекло что-то горячее, когда он выскользнул из меня и тяжело откинулся в сторону, лоя ртом воздух, словно только что едва не захлебнулся.

Он лежал некоторое время, восстанавливая дыхание – не то смеясь, не то задыхаясь.

Все было окончено. Вот я и ошипана. Эрила оказалась права. Я от этого не умерла. Но на *vinculum mundi* здесь и намека не было.

Немного погодя он поднялся с постели и удалился в другой конец комнаты. Мне даже показалось, что он сейчас уйдет. Но он подошел к столику, где стоял кувшин с водой и лежало полотенце. Он встал вполоборота ко мне, вытерся и спрятал свою снасть обратно под одежду. Казалось, про меня он уже забыл. Тяжело вздохнул, словно отгоняя самые воспоминания о произошедшем, а когда снова обернулся, то лицо его сделалось спокойным, и мне показалось, он был почти доволен самим собою.

Однако, увидев меня, он, похоже, опять встревожился. Я все еще плакала. Внутри у меня так жгло, что я не могла сомкнуть ноги, и тогда я опустила край сорочки до самых пят и потянулась за простыней. Двинувшись, я поморщилась и заметила под собой пунцовое пятно, расплзающееся, как румянец стыда, по белой простыне.

Он поглядел на меня, потом снова наполнил бокалы и сделал из своего большой глоток. Подошел к кровати и протянул мне другой бокал.

Я покачала головой. На мужа я даже глядеть не могла.

– Выпей, – сказал он. – Тебе станет легче. Пей. – Его тон, хоть уже и не сердитый, был твердым и не допускал возражений.

Я взяла вино и пригубила, от душивших меня рыданий жидкость попала не в то горло, и я сильно закашлялась. Он подождал, пока кашель уймется.

– Еще.

Я послушно отпила еще. Руки у меня так тряслись, что я расплескала вино на простыню. Снова всюду красная кровь. Но на этот раз мне удалось проглотить жидкость, и она обдала теплом сначала мою гортань, потом желудок. Муж стоял рядом и внимательно за мной наблюдал. Вскоре он сказал: «Довольно» и, забрав у меня бокал, поставил его на прикроватный столик. Я откинулась на подушки. Он еще некоторое время на меня смотрел, затем снова уселся на постель. Наверное, я отпрянула в сторону.

– Ты успокоилась? – спросил он, чуть-чуть помолчав. Я кивнула.

– Хорошо. Тогда, пожалуйста, перестань плакать. Я ведь не очень больно тебе сделал, а?

Я мотнула головой, сдерживая подкатившее рыдание. Убедившись, что снова владею собой, я спросила:

– Теперь... Теперь у меня будет ребенок?

– О боже! Будем на это надеяться. – Он рассмеялся. – Потому что я не могу себе представить, чтобы кто-нибудь из нас захотел снова все это проделывать. – И тут, наверное, он заметил, как от моих щек отливает кровь, потому что смех вдруг замер у него в горле, и он всмотрелся в меня внимательнее.

– Алессандра?

Но я не могла заставить себя поглядеть ему в глаза.

– Алессандра, – повторил он, на этот раз тише. И тут я наконец поняла, что что-то не так. Что это что-то еще хуже, чем произошедшее между нами. – Я... Ты ведь не хочешь сказать, что ничего не знала?

– Не знала о чем? – переспросила я и, к собственному ужасу, снова зарыдала. – Я не понимаю, о чем вы говорите.

– Я говорю обо мне. Я спрашиваю: ты что, ничего обо мне не знала?

– Не знала о вас – чего именно?

– О-о, кровь Христова! – И тут он уронил голову себе в ладони, так что его следующие слова я с трудом разобрала. – Я-то думал, ты знаешь. Я думал, ты все знаешь! – Он поднял голову. – Разве он тебе не рассказал?

– Кто мне не рассказал? Я не понимаю, о чем вы говорите, – повторила я беспомощно.

– А-аа-а!

Тут он разозлился. Я ощутила эту вспышку злости и совсем перепугалась.

– Я вам не угодила? – спросила я и поразилась тому, как жалко прозвучал мой голосок.

– О, Алессандра! – застонал он. Потом склонился надо мной и хотел было взять меня за руку, но я с дрожью отдернула ее. Он не повторил попытки.

Какое-то время мы просто сидели, оба во власти смятения и отчаяния. Потом он снова заговорил, уже спокойнее, но так же твердо:

– Выслушай меня. Ты должна это услышать. Ты слушаешь меня?

Наконец до меня дошло, что сейчас он скажет нечто важное. Я кивнула, все еще дрожа.

– Ты – восхитительная молодая женщина. У тебя блестящий ум, подобный только что отчеканенному флорину, и нежное юное тело. И если бы меня пленяли нежные и юные женские тела, то, несомненно, я был бы пленен тобой. – Он помолчал. – Но меня женские тела не пленяют.

Он вздохнул.

– Песнь четырнадцатая.

Вся даль была сплошной песок сыпучий...

Я видел толпы голых душ в пустыне:

Все плакали, в терзанье вековом,

Но разной обреченные судьбине.

Кто был повержен навзничь, вверх лицом,

Кто, съевшись, сидел на почве пыльной,

А кто сновал без устали кругом...

А над пустыней медленно спадал

Дождь пламени, широкими платками...

Так опускалась вьюга огневая...

И я смотрел, как вечный пляс ведут

Худые руки, стряхивая с тела

То здесь, то там огнепалящий зуд. ^[14]

Пока он говорил, передо мной встала та иллюстрация – терзаемые мужские тела, покрытые рубцами и шрамами от бесконечного жжения плоти.

– Савонароле я предпочитаю Данте, – продолжал мой муж. – Но здесь наш Монах, пожалуй, выражается яснее. «А содомиты будут гнить в аду, каковой для них даже чересчур хорош, ибо их вероломство попирает самое природу». – Он снова помолчал. – Теперь ты понимаешь?

Я сглотнула и кивнула. Раз все сказано, чего уж тут не понимать? Разумеется, до меня доходила всякая болтовня. Кто ее не слышал? Грубые рассказы, грубые шутки. Но в отличие от обычных прелюбодеяний этот человеческий грех, как самый порочный, тщательно скрывали от детей, ибо он позорил чистоту семейных уз и оскорблял доброе имя благочестивого государства. Значит, мой муж – содомит. Мужчина, который пренебрегает женщинами ради дьявола, обитающего в телах других мужчин.

Но если это правда, тогда я тем более ничего не могу понять. Зачем ему вздумалось проделать то, что мы только что с ним проделали? Зачем ему понадобилось преодолевать то отвращение, которое так ясно читалось на его лице?

– Не понимаю, – сказала я. – Если вы не переносите женщин, тогда зачем...

– Зачем я женился на тебе?

– Ах, Алессандра! Ты сама рассуди своим острым умом. Времена меняются. Ты же слышала, какой яд он источает со своей кафедры. Меня удивляет, что ты не замечала в церквах ящичков для доносов. В иные времена там можно было обнаружить всего несколько имен, да и те в большинстве своем уже были знакомы Страже Нравов; к тому же, пока деньги переходили из рук в руки, все прощалось и забывалось. В каком-то смысле мы были спасением нашего города. Государство, в коем так много юношей, томящихся в ожидании женитьбы, поневоле делается снисходительным к тому вожделению, что не наводняет приюты для подкидышей нежеланными детьми. Да и потом, разве Флоренция не мнит себя новыми Афинами? Но сейчас все изменилось. Вскоре наступят времена, когда содомитов будут сжигать еще на земле, прежде чем они отправятся гореть в аду. Юнцам лучше держаться

поскромнее, а тех, кто постарше годами, будут называть и устыжать первыми, невзирая ни на положение, ни на богатство. Савонарола усвоил свой урок от святого Бернардина: «Когда видишь зрелого мужчину в добром здравии и неженатого, то помни: это дурной знак».

– Значит, вам понадобилась жена, чтобы отвлечь от себя подозрения, – сказала я тихо.

– А тебе потребовался муж, чтобы обрести свободу. По-моему, честная сделка. Он говорил мне...

– Он? – И мне сделалось совсем нехорошо.

Муж поглядел на меня во все глаза:

– Да. Он. Ты хочешь сказать, что все еще не понимаешь? Но конечно же я все поняла. Как и многое другое в нашем славном городе, это дело, оказывается, решили по-семейному.

Томмазо. Мой милovidный глуповатый братец. Правда, теперь в дураках оказалась я. Томмазо, который так любил разгуливать по ночным улицам в щегольских нарядах, который часто возвращался домой, утомленный блудом и сладостью побед. Иной раз, стоило мне присмотреться повнимательней, я бы разглядела за его франтовством не столько желание, сколько стремление быть желанным. Как я могла оказаться настолько слепой? Человек, толковавший о совокуплениях и кабаках, на деле так презирал женщин, что не находил для них лучших слов, чем «сучья дырка».

Томмазо, мой смазливый неженка брат, которому всегда доставались богатые новые одежды – и даже нарочно для него приготовленный серебряный пояс на свадьбе сестры! Тут мне вспомнилось, как он смотрел на меня в зеркале утром – неужели это было еще сегодня? – единственный раз в жизни испытывая неловкость при мысли о том, что он так и не осмелился мне во всем признаться.

– Нет, – сказала я. – Он ничего мне не говорил.

– Но он же...

– Боюсь, вы даже представить себе не можете, до чего он меня не любит.

Он вздохнул, провел руками по лицу:

– Думаю, это не столько нелюбовь, сколько некоторый страх. Мне кажется, его пугает твой ум.

– Бедняжка! – проговорила я и сама расслышала в своем голосе дьявольскую язвительность.

Ну конечно. Чем больше я узнавала, тем более четкая складывалась картинка: танцевавший со мной незнакомец, откуда-то наслышанный и о моей неуклюжести, и о моих успехах в греческом. Радость Томмазо в ту ночь, когда он заметил пятно крови на моей сорочке и сразу придумал, как можно спасти своего любовника и одновременно отплатить сестре. Утро в церкви, когда он склонил голову, внимая обвинениям Савонаролы, а я поймала взгляд Кристофоро, устремленный прямо на меня. Только, разумеется, смотрел он тогда не на меня. Нет! Эта обворожительная улыбка, полная восхищения, предназначалась моему брату. Моему глупому, смазливому; изнеженному, тщеславному, пошлому, порочному братцу.

Я снова заплакала.

У него хватило милосердия не пытаться утешать меня. Он просто сидел и глядел на меня, а потом протянул руку – и на этот раз я позволила ему коснуться моей руки.

– Прости. Я совсем не хотел, чтобы так получилось.

– Вам не стоило перекладывать на него это признание, – вымолвила я, когда снова смогла дышать. – Что он еще наговорил обо мне?

– Только то, что это будет благом для нас обоих. Что тебе свобода и независимость нужны больше, чем муж. Что ради них ты готова пойти на все.

– Да, он сказал правду, – ответила я мягко. – Но не на все, что угодно.

Мы еще немного посидели молча. Из ночной тьмы доносились крики, беготня по улицам, потом – отчаянный возглас боли, и мне тотчас же вспомнилось то жуткое зрелище: юноша в луже крови у дверей Баптистерия. Флоренция теперь враждует сама с собой, прежним безопасным дням настал конец.

– Могу тебе сообщить, Алессандра, что при всех моих грехах я не дурной человек, – сказал мой муж через некоторое время.

– А в глазах Божьих? Вы не страшитесь «песков сыпучих» и «вьюги огневой»?

– Мы ведь уже говорили о том, что даже в аду сохранится память о земных наслаждениях. – Он помолчал. – Ты бы, наверное, удивилась, узнав, сколько нас – таких, как я. Величайшие цивилизации древности тоже находили блаженство в мужской заднице.

Я поморщилась.

Прости мне такую грубость, Алессандра. Но лучше уж тебе с самого начала узнать меня. Ведь нам же придется теперь проводить время вместе.

Он поднялся, чтобы снова наполнить себе бокал. Я смотрела, как он пересекает комнату. Теперь его потрепанная красота и заученное изящество почти раздражали меня. И как я раньше не заметила? Неужели я настолько замкнулась на себе самой, что разучилась понимать очевидные знаки?

– Что до Страшного суда, – продолжал он, – что ж, вверюсь судьбе. В тех же песках пребывают богохульники и ростовщики, и им уготованы куда более тяжкие муки. Мне кажется, даже если бы я никогда не томился по юной мальчишеской плоти, рая мне все равно не сподобиться. Как бы то ни было, я разделю наказание адским пламенем с другими такими же грешниками, как и я. И окажусь в весьма благочестивом обществе. Поверь мне, если бы всем этим полчищам содомитов не приходилось постоянно скрываться, клянусь, ты бы увидела в их толпах немало тонзур!

– Не может быть!

Он улыбнулся:

– Алессандра, для образованной девушки ты очаровательно наивна.

Ну нет, уже не наивна, подумала я. И посмотрела на него. От выражения недовольства не осталось и следа: к нему вернулись добродушие и веселость, и я помимо собственной воли почувствовала к нему прежнюю приязнь.

– Во всяком случае, вы не сможете сослаться в свое оправдание на то, что толкнула вас к этому холодность жены, – спокойно заметила я, и он, похоже, смутился. – Как тот содомит, о котором Данте рассказывает в шестнадцатой песни. Он ведь говорит что-то подобное? Не могу вспомнить его имя.

– А, ну конечно! Лука Рустиччи. Человек без каких бы то ни было общественных заслуг. Ходят слухи, что он был более купцом, чем ученым. – Кристофоро улыбнулся. – Да, Томмазо говорил, что найдет мне жену, которая будет знакома с «Божественной комедией» не хуже меня. – Я опустила глаза. – Прости! Я вижу, его имя причиняет тебе боль.

– Ничего. Переживу, – ответила я, ощущая, как слезы опять подступают к глазам.

– Очень на это надеюсь. Я бы меньше всего на свете хотел стать причиной гибели столь необычайного ума.

– А также утраты жены-ширмы. Он рассмеялся:

– Ну вот! Я рад, что ты стала прежней. Мне куда больше нравится, когда ты шутишь, чем когда жалеешь себя. Ты сама знаешь: ты великолепная молодая женщина. – И я снова взглянула на мужа – о, если бы его похвалы согрели мне не только душу, но и тело. – Итак. Пожалуй, нам стоит поговорить о будущем. Как я тебе уже сказал, этот дом отныне твой. С библиотекой, со всем собранием предметов искусства. Ты можешь распоряжаться всем этим по своему усмотрению – за исключением кабинета. Это тоже часть сделки.

– А вы?

– Я нечасто буду беспокоить тебя. Мы станем появляться вместе на каких-нибудь государственных торжествах – если только от нашего государства еще что-нибудь останется. В остальное время я редко буду дома. Это все, что тебе следует знать.

– А он будет сюда приходить? – спросила я.

Он спокойно взглянул на меня:

– Он же твой брат. Для родни это только естественно. – Он слегка улыбнулся. – Дело в том, что в городе уже не так безопасно, как прежде. – Он немного помолчал. – Скажем так: время от времени он будет здесь появляться. Но не сейчас, не сразу. – Вы – тонкий политик, – заметила я.

Он пожал плечами:

– Мужчина должен управлять рабами, как тиран, детьми, как государь, а...

– ...а женой – как политик, – закончила я за него. – Не уверена, что Аристотель имел в виду именно это.

Он рассмеялся:

– Наверняка. В остальном – поступай так, как хочешь. Сама решай. Только не губи свою жизнь, Алессандра. Ты бы поразилась, узнав, что творится в спальнях нашего благочестивого города. Подобные браки совершались и раньше. Но ты же не хочешь походить на других. Если бы мои ласки обременили тебя дюжиной детей, ты бы согнулась под тяжестью забот. Только подари мне единственного

наследника – и я больше никогда не буду тебя тревожить. – Он помолчал. – Что касается твоего удовольствия... Что ж, это тоже твое собственное дело. Все, о чем я тебя прошу, – будь благоразумна.

Я глядела на свои руки. Внутри у меня болело меньше, чем раньше, хотя какое-то жжение все еще оставалось. Как узнать, появился ли ребенок в утробе? По наслаждению? А какого наслаждения я хочу больше всего в жизни?

– Вы позволите мне рисовать? Он пожал плечами:

– Я же сказал: делай все, что тебе нравится. Я кивнула.

– А еще я хочу увидеть французов, – твердо заявила я. – Я хочу сказать – увидеть вблизи. Когда в город войдет армия Карла, я хочу идти рядом, по улице, и своими глазами наблюдать, как совершается история.

Он сделал едва заметный жест:

– Что ж, хорошо. Ты увидишь их. Не сомневаюсь, это будет весьма торжественный въезд.

– Вы пойдете со мной?

– Не думаю, что без меня ты будешь в безопасности.

Между нами снова пролегло молчание – казалось, его имя витает всюду.

– А как же Томмазо?

– Теперь мы с тобой – муж и жена. Нам пристало появляться вместе. – Он поколебался. – Я поговорю с Томмазо. Он все поймет.

Я опустила глаза, чтобы мой муж случайно не заметил в них искорки торжества.

– Ну? У тебя есть еще какие-нибудь просьбы, жена?

– Нет... – я помедлила, – муж.

– Хорошо. – Он поднялся с кровати. – Прислать к тебе твою служанку?

Я покачала головой. Он нагнулся, и я на мгновение подумала, что сейчас он поцелует меня в лоб, но он только легонько коснулся пальцами моей щеки. – Спокойной ночи, Алессандра.

– Спокойной ночи.

Он вышел из комнаты, и вскоре я услышала, как открывается, а потом закрывается за ним парадная дверь дома.

Через некоторое время жжение у меня между ног прекратилось, и я встала, чтобы помыться. Ходить было немного больно, а кожа на

ляжке, куда излилось семя, покрылась коркой, зато его брезгливость спасла мою сорочку от пятен, и та свободно развевалась вокруг меня.

Я мылась осторожно, стараясь не разглядывать себя. Но, снова опустив сорочку, я провела руками по телу – просто для того, чтобы погладить шелк, льнувший к моей коже. А от груди и бедер мои пальцы двинулись ниже, к тайной ложбине. Что, если он вправду разорвал меня и теперь там останется неисцелимая рана? Ведь и у матери, и у тети остались разрывы после рождения крупных младенцев. Может, со мной уже произошло нечто подобное?

Я поколебалась, потом просунула руку чуть дальше, кончик пальца наткнулся на нечто, напоминавшее маленький бугорок обнаженной плоти, и тотчас же по всему моему телу пробежала сильная дрожь. Я даже не могла понять, приятное это ощущение или болезненное, но оно заставило меня затаить дыхание и вызвало трепет. Может быть, именно такое увечье нанес мне его детородный орган: оголил какой-то неведомый дотоле нерв?

Кого мне было спросить об этом? Кому я могла бы рассказать о том, что между нами произошло? Я быстро отдернула руку, и мое лицо вновь залилось краской пережитого стыда. Но любопытство оказалось сильнее боли, и на этой раз я приподняла край сорочки, и мои пальцы заново пустились на поиски того места. По внутренней стороне ляжки тянулся кровянистый ручеек, розоватый, как рассветное небо, и похожий на размытую тушь. Я провела по нему пальцем, а затем нащупала ту чувствительную точку и надавила сильнее, приготовившись к новой боли. Казалось, под моим нажатием там все вздулось, и вдруг я почувствовала такой мощный прилив сладострастия, что невольно вскрикнула и сжалась. А потом снова надавила кончиком пальца. Накатила еще одна волна, и еще одна, как быстрая мелкая рябь, пробегающая по поверхности воды, и тут я схватилась за край стола, чтобы не упасть, и отдалась на волю этих волн, утопая в сладости собственной боли.

Когда все кончилось, у меня в ногах была такая слабость, что пришлось сесть на постель. Оставалось странное ощущение утраты – оттого, что то чувство ушло, и, к собственному удивлению, я залилась слезами, хотя теперь уже сама не понимала отчего, ведь то, что я чувствовала теперь, вовсе не было печалью.

Но скоро меня охватила тревога. Что теперь со мной будет? Я покинула отчий дом, мой город объят смутой, я только что сделалась женой человека, который видеть не мог моего тела, зато терял рассудок при одной мысли о моем брате. Благочестивой женщине надлежало бы пожертвовать собой – погибнуть от стыда и сокрушения сердечного, чтобы муж мог раскаяться и обратиться к Богу.

Я подошла к свадебному сундуку – чудовищу, которое когда-то принадлежало матери моего мужа. Его возили туда-сюда: отсюда в мой родной дом, а затем, сегодня днем, обратно в дом Кристофоро (и, к удовольствию моего отца, он был таким же тяжелым, как и свадебный ларец моей сестры, хотя тяжесть его составляли не шелка с бархатом, а книги). И вот я извлекла из его глубин матушкин молитвенник, по которому когда-то, едва выучившись говорить, разбирала с ней первые буквы. Что она сказала мне в тот день, когда пало правительство? Что когда я окажусь в доме мужа, то смогу разговаривать с Богом. И что это сделает меня хорошей женой и хорошей матерью.

Я преклонила колени возле кровати и раскрыла книгу. Но я, никогда не испытывавшая недостатка в словах, вдруг поняла, что не знаю, какими словами обратиться к Нему. Да и что я могла бы Ему сказать? Мой муж – содомит. Если бы ко всему этому привела не моя собственная заносчивость, я сочла бы своим долгом ради спасения его же души, да и моей собственной, выдать его правосудию. Однако если я донесу на него, то вместе с ним рухнет весь этот дом похоти, и к тому же, как я ни ненавидела брата, разве я могу погубить свою семью? Ведь отец не переживет такого позора.

Нет! Правда в том, что я сама навлекла все это на себя, и если они лишатся спасения за гробом, то я наказана тем, что мне предстоит со всем этим жить на земле. Я убрала молитвенник в сундук. Нам с Богом слова не нужны.

Я еще немного поплакала, но за ночь весь мой запас слез был уже истрачен, и вскоре я решила искать утешения в более верном средстве и запустила руку поглубже в сундук, под одежду и книги – на самое дно, куда я запрятала мои рисунки, перья и чернила.

Так я провела остаток своей брачной ночи за рисованием. И на этот раз мое перо скользило легко и бегло, наполняя меня тихой радостью. Хотя если бы кто-нибудь увидел, какое изображение

выходит из-под него, то счел бы это явным признаком моего отпадения от Господа.

На листе бумаге передо мной появилась молодая женщина в тонких шелках, которая неподвижно лежала на брачном ложе, наблюдая за мужчиной в расстегнутом дублете, сидящим возле нее и держащим в руках свой детородный орган. На лице у него выражение не то боли, не то экстаза, как будто в этот миг на него снизошло божество и он оказался у самой грани блаженства.

И, надо признаться, это был самый правдивый рисунок из всех, что я делала до сих пор.

Завещание сестры Лукреции
Монастырь Санта Вителла, Лоро-
Чуфенна,
Август 1528
Часть вторая

Карл VIII и его армия вошли во Флоренцию 17 ноября 1494 года. И если история запомнила этот день как день позора Республики, то происходившее на улицах больше напоминало карнавал, нежели унижение.

Дорога от городских ворот Сан-Фредуано через реку, мимо собора Санта Мариа дель Фьоре с его гигантским куполом до дворца Медичи была запружена народом. И среди тех, кто оказался очевидцем этого торжественного мига, оказались молодожены Ланджелла: Кристофоро, ученый и аристократ, и его нежная супруга Алессандра, младшая дочь семейства Чекки, которая, едва выйдя из-под венца, шествовала сквозь прибывающие толпы, опираясь на руку мужа, и глаза ее сверкали, как граненое стекло, когда она вглядывалась в буйные уличные краски. А потом, когда они дошли до площади Собора, ему пришлось прижать ее к себе покрепче, чтобы провести сквозь людские массы к деревянным помостам, второях возведенным вдоль дальней стены.

Там он вручил какому-то человеку два флорина (неслыханная цена! – но даже в пору бедствий Флоренция оставалась торговым городом), и муж с женой взобрались на самый верх и удобно устроились там. Оттуда им открывался вид не только на фасад Собора, но и на дорогу, откуда, меньше чем час спустя, должна была явиться первая в истории Флоренции – и наверняка единственная – армия завоевателей. Так мой муж сдержал данное им слово.

Он явился домой утром того дня, когда мы с Эрилой распаковывали мой сундук, то и дело прерываясь и подходя к окну, чтобы поглядеть, как поток людей стекается на площадь, но не пришел ко мне сразу, а передал через служанку, чтобы я не тревожилась: пока я ничего не пропустила, ему достоверно известно, что королевская рать многочисленна, но утомлена, так что войска приближаются к городу очень медленно и не войдут в него раньше закатного часа. Эта новость, совсем свежая, взбудоражила даже Эрилу. Что меня порадовало, потому что мы обе чувствовали себя несколько

растерянно в новых ролях госпожи и служанки в этом сером, продуваемом сквозняками доме.

Наутро после свадебной ночи наше с ней общение ограничилось в основном жестами. Я в ту ночь прорисовала до зари, а потом долго отсыпалась, и не удивительно, что Эрила приняла это за свидетельство бурных супружеских трудов. Когда она осведомилась о моем здоровье, я ответила, что чувствую себя хорошо, и опустила глаза, давая понять, что больше ничего говорить не желаю. О, да я отдала бы все на свете за то, чтобы поделиться с ней! Мне отчаянно не хватало наперсницы – да ведь и прежде я рассказывала ей все, что со мной происходило. Но мои прежние секреты, маленькие секреты строптивой девчонки, не могли навредить никому, кроме меня самой. Да, мы были с ней очень близки, но она все-таки оставалась невольницей, и даже я понимала, что, окажись искушение слишком сильным, жажда посплетничать пересилит ее верность. Во всяком случае, такой довод привела я самой себе в тот день, проснувшись на брачном ложе среди разбросанных рисунков. Но пожалуй, если быть совсем честной – я и сама-то едва могла заставить себя вспомнить случившееся, не то что рассказать о нем кому-нибудь еще.

Потому-то, когда Кристофоро явился в то утро и застал нас перебирающими белье и наблюдающими в окно за толпами, она насторожилась, поднялась и оставила нас, даже не взглянув на моего мужа. Он подождал, когда за ней закроется дверь, а потом заговорил:

– Она с тобой накоротке, твоя служанка?

Я кивнула.

– Я рад. Она не даст тебе скучать. Но, надеюсь, ты не обо всем ей рассказываешь?

Это был вопрос, но прозвучал он как утверждение.

– Нет, – ответила я, – не обо всем.

Последовало молчание, и я снова занялась перекладываньем белья, кротко потупив взгляд. Он улыбнулся, как будто я и впрямь – любимая молодая женушка, протянул мне руку, и так мы с ним вдвоем спустились по лестнице и вышли в уличную толпу.

Будь я королем Франции, я осталась бы очень довольна тем впечатлением, которое произвело мое появление на моих новых подданных. Впрочем, пожалуй, я бы наказала своих полководцев за то,

что они не начали триумфальное шествие раньше, поскольку к его вступлению на площадь солнце почти село и уже не играло на позолоченных королевских латах, не озаряло своими лучами огромный золотой балдахин, который несли над королем его рыцари и оруженосцы. Померкшее светило также не дало собравшейся толпе возможности хорошенько разглядеть короля, когда он спешил, дабы подняться по ступеням Собора, впрочем, отчасти этому препятствовало и то, что для государя он оказался неожиданно низкорослым – его крупный черный конь наверняка был выбран из-за того, что на нем властитель выглядел внушительнее.

Разумеется, это был единственный миг, когда непостоянные флорентийцы поколебались в своем раболепном восторге перед венценосным захватчиком: ко всему прочему, направляясь ко входу в наш величественный Собор, этот король-коротышка захромал, будто калека, каковым, по сути, и являлся, так как его ступни были значительно крупнее, нежели того требовали пропорции его тела. И вскоре уже вся Флоренция прознала, что Завоеватель, посланный нам, чтобы избавить нас от грехов, на деле – карлик с шестью пальцами на каждой ноге. И я рада сообщить, что была частью толпы, по которой в тот день распространялась эта молва. Так я и узнала кое-что о том, как пишется история: пускай она не всегда оказывается правдива, зато каждый может отчасти стать ее творцом.

Несмотря на злословие, невозможно было не затрепетать при виде самого этого зрелища. Несколько часов спустя после того, как король покинул площадь под крики «*Viva Francia!*», возносившиеся вслед ему, подобно хоралу, и укрылся во Дворце Медичи, Флоренция все еще бурлила, обсуждая вход пехоты и конницы в город. Лошадей было столько, что воздух пропитался запахом навоза, вдавленного в зазоры между булыжниками артиллерийскими орудиями. Но самыми поразительными были лучники и арбалетчики – тысячи и тысячи вооруженных крестьян; их было столько, что я даже забеспокоилась – неужели Францию теперь охраняют одни только женщины? Но муж разубедил меня, сказав, что большая часть этого войска – вовсе никакие не французы, а наемники, взятые в поход, причем самое высокое жалованье получала швейцарская гвардия, а солдаты подешевле были родом из Шотландии. И я порадовалась, что на постой к нам были определены не они, потому что я никогда раньше

не видела людей, подобных этим шотландцам: северные великаны с огромными гривами соломенных волос и бородами, пламенеющими, как ткани моего отца, настолько свалявшимися от грязи, что оставалось лишь удивляться – как это тетивы их луков не застревают в этих колтунах, когда им приходится стрелять.

Вторжение длилось одиннадцать дней. Отряд, расквартированный у нас, был достаточно благовоспитан: два рыцаря из города Тулузы со слугами и свитой. Мы отужинали с ними вечером того же дня, когда они прибыли, выложив лучшее столовое серебро и приборы моего мужа (впрочем, незваные гости даже понятия не имели, как обращаться с предложенными им вилками). Со мной французы обошлись с должным почтением – целовали мне руку и восхваляли мою красоту; из чего я заключила, что они либо слепцы, либо лжецы, – а поскольку кувшин с вином они обнаружили без труда, то я пришла к выводу, что второе предположение правильнее. Позднее я узнала от Эрилы, что слуги их тоже по-свински вели себя за столом, но в остальном рук не распускали; наверное, такие же указания получило все войско, потому что девять месяцев спустя у колеса Оспедале дельи Инноченти не прибавилось подкидышей, зачатых от французов, хотя позднее нам еще предстояло обнаружить другой «подарок», оставшийся от их мимолетной галантности и принесший с собой куда больше горя, чем появление нескольких лишних душ на земле.

За ужином они пылко разглагольствовали о своем великом короле и о его славном походе, но, уже порядочно набравшись, признались, что очень тоскуют по дому и устали гадать, куда заведет их воинственный дух. Конечной целью считалась Святая земля, но видно было, что их куда больше влекут соблазны Неаполя, где, как они прослышали, женщины смуглы и прекрасны, а сокровища только и ждут, чтобы ими кто-нибудь завладел. Что до величия Флоренции – нет, они знают толк в сражениях, а не в искусстве, и если скульптурная галерея моего мужа и произвела на них впечатление, то куда больше их занимал вопрос, где можно купить новые ткани. (Позже я узнала, что среди флорентийцев нашлись и такие, кто нажил неплохое состояние, поступившись любовью к родине в пользу своего кармана.) Надо сказать, один из рыцарей с восхищением говорил о нашем чудесном Соборе и, кажется, проявил любопытство, когда я сообщила

ему, что на фасаде Санта Кроче, над дверью, он может увидеть позолоченную статую святого Людовика, небесного покровителя его родного города, изваянную нашим великим Донателло. Но стал ли он потом ее разыскивать, я не знаю. Зато точно знаю то, что съели и выпили они за эти одиннадцать дней очень много; повар вел подсчет поглощенному продовольствию, так как условиями перемирия оговаривалось, что войско само оплатит свое содержание.

Вначале город изо всех сил старался поразить воображение завоевателей. В Санта Феличе было разыграно особое действо – Благовещение, и мой муж сумел раздобыть нам места – немалое достижение, ибо я не заметила среди прихожан больше ни одного сторонника Медичи. Однажды, в детстве, меня водили на подобное зрелище в монастырь Кармине, и мне запомнилось, как в нефе церкви парили облака из прозрачной ткани и как вдруг среди них показался хор из маленьких мальчиков, наряженных ангелами и подвешенных к потолку; один из них был до смерти напуган, и когда все запели, он так завопил от страха, что его пришлось опустить.

В тот день в Сайта Феличе тоже были мальчики-ангелы, но никто из них не плакал. Церковь преобразилась. Внутри, над центральным нефом, соорудили второй купол, его внутренняя сторона была выкрашена в темно-синий цвет и подсвечена сотнями крошечных светильников, так что казалось, будто глядишь на звездный ночной небосвод. Вокруг его основания на небольших цоколях стояли двенадцать сияющих ангелочков. Но в этом еще не было ничего удивительного. Ибо когда настал миг Благовещения, то сверху опустилась вращающаяся сфера, а на ней восемь ангелов, уже постарше, затем еще одна, из которой, наконец, вышел архангел Гавриил. И, опускаясь, он двигал крыльями, так что вокруг него вспыхивали мириады искорок, как будто вместе с ним на землю сходили сами звезды небесные.

Я сидела, изумленная не меньше Девы Марии. Муж велел мне снова поглядеть наверх, и я увидела, что из этой вереницы ангельских сфер можно извлечь наглядный урок перспективы: самая большая внизу двигалась к самой маленькой наверху. Так мы могли порадоваться не только славе Божьей, но и совершенству законов природы и умению наших художников повелевать ими. Кристофоро

рассказал мне, что это хитроумное приспособление изобрел не кто иной, как прославленный Брунеллески, а после его смерти секрет механизма перешел к его преемникам.

Хотя не сохранилось никаких записей о том, что подумал обо всем этом король Франции, я знаю, что мы, флорентийцы, были очень горды и довольны собой. Но, когда я сейчас об этом вспоминаю, мне уже трудно отделить радость самого зрелища от того тихого удовольствия, которое доставила мне образованность моего мужа и его умение обращать мое внимание на вещи, коих я могла бы и не заметить. Когда мы возвращались в тот вечер по запруженным народом улицам, он вел меня, держа за локоть, и мы скользили вперед, как две рыбы сквозь бурное море. Придя домой, мы немного посидели, обсуждая увиденное, а потом он проводил меня в спальню, поцеловал в щеку и поблагодарил за приятное общество, после чего удалился к себе в кабинет. Лежа в кровати и вспоминая все, чему мне довелось стать свидетельницей, я была почти готова согласиться, что моя свобода и впрямь стоила принесенной жертвы. И что Кристофоро, что бы он ни намеревался делать в будущем, честно выполняет свою часть соглашения. В дни, последовавшие за прибытием короля, правительство занималось тем, что обменивалось с ним учтивостями и утверждало договор, по которому захватчики выглядели зваными гостями, а король получал большую ссуду на свои военные расходы – предположительно в благодарность за то, что его войска не стали грабить наш город. И если политики были друг с другом весьма любезны, то восторга на улицах поубавилось, и скоро какие-то юнцы, будущие вояки, принялись швырять камнями во французов, а те в свой черед стали в ответ тыкать в них мечами, и в таких потасовках погибла дюжина флорентийцев. Не бойня, не даже сопротивление врагу – но хоть какое-то напоминание о былом духе Республики, ныне утраченном. Карл, осознав, что гостеприимство тает на глазах, и послушавшись совета Савонаролы, сказавшего, что Бог не оставит государя, если тот быстро отправится дальше, собрал свое войско, и в конце ноября французы двинулись в путь, провожаемые куда более жидкой толпой с куда меньшими церемониями. Последнее, наверное, объяснялось тем, что уходили они, забыв заплатить за постой, и наши гости, доблестные рыцари из Тулузы, не были исключением. Лжецы до мозга костей!

Два дня спустя мой муж, ночевавший дома все время, пока у нас квартировал французский отряд (как благородный человек, думавший о безопасности жены), тоже исчез.

Без него и без гостей-завоевателей палаццо сразу сделалось холодным и неприветливым. В комнатах царил мрак: деревянная обшивка от старости покрылась пятнами, гобелены были трачены молью, а окна чересчур малы, чтобы пропускать достаточно света. А так как я боялась, что одиночество вновь ввергнет меня в пучину жалости к самой себе, на следующее утро я разбудила Эрилу на рассвете, и мы вдвоем отправились бродить по городу, чтобы насладиться свежобретенной свободой моей замужней жизни.

Тело на мосту Санта Тринита было свидетельством не только кровожадности, но и безумия. Оно висело на столбе рядом с маленькой часовней, и к тому времени, когда его обнаружили монахи, собаки уже наполовину обглодали труп. Эрила сказала, что единственное утешение – это то, что бедняга, скорее всего, был уже мертв, когда его терзали, хотя кто знает – даже если он и пытался кричать, когда из него выпускали кишки, кляп, забитый ему в рот, не позволил бы ему это сделать. Видимо, псы явились вскоре после ухода убийцы, потому что к тому времени, когда сюда пришли мы – новости дошли до рынка с рассветом, и нам лишь оставалось влиться в людской поток, – остатки внутренностей валялись вдоль булыжной мостовой. Стражники уже отогнали собак, хотя самые настырные из них все еще ошивались поблизости, опустив головы, припадая брюхом к земле, притворяясь равнодушными, хотя лапы у них подрагивали от нетерпения. Вдруг одна собака, не выдержав, рванулась мимо собравшейся толпы и ухватила цепкими челюстями кусок потрохов, но тут же, получив пинок, заскулила и не выпуская из зубов добычи, очутилась на середине моста.

С толпой стражники обращались не менее грубо, но оттеснить людей было невозможно. Эрила, крепко ухватив мою руку, не подпускала меня слишком близко к телу. Ее пугало мое любопытство – его последствий она страшилась больше, чем самого зрелища: окажись она здесь одна, давно бы уже пробралась в первые ряды зевак. Что касается меня, то конечно же при виде растерзанного трупа все у меня внутри перевернулось – ведь в родительском доме меня так берегли, что я даже ни разу не присутствовала на публичной казни, – но я заставила себя преодолеть отвращение. Не для того я заплатила такую цену за свободу, чтобы укрыться за стенами дома при первой же встрече с кровью и жестокостью. Да и вообще я была любопытна – если только слово «любопытство» здесь уместно...

– Разве ты не понимаешь, Эрила? – нетерпеливо спросила я ее. – Ведь это уже пятый!

– Пятый кто?

– Пятый труп – с тех пор, как умер Лоренцо.

– Да о чем это вы? – зацокала она на меня. – Люди гибнут на улицах каждый день. Слишком много книжек читаете, вот и не замечаете ничего.

– Да нет же! Ты сама подумай: девушка у Санта Кроче, мужчина с женщиной в Санто Спирито, чьи тела потом перевезли в Импрунету, а потом тот юноша у Баптистерия, три недели назад. Все они были убиты в церкви или рядом с церковью, и все были страшно изувечены. Между этими убийствами должна быть связь!

Эрила рассмеялась:

– Связь? А грех? Две шлюхи, один шлюхин дружок, содомит и сводник. Быть может, все они спешили на исповедь? Во всяком случае, тот, кто это сделал, избавил уши монахов от грязных рассказов.

– Что ты хочешь этим сказать? Ты разве его знаешь?

– Его все знают. Думаешь, почему тут такая толпа собралась? Это Марсилио Транколо. Что бы тебе ни понадобилось, Транколо все может раздобыть. Вернее, мог. Вино, кости, женщины, мужчины, молоденькие мальчики – все у него было припасено в надежном месте и по справедливой цене. Это самый знаменитый сводник Флоренции. Я слыхала, последние две недели он с ног сбивался, поставляя товар иноземцам. Что ж, он теперь в отличной компании в аду окажется, не стоит сомневаться. Эй! – вскрикнула она и залепила пощечину какому-то мужчине, который налег на нас, пытаюсь пробиться поближе к зрелищу. – Попридержи лапы, скотина!

– А ты подвинь свою черную задницу! – прорычал он в ответ и снова пихнул ее. – Потаскуха! Нам не нужны на наших улицах бабы цвета дьявола. Берегись, не то в другой раз угодишь под ножик.

– Уж не раньше, чем твои яйца повиснут рядом с гербом Медичи, – пробормотала она и начала вместе со мной проталкиваться назад, выбираясь из толпы.

– Но Эрила...

– Что «но»? Я же вам говорила, здесь не место дамам. – Она уже рассердилась, так что теперь трудно было понять, что это – заботливость или страх. – Узнай ваша матушка, куда я вас водила, она бы велела меня повесить на другом столбе, рядом вон с ним!

Она увела меня с моста. На берегу народу было меньше, но когда мы добрались до площади Синьории, то снова попали в толпу. В первые дни после ухода французов эта площадь кишела горожанами,

жаждавшими избрать новое правительство, чьим негласным главой стал бы Савонарола.

Теперь его сторонники важно заседали во Дворце Синьории, вводя новые законы, силою которых уповали превратить безбожный город в государство Божье. Из залов городского совета мост Санта-Тринита видно с высоты птичьего полета. Такой урок – наглядное доказательство того, что дьявол рыщет совсем близко, – должен был помочь им сосредоточиться на своей задаче.

За несколько следующих дней моя жажда бродить по городу буквально вымотала Эрилу.

– Да не могу я с вами целыми днями торчать на улице. У меня и в доме работы невпроворот. Да и вам надо бы чем-нибудь заниматься, если хотите стать настоящей хозяйкой.

Конечно, она все еще сердилась на меня за то, что я ничего не рассказала о своей брачной ночи, и потому мстила мне на свой лад – разными обидными мелочами. И не одна она. Теперь и домашние слуги как-то косо на меня посматривали. В первые дни после свадьбы я всячески разыгрывала роль жены, расспрашивая о расходах и раздавая приказы направо и налево. Но моя неуверенность выдавала меня, да и прислуга, годами управлявшаяся без хозяйки, отнюдь не дружелюбно восприняла мое детское вмешательство. Случалось, что я улавливала их смех у себя за спиной, словно они все знали о шутовском спектакле, который разыгрывался ради доброго имени моего мужа.

Чтобы не впасть в отчаяние, я удалялась в библиотеку. Спрятанная позади лоджии на верхнем этаже, подальше от сырости и наводнений, это была единственная комната во всем доме, где я чувствовала себя по-настоящему уютно. Там хранилось около сотни томов, и некоторые из них относились еще к началу столетия. Больше всего меня поразило издание первых переводов Платона, выполненных Фичино и заказанных самим Лоренцо Медичи, – еще и потому, что внутри я обнаружила посвящение, сделанное изящным почерком:

Кристофоро, чья любовь к учености почти столь же велика, что и любовь к красоте.

Ниже стояла дата – 1477 год, а я родилась год спустя. Если уж эта надпись – сама по себе настоящее произведение искусства, то кому

еще она могла принадлежать, как не самому Лоренцо? Я глаз не могла оторвать от чернильных строк. Если бы Лоренцо не умер, то был бы сейчас примерно одних лет с моим мужем. Оказывается, муж был приближен ко двору даже больше, чем я думала. Если он вернется домой, то сколько любопытного я почерпну из его рассказов!

Я прочла несколько глав, все еще взволнованная происхождением этой книги, но, стыдно признаться, если еще несколько месяцев назад ее мудрость, несомненно, ослепила бы меня, то сейчас подобные философские тома словно отдавали дряхлостью; они по-прежнему вызывали почтение, но, казалось, утратили мощь, способность повлиять на мир, уже ушедший от них далеко вперед.

От книг я обратилась к изобразительному искусству. Боттичеллиевое толкование Данте по-прежнему притягивало меня. Но большой шкаф, в котором мой муж хранил альбом с рисунками, был заперт, а когда я кликнула слугу мужа и спросила про ключи, тот ответил, что ничего не знает. Мне померещилось или он ухмыльнулся, когда сказал это?

Час спустя он принес мне куда более важную новость:

– К вам пришел посетитель, мадонна.

– Кто именно?

– Он пожал плечами:

– Какой-то мужчина. Он не назвал своего имени. Он ждет вас внизу.

Отец? Брат? Художник? Художник... Я почувствовала, что заливаюсь румянцем, и быстро поднялась.

– Проведите его в приемный зал.

Он стоял у окна, глядя на узкую улицу и башню напротив. Мы не виделись с той самой ночи накануне моей свадьбы, и если с тех пор мысли о нем и посещали меня, то я гасила их, как гасят алтарные свечи в конце мессы. Но теперь, оказавшись рядом с ним, я снова почувствовала прежний трепет. Выглядел он неважно. Он опять похудел, а его лицо, и раньше бледное, теперь приобрело цвет козьего сыра, и под глазами залегли темные тени. В его руки въелась краска, и я заметила, что он сжимает свернутые в трубку рисунки, обернутые в муслин. Мои рисунки. Мне вдруг стало трудно дышать.

– Располагайтесь, – сказала я, осторожно усевшись на один из жестких деревянных стульев моего мужа. – Не хотите ли присесть?

Он издал какой-то звук, который я истолковала как отказ, потому что он остался стоять. Что же это заставляет нас так волноваться в присутствии друг друга, делая обоих застенчивыми и неловкими? Как это сказала Эрила – невинность таит в себе больше ловушек, чем искушенность? Правда, теперь-то я уже не была невинной. Да и он – в том ли, в другом ли смысле – вряд ли невинен, подумалось мне, когда я вспомнила о его ночных зарисовках испорченного человеческого тела с выпущенными внутренностями.

– Вы замужем, – выговорил он наконец и снова заслонился своей угрюмой робостью, будто щитом.

– Да, замужем.

– В таком случае, надеюсь, я не очень вас потревожил.

Я повела плечами:

– Да как меня можно потревожить? Теперь мое время безраздельно принадлежит мне самой. – Но я глаз не могла отвести от свитка у него в руке.

– А как дела в часовне? Вы приступили к росписи?

Он кивнул.

– Работа хорошо продвигается?

Он что-то пробормотал, но я ничего не разобрала, а потом сказал: – Я тут... Я принес вам вот это.

– И неуклюже вытянул в мою сторону руку с рисунками. Беря их, я почувствовала, что она слегка дрожит...

– Вы их посмотрели?

Он кивнул.

– И?..

– Поймите, я не судья здесь... но мне кажется... Мне кажется, что и глаз, и перо у вас не лишены меткости и правдивости.

Тут у меня внутри будто что-то подпрыгнуло, и хотя я понимала, что даже думать так – уже богохульство, на миг мне представилось, будто я – Пресвятая Дева, удостоенная благой вести, которая повергает меня и в радость, и в ужас.

– О!.. Вы в самом деле так думаете!.. Так вы мне поможете?

– Я...

– Но разве вы не понимаете? Я теперь замужем. А мой муж, который заботится о том, чтобы мне было хорошо, позволит вам давать

мне уроки, учить приемам рисования. Пожалуй, я даже могла бы помогать вам в часовне. Я...

– Нет, нет! – Его охватила тревога столь же неистовая, как и моя радость.

– Это невозможно.

– Но почему? Вы же так много знаете, а...

– Нет. Вы не понимаете. – Его иступленность заставила меня замолчать. – Я не могу вас ничему учить.

По выражению ужаса на его лице можно было подумать, будто я предложила ему нечто крайне непристойное.

– Не можете? Или не хотите? – спросила я холодно, не сводя с него глаз.

– Не могу, – пробормотал он, потом повторил то же самое, отчетливо выговаривая слова, как будто убеждал в этом не только меня, но и себя самого: – Я не могу вам помочь.

У меня снова стеснилось дыхание. Так много пообещать – чтобы потом ничего не дать...

– Понимаю... Ну что ж... – Я поднялась со стула. Гордость не позволяла мне показать ему, как глубоко он меня ранил. – Вас, наверное, ждут дела.

Он помедлил еще мгновение, как будто собираясь еще что-то сказать, затем повернулся и направился к двери. Но там снова остановился.

– Я... Вот еще что...

Я молча ждала.

– В ту ночь... в ночь перед вашей свадьбой, когда мы... когда вы были во дворе...

Хотя я и догадывалась, что он сейчас скажет, я слишком разозлилась на него, чтобы помогать ему.

– И что?

– Я выронил там кое-что... листок бумаги. набросок. Отдайте мне его. Пожалуйста.

– набросок? – Я услышала свой голос со стороны, равнодушный и холодный. Раз он разбил все мои надежды, я ответила ему тем же. – Не припоминаю. Может быть, напомните мне, что там было изображено?

– Там было... Ничего. Я хочу сказать, ничего особенного.

– И тем не менее вы хотите получить его обратно?

– Только потому... что это рисовал мой друг. И я... я должен вернуть ему этот листок.

Это была ложь настолько очевидная – первая и, наверное, единственная, какую я слышала от него, – что он даже не осмелился на меня поглядеть, произнося ее. У меня перед глазами снова встал тот набросок: тело мужчины, рассеченное от шеи до паха, с обнаженными внутренностями, будто на крюке мясника. Только теперь этот образ моя память могла сопоставить с другой картиной, из жизни, – с самым знаменитым сводником города, висящим на столбе возле часовни, и псами, растаскивающими его потроха. Хотя рисунок был сделан за несколько недель до убийства сводника, его тело было освежено точно так же. У меня в голове прозвучали слова брата: «У твоего драгоценного художника такой вид был! Роба как у призрака, вся в пятнах». Костлявое лицо, налитые кровью глаза могли быть свидетельством не только ночных походов, но и бессонницы.

– Мне очень жаль. – Мои холодные слова звучали отзвуком его собственных слов. – Я ничем не могу вам помочь.

Мгновенье он стоял, замерев на месте, потом повернулся, и я услышала, как за ним закрылась дверь. Я осталась сидеть, все еще держа свои рисунки на коленях. А потом схватила их и швырнула в другой конец комнаты.

Времени на раздумья у меня осталось мало. Мой муж вернулся несколько дней спустя, точно рассчитав время. На следующее утро должны были начаться рождественские проповеди Савонаролы, и всем благочестивым горожанам надлежало явиться в церковь, поднявшись с законного супружеского ложа.

Он даже позаботился о том, чтобы накануне вечером выйти со мной на прогулку, чтобы нас видели вместе. Я так давно об этом мечтала – погулять по улицам в этот час между сумерками и темнотой, когда городскую жизнь освещают последние лучи заходящего солнца. Однако, хотя этот закатный свет был прекрасен, сами улицы показались мне тусклыми. Там прогуливалось гораздо меньше людей, чем я себе представляла, лица почти всех встречных женщин скрывали покрывала, а их наряды, на мой взгляд, привычный к ярким отцовским тканям, были мрачными; те из них, кто был без спутников, шли торопливым шагом, низко опустив голову. В одном месте, у лоджии на площади перед Санта Мария Новелла, мы прошли мимо какого-то молодого задиры в модном плаще и в шляпе с перьями, который, как мне показалось, всеми силами пытался привлечь внимание моего мужа, но Кристофоро тут же отвел глаза и быстро увел меня прочь. Когда мы вернулись домой, было уже темно, город почти обезлюдел. Ночная стража в умах людей действует не хуже писаных законов. Какая жестокая ирония, что я выторговала себе свободу в ту пору, когда от бывшей Флоренции уже ничего не осталось и смотреть было не на что!

В ту ночь мы с мужем сидели в продуваемом сквозняками парадном зале, греясь у очага, где горели миртовые дрова, и беседовали о государственных делах. И хотя я немного дулась на него и хотела как-нибудь наказать за отлучку, мое любопытство было слишком велико, а его общество чересчур занимательно, так что надолго меня не хватило. Полагаю, удовольствие от беседы получила не только я.

– Нужно явиться туда пораньше, чтобы занять хорошие места. Готов побиться об заклад, Алессандра, – правда, теперь уже и биться об заклад – преступление, – что завтра Собор будет битком набит.

– Мы идем туда на людей посмотреть или себя показать?

– Как и многие, подозреваю, – и для того, и для другого. Поистине диво, как это флорентийцы в одночасье сделались таким набожным народом!

– Даже содомиты? – спросила я, гордясь собственной смелостью.

Он улыбнулся:

– Вижу, ты получаешь некое мятежное удовольствие от того, что произносишь это слово вслух. Впрочем, советую тебе изгнать его из своего лексикона. Стены имеют уши.

– Как? Вы думаете, теперь и слуги начнут доносить на своих господ?

– Думаю, что если рабам предлагают свободу в обмен на кое-какие сведения об их господах, то да, Флоренция уже сделалась городом инквизиции!

– А об этом говорится в новых законах?

– Среди многого прочего. За прелюбодеяние предусмотрены суровые наказания. За содомию – еще более суровые. Для молодых грешников – порка, штраф и увечье. Для тех, кто старше и опытнее, – костер.

– Костер! Боже праведный! Почему же такая разница в наказаниях?

– Потому что, жена моя, считается, что юноши несут меньше ответственности за свои деяния, нежели зрелые мужчины. Точно так же, как потерявшие невинность девушки считаются менее виновными, чем их соблазнитель.

Значит, манящая развязность Томмазо вызовет меньше порицания, нежели тайное вожделение моего мужа. И хотя брат был мне родным по крови, жестокая правда состояла в том, что о нем я тревожилась куда меньше, чем о мужчине, который по нему томится.

– Вам следует проявить осторожность, – сказала я.

– Именно о ней я и думаю. Кстати, твой брат спрашивал, как тебе живется, – добавил он, словно читая мои мысли.

– И что вы ему сказали?

– Что лучше ему самому спросить тебя об этом. Но, мне кажется, он боится встречи с тобой.

Прекрасно, подумала я. Надеюсь, он трясется, лежа в твоих объятьях. И я сама поразила этому образу, который прежде даже не

решалась вызвать в воображении: Томмазо в объятьях моего мужа. Значит, это он – настоящая жена. А я... Кто же, кто тогда я?

– В пустом доме так тихо, – сказала я наконец.

Он помолчал. Мы оба понимали, о чем сейчас пойдет речь. Сколько бы Савонарола ни боролся с ночной жизнью, ему удастся лишь загнать грех еще глубже в темноту.

– Если хочешь, можешь с ним не встречаться, – сказал Кристофоро спокойно.

– Он – мой брат. Если он явится в наш дом, было бы странно его избегать.

– Это верно. – Он смотрел в огонь, вытянув перед собой ноги. Это был ученый, образованный человек, в чьем мизинце было больше ума, нежели во всем изнеженном, соблазнительном теле моего брата. Что же это за субстанция такая – похоть, если она заставляет рисковать всем ради своего удовлетворения?

– Полагаю, у тебя нет для меня никаких новостей? – спросил муж через некоторое время.

О, известия были. В тот самый день я почувствовала тянущую боль в животе, но вместо недоношенного младенца родились струи крови. Однако я не знала, как сказать ему об этом, и поэтому просто покачала головой:

– Нет. Никаких.

Я закрыла глаза и вновь увидела свой рисунок, изображавший нашу брачную ночь. Когда я открыла их, муж пристально на меня глядел, и я готова поклясться, в его взгляде жалость смешивалась с чем-то вроде приязни.

– Я слышал, в мое отсутствие ты пользовалась библиотекой. Надеюсь, она понравилась тебе.

– Да, – ответила я, с облегчением ступив на сушу – знакомую мне тему учености. – Я нашла там диалоги Платона в переводах Фичино с дарственной надписью вам.

– О да. Восхваляющей мою любовь к красоте и учености. – Он рассмеялся. – Теперь трудно и представить, что были времена, когда наши правители верили в подобные вещи.

– Так значит, это и впрямь писано рукой Лоренцо Великолепного? Вы действительно его знали!

– Да, немного. Как можно догадаться по этой надписи, он любил держать при дворе людей со вкусом.

– А он... он знал про вас?

– Про то, что я – содомит, как ты с удовольствием меня называешь? Ну, Лоренцо почти все знал о своем окружении. Он изучал не только умы, но и души людей. Он бы тебя очаровал. Странно, что мать не рассказывала тебе о нем.

– Моя мать?

– Да. Когда ее брат был при дворе, она иногда появлялась там.

– При дворе? А вы знали ее в ту пору?

– Нет, я... Я был занят другими делами. Но несколько раз я ее видел. Она была очень красива. И, как ее брат, остроумна и образованна, что при случае показывала. Я помню, она пользовалась большим успехом. Неужели она ничего не рассказывала тебе об этом?

Я покачала головой. За всю мою жизнь мать ни словом ни о чем таком не обмолвилась. Так таиться от родной дочери? И мне снова почему-то вспомнились рассказы, что ей пришлось наблюдать за тем, как тащат по улицам оскотенных убийц Медичи, как за ними тянется кровавый след. Не удивительно, что от ужаса я перевернулась у нее во чреве.

– Ну, тогда, надеюсь, я не сказал ничего неподобающего. Я также слышал, что ты справлялась о ключах от шкафа. Мне жаль тебя огорчать, но, мне кажется, те иллюстрации скоро придется отдать.

– Отдать? Кому?

– Владельцу.

– А кто он? – Когда Кристофоро ничего на это не ответил, я сказала: – Мессер, если вы полагаете, что я не сумею сохранить ваши секреты, тогда вы ошиблись с выбором жены.

Он улыбнулся моей запальчивости:

– Его зовут Пьерфранческо Медичи. Некоторое время он был покровителем Боттичелли.

Ну конечно. Кузен Лоренцо Великолепного, одним из первых бежавший во французский стан.

– Я считаю его изменником, – твердо заявила я.

– В таком случае ты глупее, чем я думал, – резко возразил Кристофоро. – Тебе следует осмотрительнее выбирать слова, даже здесь. Поверь мне, пройдет совсем немного времени и те, кто

поддерживает Медичи, покинут город, опасаясь за свою жизнь. Кроме того, тебе известно не все. Причин для его неверности достаточно. После убийства его отца именина сына остались на попечении Лоренцо, а тот, когда лопнул банк Медичи, запустил в них руку. Негодование Пьерфранческо вполне понятно. Но он не дурной человек. Нет, он покровитель искусств, и когда-нибудь история поставит его в один ряд с самим Лоренцо.

– Но я не видела ничего, что он подарил бы городу.

– Это потому, что пока он держит все это у себя. На его вилле в Кафаджоло хранятся картины Боттичелли, в которых, быть может, сам художник еще раскается. На одном панно изображен возлежащий Марс, покоренный Венерой, и вид у него такой томный, что даже трудно сказать, что именно она сокрушила: его душу или тело. А еще есть и сама Венера – нагая, она поднимается на раковине из волн морских. Ты о ней слышала?

– Нет. – Матушка рассказывала мне как-то о расписной панели, выполненной им для брачных покоев одной супружеской пары, где показаны эпизоды истории о Настаджо; все, кто видел эти росписи, дивились изображенным на них правдивым подробностям. Но, как и моя сестра, я терпеть не могла сюжетов о женщинах, растерзанных на куски, каково бы ни было мастерство художника. – А какая она, его Венера?

– Ну, знаток женщин из меня плохой, но, как я догадываюсь, она олицетворяет ту пропасть, что разделяет взгляды на искусство Платона и Савонаролы.

– Она прекрасна?

– Прекрасна? Да. Но этим еще не все сказано. В ней соединилось языческое и христианское начала. Ее нагота целомудренна, и вместе с тем ее серьезность игрива. Она одновременно и манит, и противится. Но даже ее искушенность в любви кажется невинной. Впрочем, мне думается, большинство мужчин, глядящих на нее, предпочли бы взять ее с собой в постель, а не в церковь.

– О! Как бы мне хотелось ее увидеть!

– Нет уж, будем надеяться, что в ближайшее время никто ее не увидит. Если слухи о ней распространятся, то наш набожный Монах наверняка захочет уничтожить ее вместе с остальными грешниками. А еще понадеемся, что сам Боттичелли не сочтет нужным предать ее в

руки врага. Я слышал, он уже начал склоняться в сторону партии Плакс.

– Не может быть!

– Да, это так. Тебя, наверное, удивило бы, сколько наших великих деятелей вот-вот последуют его примеру. И не только художники.

– Но почему? Я не понимаю. Мы же строили у себя новые Афины. Неужели им не больно будет смотреть, как все это разрушают?

Кристофоро поглядел на огонь, словно там скрывался ответ.

– Дело в том, – проговорил он наконец, – что этот сумасшедший и умный Монах предложит им взамен какую-то свою идею. Таковую, что будет доступна всем, а не одним только богатым или умным.

– И что же это будет за идея?

– Построение нового Иерусалима.

И в это мгновенье мой муж, похоже, всегда сознававший, что обречен аду, почти погрузнел. И я его поняла.

На следующее утро на проповедь отпросилось столько слуг, что дом было оставить не на кого. Причем то же самое происходило по всему городу. Сегодня какой-нибудь сообразительный вор мог бы целыми телегами вывозить чужое добро, хотя наверняка у него не хватило бы храбрости грешить в такой час: это все равно что воспользоваться тьмой, наставшей в час распятия Христа, для срезания кошельков в толпе.

Если бедняки по такому случаю нарядились во все самое лучшее, то богачи, наоборот, завернули внутрь свои меховые воротники и не забыли спрятать подальше драгоценности, дабы не нарушать новых законов против роскоши. Перед выходом мы с Эрилой хорошенько оглядели друг друга, желая убедиться, что у нас под плащами нет ничего сомнительного или легкомысленного. Однако нашей скромности оказалось недостаточно. Выйдя на площадь и начав приближаться к Собору, мы поняли, что что-то не так. Площадь была запружена народом, и всюду слышались сердитые голоса, перемежавшиеся с женским плачем. Едва мы дошли до ступенек, как путь нам преградил какой-то рослый детина в рубище.

– Ей сюда нельзя, – грубо заявил он моему мужу. – Женщин не велено пускать.

И в голосе его звучала такая злоба, что на миг я даже испугалась – а вдруг он знает о нас гораздо больше? У меня кровь в жилах застыла.

– Это еще почему? – хладнокровно спросил мой муж.

– Монах будет проповедовать о построении государства по законам Божьим. Подобные вещи – не для женских ушей.

– Но если они Божьи, то что обидного для нас? – спросила я громко.

– Женщин пускать не велено, – повторил он, не удостоив меня внимания и обращаясь к моему мужу. – Государственные дела пристало обсуждать только мужчинам. Женщины слабы и неразумны, они должны жить в послушании, целомудрии и молчании.

– Что ж, мессер, – возразила я, – если женщиныны вправду...

– Моя жена – сосуд примерного целомудрия. – Пальцы Кристофоро ущипнули меня под рукавом. – Нет таких добродетелей, в

каких ее мог бы наставить даже наш усерднейший приор Савонарола, ибо она от рождения упражняется в них всех.

– Тогда пускай идет домой и присматривает за хозяйством, а мужчины пусть занимаются своими делами, – ответил тот. – А на покрывале у нее не должно быть оторочки, да и лицо нужно прикрывать как следует. У нас теперь государство простоты и скромности, и нам ни к чему эти причуды богачей.

Еще полгода назад этого невежу выпороли бы кнутом за подобные речи, но теперь он говорил дерзости с таким уверенным видом, что даже ответить ему было нечего. Обернувшись, я увидела, что на ступенях вокруг нас разыгрывается еще дюжина подобных сцен: уважаемых горожан унижали поборники нового, примитивного благочестия. Легко было понять причины этого: раз богачи одеваются нарочито скромно, у бедняков больше нет причин смотреть на них снизу вверх. И тут мне пришло в голову – не в последний раз, – что если это и вправду начало нового Иерусалима, тогда дело закончится не одним только духовным переустройством.

Однако мой муж, для которого все это было так же очевидно, как и для меня, благоразумно решил не показывать обиды. Вместо этого он повернулся и улыбнулся мне.

– Милая моя женушка, – проговорил он с наигранной слащавостью и простонародным языком, – ступай себе с Богом домой и помолись за нас. Я приду попозже и поведаю тебе все, что предназначено для твоих ушей.

Мы раскланялись и разошлись в стороны, как лицедеи в плохой пьесе по новеллам Боккаччо, и Кристофоро скрылся в каменном чреве Собора.

У подножия лестницы мы с Эрилой оказались посреди целого моря женщин, которые разрывались между благочестием и негодованием – подумать только, в церковь не пускают! Среди них я опознала несколько знатных и богатых горожанок – моя мать сочла бы их ровней. Немного погодя откуда-то взялась ватага парней – коротко стриженных юнцов в нарядах кающихся грешников – и принялась оттеснять нас, будто стадо, к краю площади. По-моему, они прикрывались благочестием, чтобы толкать и унижать нас: раньше им бы никто такого не позволил.

– Сюда! – Эрила схватила меня и потащила в сторону. – Если мы останемся здесь, то уже точно в собор не пройдем.

– Но как же мы туда пройдем? Тут всюду стражники.

– Да, но не все двери – для богачей. Наверняка для народа попроще они выставили не таких головорезов.

Я следом за ней выбралась из толпы, и мы двинулись вдоль Собора, пока не нашли дверь, куда текла людская река, не очень широкая, зато такая стремительная, что никаким привратникам не под силу было уследить за всеми входящими. Протиснувшись внутрь Собора, мы услышали гул, накатывающийся из его глубины. Похоже, Савонарола показался в алтаре, и внезапно сзади стали напирать еще сильнее – движение ускорилось до предела, когда главные двери Собора начали закрываться.

Когда мы очутились внутри, Эрила быстро потащила меня назад, так что вскоре мы втиснулись в притвор между дверью и церковной стеной. Чуть раньше – и нас бы заметили. Чуть позже – и мы бы уже не вошли. Я исподтишка окинула взглядом толпу прихожан и поняла, что мы не единственные женщины, нарушившие запрет, потому что, едва зазвучала месса, слева от нас возникло некое движение, а потом какую-то пожилую даму вытолкали за двери, и мужчины, оборачиваясь, шикали на нее. Мы еще ниже опустили головы, таясь в церковном сумраке.

Когда пришло время проповеди, в Соборе воцарилась гробовая тишина: коротышка Монах семенил к кафедре. Сейчас начнется его первая публичная проповедь с тех пор, как сформировано новое правительство. Может, это и не прибавило ему роста (хотя, сказать честно, с того места, где я стояла, мне все равно его не было видно), но явно придало дополнительную мощь. Или, может быть, его устами и вправду глаголет Бог? Ведь Монах говорил о Нем так запросто...

– Мир вам, мужи Флоренции. Сегодня мы с вами встречаемся ради великого дела. Как Богоматерь проделала путь в Вифлеем, готовясь к приходу Спасителя, так и наш город совершает первые шаги по дороге, которая приведет его к искуплению. Возрадуйтесь, граждане Флоренции, ибо свет уже близок.

По толпе пробежал первый одобрителный шорох. – Наше странствие уже началось. Корабль спасения вышел в плавание. Я был в эти дни с Господом, ища у Него совета, прося Его о снисхождении. Он

не покидал меня ни днем ни ночью. Ибо я простерся пред Ним ниц и ждал Его велений. «О Боже, – вопиял я. – Пускай Флоренция сама проведет себя по бурному морю, а мне позволь удалиться в свою одинокую гавань». – «Сие невозможно, – отвечивал мне Господь. – Ты – кормчий, и ветер уже дует в паруса. Теперь уже нет возврата». Вокруг прокатилась новая волна людского рокота, на этот раз громче, побуждая его продолжать, и я невольно представила себе Юлиа Цезаря, который, раз за разом отказываясь примерить царский венец, раз за разом побуждал толпу вновь и вновь, с еще большим пылом, предлагать ему эту почесть. – «Господи, Господи, – сказал я Ему, – я стану проповедовать, коли в этом мой долг. Но к чему мне вмешиваться в дела правительства Флорентийского? Я ведь простой монах». И тогда отвечал мне Господь грозным голосом: «Будь бдителен, Джироламо! Если ты сделаешь Флоренцию святым градом, его благочестие да покоится на твердых устоях. Да правит там подлинная добродетель! Вот твоя задача. И да не убоишься ее, ибо я пребуду с тобой. Ты заговоришь – и Мои слова потекут с языка твоего. И так тьма озарится светом, и не останется вскоре места, где бы укрылись грешники».

«Но знай, что странствие сие будет суровым. Обшивка обветшала, изъедена червем похоти и алчности. Даже и тех, кто мнит себя праведниками, нужно привлечь к суду: те мужчины и женщины, что ходят в церковь, пьют кровь Мою из золотых и серебряных сосудов не ради Меня, а ради кубков этих, и вот их надлежит заново наставить, что есть смирение. Тем же, кто поклоняется ложным богам посредством языков языческих, рты надлежит запечатать. Те же, кто разжигает огонь плоти, – из них надлежит выжечь похоть... А те, что глядят на собственные лица прежде Моего лица, у тех зеркала разбить, дабы очи обратили внутрь – и узрели пятна скверны в собственных душах...»

«И встанут во главе этого великого начинания мужчины. Ибо поелику грехопадению мужчины предшествовало грехопадение женщины, то женскую суетность и слабость надлежит держать в крепкой узде. В истинно благочестивом государстве женщины сидят дома, взаперти, и спасение их – в послушании и молчании».

«Подобно тому, как цвет христианства отправляется на войну, отвоевывать Мою Святую землю, так и славные отроки Флоренции

выйдут на улицы, чтобы сразиться с грехом. Это будет воинство праведных. Самая земля запоет у них под ногами. Слабые же – игроки, распутники и содомиты, все те, кто попирает Мои законы, – те познают Мой гнев». Так говорил ко мне Господь. И я повинуюсь Ему. Да святится имя Его. Яко на небеси и на земли. Да святится наш великий труд – возведение нового Иерусалима.

Я клянусь: если не Бог, тогда не знаю, кто говорил его устами, потому что в самом деле он был похож на одержимого. Я почувствовала, как по мне пробегает дрожь, и в тот же самый миг мне захотелось изорвать все мои рисунки и попросить у Господа прощения и просветления, хотя этот порыв больше объяснялся страхом, нежели радостными мыслями о спасении. Но едва я ощутила этот прилив покаяния, как все прихожане в один голос вознесли ему хвалу, напомнив мне о тех звуках, которые доносились с площади Санта Кроче в день, когда город устраивал там ежегодные состязания по игре в мяч, – так толпа мужчин ревет от восторга при всяком ловком движении игрока.

Я обернулась к Эриле, чтобы поглядеть, насколько взволнована она, и на мгновение подняла голову, но в этот же миг мужчина, стоявший впереди меня, решил переменить позу, чтобы лучше видеть происходящее, – и боковым зрением заметил меня. Я тут же догадалась, что мы разоблачены. В нашу сторону уже побежал шепоток, и Эрила, лучше моего знавшая, с какой быстротой разгорается мужская злость, схватила меня и потащила через толпу, и вот мы наконец добрались до двери и выскочили наружу – невредимые, но дрожащие с головы до пят, и оказались в прохладе солнечного декабрьского утра в новом Иерусалиме.

Пока Савонарола проповедовал, мы с Эрилой с удовольствием бродили по улицам. Мысль о том, чтобы жить взаперти, проводя время в молитве, вселяла в меня ледяной страх. Даже не запятнанная мужниным грехом, я бы все равно не выдержала ни одного испытания, которым подверг бы меня Бог Савонаролы, да к тому же я и так пошла на слишком многое, чтобы теперь смириться и покорно забиться в темный угол.

Почти каждый день мы ходили на рынок. Пускай женщины на улицах и вводят в соблазн, кто-то же должен покупать еду и стряпать, а если покрывало на голове достаточно плотное, то благочестивую порой не отличить от просто любопытной. Не знаю, каков Меркато-Веккьо^[15] сегодня, но в ту пору это было подлинное чудо – поистине забава для глаз и ушей! Как и во всем остальном городе, там царила суматоха, но ему она придавала живости и добавляла колорита. Посреди рыночной площади были сооружены изящные просторные аркады, и каждая была украшена в соответствии с ведущейся там торговлей. Так, под рельефными медальонами, изображавшими скотину, располагались мясные ряды, под морскими тварями стояли рыбники, а запахи их снеди состязались с ароматами, долетавшими из рядов булочников, кожевников, торговцев фруктами и от сотен других лавок, где можно было купить что угодно – от тушеного угря или жареной щуки, только что из реки, до ломтей свинины, приправленных розмарином, отрезанных от целой туши, шкварчащей здесь же на вертеле. Казалось, будто все запахи жизни, смерти и разложения витают здесь, смешиваясь в огромном чане. Я не знаю, что еще можно с этим сравнить, и в те первые сумрачные зимние дни после установления законов Божеских во Флоренции это место олицетворяло для меня все то, о чем я мечтала и что больше всего боялась утратить.

Все что-то продавали, а те, кому продать было нечего, торговали своим убожеством. У нищих своей аркады не было, но тем не менее и за ними закрепились особые места: они толкались на ступенях всех четырех церквей, что возвышались, как часовые, по четырем сторонам площади. По словам Эрилы, с тех пор, как Савонарола обрел власть, нищих стало больше. Трудно сказать, чем это объяснялось: тем ли, что

лишений стало больше, или тем, что в народе возросло благочестие, а потому можно было рассчитывать на большую щедрость горожан. Один из них меня особенно поразил. Он стоял на ступеньке у западного входа на площадь, и его уже обступала толпа. Эрила сказала, что давно его знает: прежде чем стать попрошайкой, он зарабатывал на жизнь тем, что боролся со всеми желающими на илистом берегу реки. В те дни у него был помощник, который принимал за него ставки, и вокруг всегда собиралась толпа зрителей, окриками ободряющих драчунов, а те стонали и плюхались в черные зыбучие пески, так что потом оба выглядели как черти. Один раз Эрила видела, как этот богатырь так глубоко вдавил голову противника в грязь, что тот сумел подать знак о своем поражении, лишь замахав руками.

Но подобные забавы приравнивались к азартным играм, и в свете новых законов ему больше ничего не оставалось, кроме как искать другое применение своему великолепному телу. Он был обнажен по пояс, и от холода у него изо рта вылетал пар. Его тело больше напоминало звериное, нежели человеческое, – настолько рельефно выступали на нем крупные мышцы, а шея и вовсе была как бычья. Я вдруг представила себе Минотавра, который готовится напасть на отважного Тесея в глубине лабиринта. Его кожа блестела, натертая маслом, а по груди и вдоль рук тянулась нарисованная (хотя какая краска удержится на такой масляной поверхности?) огромная змея. И когда нищий поигрывал мышцами, заставляя их двигаться под кожей, толстые черно-зеленые извивы змеи переливались и, казалось, ползли по его предплечьям и туловищу. Зрелище чудовищное и волшебное одновременно, оно зачаровало меня до такой степени, что я пробилась в первый ряд и встала прямо напротив него.

Богатое платье, наверное, навело его на мысли о набитом кошельке, и он подался в мою сторону.

– Смотрите внимательно, юная госпожа, – сказал он. – Хотя, пожалуй, вам следует приподнять покрывало, если вы хотите рассмотреть это чудо хорошенько. – Я откинула муслиновую вуаль, и он усмехнулся, обнажив между передними зубами щель шириной с Арно, а потом поднял руки, протянув их ко мне, так что, когда змея зашевелилась снова, я могла бы пощупать ее. – Дьявол – тоже змей. Остерегайтесь тайных грехов, любуйтесь мужскими руками.

Эрила уже тянула меня за рукав, но я отмахнулась от нее

– Как ты сотворил такое со своим телом? – спросила я сгорая от любопытства. – Чем это нарисовано?

– Подкиньте-ка серебра мне в ящик, и я все вам расскажу. – Змея переползла на другое его плечо.

Я порылась в кошельке и бросила полфлорина в его ящик Он засверкал там среди тусклой меди. Эрила испустила театральный вздох, досадуя на мое легкоеверие, и, выхватив у меня из рук кошелек, затолкала для верности себе за лиф.

– Ну, так расскажи! – повторила я. – Это же не простая краска, которой пользуются живописцы. Значит, это какой-то особый краситель, верно?

– Краситель и кровь, – ответил он мрачно, усевшись на корточки и оказавшись так близко от меня, что при желании можно было его потрогать, разглядеть пленку пота и масла на его коже, ощутить кислый запах его тела. – Сначала делаешь на коже надрезы – маленькие такие надрезы: чик-чик-чик, а потом постепенно вбрызгиваешь туда краску.

– Ой! А больно было?

– Ха... Я верещал, как младенец, – ответил попрошайка. – Но, когда это началось, я уже не мог прервать работу. И вот, день за днем, моя змейка становится все краше и глаже. У Змея-Дьявола – женское лицо, ты знаешь об этом? Чтобы искушать мужчин. В следующий раз, когда я лягу под нож, велю сделать ему лицо, как у вас.

– Ба! – фыркнула Эрила. – Только послушайте этого льстеца! Ему просто захотелось еще одну монету.

Но я цыкнула на нее.

– Я знаю, кто это делал, – выпалила я. – Красильщики из квартала Санта Кроче. Ты тоже один из них, верно?

– Раньше был, – ответил он и всмотрелся в меня внимательнее. – А откуда вы знаете?

– Я видела, как у них разрисованы тела. Однажды в детстве я была там.

– Вместе с отцом! С торговцем тканями, – сказал он.

– а! Да!

– Я вас помню. Вы были маленькая, вели себя как госпожа и о все совали нос.

Я громко рассмеялась:

– Верно! Значит, ты в самом деле меня помнишь! Эрила ахнула:

– Ее кошелек уже у меня, дурачина! Больше серебра ты не получишь.

– Не нужны мне твои деньги, женщина! – огрызнулся попрошайка. – Я зарабатываю больше, вертя руками, чем ты, выходя на улицу в темноте, когда цвета твоей кожи не отличить от ночной мглы. – И он снова обратился ко мне: – Да, я вас помню. Вы были нарядно одеты, и у вас было некрасивое маленькое личико, но вы ничего не боялись.

Его слова кольнули меня, как нож. Я уже хотела уйти, но он сам вдруг приблизил ко мне лицо:

– Но я вам кое-что еще скажу. Мне вы не показались некрасивой. Нет, какое там! Вы показались мне вкусенькой!

И, произнеся это слово, он заставил свою змею скользнуть по его телу навстречу мне и одновременно облизнул губы, а потом высунул язык и поводил его кончиком из стороны в сторону. Это был жест столь неприкрытой похоти, что у меня внутри все перевернулось от тошнотворного волнения. Я быстро зашагала прочь и вскоре нагнала Эрилу, которая уже покинула толпу зевак. Удаляясь, я слышала, как вслед мне летит его залиvistый смех.

Эрила так рассердилась на меня за легкомыслие, что вначале и разговаривать со мной не желала. Но, когда толпа вокруг нас поредела, она остановилась и повернулась ко мне:

– Ну, опомнились?

– Да, – ответила я, хотя чувствовала, что еще нет. – Да.

– Тогда, может быть, вы поняли наконец, почему дамы не ходят по улицам в одиночку. О нем не беспокойтесь – дни бедняги сочтены. Как только новое воинство его обнаружит то скрутит так, что его змея завянет от ужаса.

Но у меня все не шла из головы ни его красота, ни замечания в мой адрес.

– Эрила? – Я снова остановилась.

– Что еще?

– Я и впрямь так уродлива, что он узнал меня спустя столько лет? Она фыркнула и, притянув к себе, быстро обняла.

– А-а! Да не внешность он вашу запомнил, а смелость. Не приведи Господь, она еще доведет нас до такой беды, до какой красота

никогда не довела бы!

И она потащила меня по узким улицам домой.

Но в ту ночь рисунок на его коже все стоял у меня перед глазами. Я плохо спала, змея превращала все мои сны в кошмары, и я пробуждалась в поту, силясь высвободиться из змеиных колец. Мокрая от пота сорочка холодила тело. Я стянула ее и, спотыкаясь, пошла к сундуку с одеждой, чтобы вытащить другую рубашку. В тусклом свете факелов, горевших снаружи, я разглядела отражение верхней половины своего тела в маленьком полированном зеркале на обшитой резным деревом стене. Вид собственной наготы на мгновение задержал меня. На лице у меня лежали тяжелые тени, а изгибы тела создавали ловушки для темноты. Мне вспомнилась моя сестра в день ее свадьбы, светившаяся уверенностью в собственной красоте, и мне вдруг показался невыносимым такой контраст. Попрошайка прав! Во мне нет ничего, что радовало бы глаз. Я настолько безобразна, что мужчины запоминают меня исключительно из-за уродства. Я настолько чудовищна, что противна даже мужу. Мне вспомнилось, как художник описывал Еву, убегающую из Рая: она вопит во мраке, впервые устыдившись собственной наготы. Ее тоже соблазнял змей, раздвоенным языком пронзая ее невинность и тесными кольцами выжимая жизненные соки из своей жертвы. Я снова забралась в постель и свернулась клубком. Вскоре мой палец начал пробираться к заветной ложбинке, дабы доставить телу то удовольствие, которого больше никто и никогда ему не доставит. Но мои пальцы убоялись греховной сладости, которую могли пробудить, так что вместо этого я предавалась рыданиям наедине со своим одиночеством, пока не уснула.

На несколько следующих недель улицы города стали ареной борьбы Бога с дьяволом. Савонарола произносил проповеди ежедневно, а поборники его учения преследовали флорентийцев за отсутствие должного благочестия и отсылали женщин домой – сидеть взаперти.

Зато уж моя сестра Плаутилла, всегда отличавшаяся способностями делать все «как положено», теперь превзошла самое себя. На рассвете рождественского утра Эрила разбудила меня и сообщила новость:

– Пришел гонец из дома вашей матери. Баша сестра этой ночью родила девочку. Мать сейчас у нее, а по дороге домой зайдет к нам.

Матушка! Я не видела ее со дня свадьбы – вот уже шесть недель. В моей жизни бывали времена, когда ее любовь казалась мне чересчур строгой и неумолимой, но никто лучше ее не понимал моего упрямства и не заботился так обо мне – невзирая на него или, напротив, как раз по его причине. Но теперь она стала для меня той женщиной, которую в прошлом что-то связывало с моим мужем, и матерью сына, который подстроил позорный брак собственной сестры. К тому часу, когда она должна была прибыть, я почти боялась встречи с ней. Мое волнение усугублялось тем, что муж ушел из дому накануне ночью и до сих пор не вернулся.

Как и подобает хорошей хозяйке, я встретила ее в парадном зале, хотя он казался холодным и неудобным по сравнению с тем, который моя мать обставила с таким изяществом. Когда она вошла, я поднялась, и мы заключили друг друга в объятия. Потом мы сели, и она оглядела меня своим всегдашним орлиным оком.

– Сестра передает тебе привет. Она горда, как павлин, и пребывает в отличном настроении. А младенец к тому же получился горластый.

– Благодарение Богу, – сказала я.

– Воистину! А ты как поживаешь, Алессандра? Выглядишь ты хорошо.

– У меня и вправду все хорошо.

– А как муж?

- У него тоже все хорошо.
- Жаль, что я не застала его.
- Да... Он должен вот-вот прийти. Она помолчала.
- Ну, значит, между вами всё...
- Великолепно, – договорила я твердо, желая дать ей отпор.

Она продолжила беседу:

- Тут в доме очень тихо. Как ты проводишь время?
- Молюсь, – ответила я. – Как вы меня учили. А чтобы фазу предупредить следующий вопрос, сообщаю вам, что я еще не беременна.

Она улыбнулась моей наивности:

– Ну, это еще не повод для беспокойства. В этом отношении твоя сестра оказалась проворнее многих.

– Роды легко прошли?

– Тебя я рожала тяжелей, – сказала она с нежностью в голосе, и я поняла, что это попытка смягчить мое сердце. Но я сейчас не собиралась идти на уступки.

– Сегодня Маурицио озолотится.

– Это правда. Хотя, я уверена, он предпочел бы сына.

– Может быть. Но он же поставил четыреста флоринов на девочку. Хоть и не наследник, зато хороший вклад в приданое. Надо поговорить с Кристофоро – может, и нам следует так поступить. Когда придет мое время.

Я осталась довольна произнесенной фразой – мне казалось, что именно так и подобает разговаривать настоящей жене. Мать внимательно посмотрела на меня:

– Алессандра?

– Что? – переспросила я безмятежно.

– У тебя все в порядке, дитя мое?

– Разумеется. Вы можете обо мне больше не беспокоиться. Я ведь замужем, не забываете.

Она замолчала. Ей хотелось еще что-то сказать, но я видела, что привожу ее в замешательство своим нарочитым спокойствием. Я тоже не спешила нарушить молчание.

– Долго вы были при дворе, матушка?

– Что?

– Муж делился со мной воспоминаниями, рассказывал о поре правления Лоренцо Великолепного. Он говорил, весь двор восхищался тогда вашей красотой и умом.

Думаю, если бы я набросилась на нее с кулаками, то поразила бы ее меньше. Я никогда раньше не видела, чтобы мать с таким трудом подыскивала слова.

– Я... не бывала... никогда не была придворной. Я только появлялась там... несколько раз... в юности. Меня приглашал туда брат. Но...

– Значит, вы знали моего мужа?

– Нет. Нет... То есть, если он там тоже бывал, я могла видеть его, но я не знала его. Я... Все это было так давно.

– И все-таки я не могу понять, почему вы никогда не рассказывали об этом. Вы же сами внушили нам уважение к истории. Неужели вам кажется, что нам это было бы скучно?

– Это было очень давно, – повторила матушка. – Я была совсем молода... не старше, чем ты сейчас.

Но я-то сейчас чувствовала себя старой, совсем старой.

– А мой отец – он тоже бывал при дворе? Вы с ним там встретились? – Потому что мне казалось, что если бы и мой отец вращался в столь блестящем обществе, то мы, его дети, только об этом бы и слышали.

– Нет, – ответила мать, и когда она произнесла это слово, я услышала, что ее тон уже переменился: к ней вернулось самообладание. – Мы поженились позже. Знаешь, Алессандра, твоя страсть к прошлому заслуживает восхищения, но сейчас, мне кажется, нам лучше поговорить о настоящем. – Она остановилась. – Тебе следует знать, что твой отец неважно себя чувствует.

– Неважно? Что это значит?

– Он... он переутомился. Вторжение иноземцев, политические перемены во Флоренции – всё это плохо на нем сказалось.

– А я-то думала, он разбогател на этих переменах. Насколько я слышала, единственное, на что желали раскошелиться французы, так это на наши ткани.

– Это так. Да вот только он не пожелал их продавать. – Услышав это, я прониклась к отцу еще большей любовью. – Как бы из-за этого

отказа его не сочли инакомыслящим. Надеюсь, в будущем это не навлечет на нас беду.

– Ну, он же должен был понимать, что заседать в Синьорию его уже не позовут. Теперь наши правительственные палаты будут заполнены Плаксами, – сказала я, употребив уличное словечко, которым называли последователей Савонаролы. Мать встревожилась. – Не беспокойтесь, на людях я таких слов не произношу. Муж сообщает мне обо всех последних событиях в городе. Я, как и вы, слышала о новых законах: против азартных игр, против прелюбодеяний. – Я сделала паузу. – Против содомии.

И снова от моих слов у матери перехватило дух. Я почувствовала это. Самый воздух застыл. Нет, невозможно! Чтобы моя мать сознательно попустительствовала такому...

– Содомия, – повторила я. – Страшный грех, я лишь недавно поняла, что это такое. В моих познаниях обнаружился большой пробел!

– Что же, ведь подобные темы в приличных семьях обсуждать не принято, – ответила мать, и теперь ее язвительность не уступала моей. И передо мной обнаружилась вся глубина ее предательства; я сама все еще не могла в него до конца поверить, но ощутила такую ярость, что мне стало невыносимо дольше находиться с ней в одной комнате. Я встала, решив сослаться на неотложные домашние дела. Но мать не сдвинулась с места.

– Алессандра! – обратилась она ко мне. Я устремила на нее спокойный взгляд.

– Милое дитя, если ты несчастна...

– Несчастлива? Почему? Что в моем браке такого, из-за чего я могу быть несчастна? – И я продолжала пристально глядеть на нее.

Не выдержав, она поднялась со стула.

– Знай, что отец будет рад, если ты наведишь его. Он последнее время удручен состоянием дел. Смута царит не только в нашем государстве, а политические распри плохо отражаются на торговле. Думаю, визит любимой дочери развеет и порадует его, – вкрадчиво сказала она. – И я тоже буду рада.

– Не сомневаюсь. Наверное, братья теперь все время сидят дома – с тех пор, как мы строже смотрим на юношеское безрассудство.

– Да, Лука, пожалуй, сильно переменялся, – сказала мать. – Скажу больше, я даже боюсь, что Савонарола завоевал себе нового союзника в лице твоего брата. Так что имей это в виду, когда будешь с ним разговаривать. А Томмазо... – Она осеклась, и я снова уловила в ней какой-то трепет. – Томмазо мы сейчас редко видим. И это, пожалуй, угнетает отца не меньше. – Она опустила взгляд.

Мать уже подошла к двери, так и не услышав от меня никакого ответа, но вдруг обернулась:

– Ах, совсем забыла! Я тут принесла тебе кое-что. От художника.

– От художника? – И вновь у меня сладостно заныло в животе. В силу обстоятельств о художнике я в последнее время почти не вспоминала.

– Да. – Мать протянула мне белый муслиновый сверток. – Он передал мне вот это сегодня утром. Его подарок тебе на свадьбу. Кажется, он немного обиделся, что мы не поручили ему работу над твоим брачным сундуком, хотя отец и объяснил ему, что у нас не было времени.

– Как он поживает? Мать пожала плечами:

– Он приступил к фрескам. Но мы не увидим их, пока они не будут закончены. Днем он работает с помощниками, а ночью – один. Он выходит из дома только в церковь. Чудной юноша. За все время, что он у нас живет, мы с ним не обменялись и пятью десятками слов. Наверное, ему больше пристало жить в монастыре, чем в нашем суетном городе. Но твой отец все еще верит в него. Остается надеяться, его фрески окажутся столь же живыми, сколь и его вера.

Она замолчала, возможно еще надеясь разговорить меня. Но так как я упорствовала в своем молчании, она быстро обняла меня и вышла.

Зал стал еще холоднее, а я – еще более одинокой. Ни в коем случае нельзя думать о том, что только что узнала, не то погрузишься в бездонную пропасть страдания, откуда уже не выбраться. Лучше рассмотреть подарок художника.

Я бережно развернула муслин. Там, на деревянной доске величиной с большую напестольную Библию, оказался образ Богоматери, написанный темперой. Картина переливалась всеми красками яркого флорентийского дня, на заднем плане виднелись узнаваемые приметы нашего города: огромный купол, кривые улочки с

лоджиями, площади, множество церквей. Сверкающий нимб вокруг головы сидящей женской фигуры с кротко сложенными на коленях руками (великолепно выписанные пальцы!) говорил о том, что это – Матерь Божия.

Оставались, правда, сомнения относительно того, в какую пору жизни застиг ее художник. Она казалась еще совсем юной, а по тому, как упрямо она смотрела мимо зрителя, можно было догадаться, что она глядит на кого-то, но здесь не было и намека ни на ангела, который спешил бы к ней с радостным известием, ни на играющего или спящего младенца, который веселил бы ее. Лицо у нее было удлиненное и одновременно полное – слишком полное, чтобы счесть его красивым, и не отличалось изысканной бледностью, и все же в ее облике было нечто такое – какая-то серьезность, почти суровость, – что заставляло вновь и вновь всматриваться в этот образ.

При внимательном разглядывании обнаружилось еще кое-что. В Марии было больше любопытства, чем кротости: в ее глазах сквозил вопрос, словно она еще не вполне поняла или не до конца поверила в то, чего от нее хотят. И делалось ясно: пока она этого не поймет, не покорится.

Словом, в ней ощущалась строптивость – *такой* Мадон ни разу не видела. Но, несмотря на подобную несхожесть с другими изображениями, я очень хорошо ее знала. Ведь у нее было мое лицо.

Я долго не могла уснуть, мои мысли металась между виной матери и дерзостью художника. Как она оказалась способна на такое предательство? О чем он думал, создавая такую картину? Я сидела у окна своей спальни, глядя на город, теперь еще менее доступный для меня, чем в ту пору, когда я жила девицей в отцовском доме, и дивилась на свой жизненный путь, который привел меня от великой надежды к великому отчаянию. И, глядя в окно, я заметила, как откуда-то из темноты несутся первые хлопья снега. Снегопад в нашем городе был явлением столь редким, что я невольно отвлеклась и долго смотрела на него, не отрываясь. И стала свидетельницей начала сильной снежной бури. Она свирепствовала две ночи и два дня, снег валил так густо, а ветер налетал с такой силой, что даже при дневном свете было не разглядеть, что делается на другой стороне улицы. Когда метель наконец улеглась, город предстал преображенным: улицы приобрели какие-то деревенские очертания – ухабы, сугробы, порой до второго этажа, а водяные капли, стекавшие с крыш, превратились в сосульки, так что вся Флоренция украсилась каскадами хрустальных занавесей. Эта красота казалась твореньем Божьих рук, знамением нашей новообретенной чистоты. Хотя иные и утверждали, будто Господь сговорился с Савонаролой, и раз Ему не удалось выжечь грех зноем, теперь Он вознамерился выморозить его стужей.

На некоторое время погода сделалась единственным содержанием нашей жизни. Река промерзла так глубоко, что дети разводили костры на льду, а лодочников первыми настиг голод: флорентийцы научились ходить по воде. Много лет назад, когда я была еще ребенком, выдалась метель, которая занесла снегом весь город, и люди высыпали на улицы лепить снежные скульптуры. Какой-то подмастерье из скульптурной школы Лоренцо изваял в саду Дворца Медичи льва – символ Флоренции. Лев получился как живой, и Лоренцо открыл свои ворота, позволив всем горожанам приходить любоваться на него. Но сейчас всем было не до легкомысленных забав. Каждый вечер с наступлением темноты город погружался в такую тишину, что казалось, будто все жители вмерзли в ледяной пейзаж. В доме моего мужа хозяйничали сквозняки, так что, находясь внутри, мы были все равно что на

улице, – впрочем, я понимаю, что глупо так говорить, потому что многие и вправду замерзали насмерть в своих домах, тогда как у нас по крайней мере имелись дрова, трещавшие у наших ног, пускай наши спины и стыли от холода.

Ко второй неделе снег превратился в черный лед, такой коварный, что никто уже не выходил из дому без необходимости. Зимняя тьма начала просачиваться к нам в души. Казалось ей не будет конца. Дни, почти лишённые солнечного света тянулись мучительно долго, и нетерпение моего мужа, москочавшего от разлуки с моим братом, было настолько беззастенчивым, что в скором времени его вождение взяло верх над учтивостью, и он начал избегать меня, до поздней ночи засиживаясь у себя в кабинете. Его отстраненность устраивала меня больше, чем я осмелилась бы себе признать. А потом, как-то утром, невзирая на непогоду, он ушел из дома и не вернулся с наступлением темноты.

Ну, раз он выходит по своим делам, то чем я хуже? На следующий день, оставив Эриле записку, я одна отправилась навестить сестру.

На улице было очень холодно, дышать приходилось коротко и неглубоко – воздух обжигал ноздри. Люди ступали медленно, внимательно глядя себе под ноги. Некоторые несли мешочки с землей, смешанной с камешками, и разбрасывали ее перед собой, как сеятель – зерна. Соль для этой цели подошла бы лучше, но она была слишком дорога, чтобы топтать ее ногами. У меня не было с собой ни того ни другого, и я в полной мере извела вероломство дороги – хотя расстояние между нашими домами было невелико, мои юбки порвались и покрылись черной коркой грязи, не прошла я и сотни шагов. При виде меня Плаутилла недоуменно, но радостно всплеснула руками, обняла, усадила возле очага и закудаhtала над безрассудством и глупостью своей нетерпеливой младшей сестренки. Ее дом оказался совсем не похож на мой. Он был менее роскошен, построен не так давно, потому в нем было меньше щелей, впускавших холод, и горело больше очагов, дававших тепло, и везде чувствовалась неугомонная семейная суматоха – милое воспоминание моего детства! У меня от холода покраснели нос и щеки, а Плаутилла излучала тепло и уют, хотя, надо сказать, и без ребенка она осталась такой ж толстой, какой была, когда его носила.

Несмотря на чудесное совпадение во времени, рождество у моей сестры было куда менее скромным, чем у Богоматери. В ее оправдание можно было бы сказать, что, поскольку сроки родов Плаутилле совпали с вторжением Карла, она уже давно не появлялась на людях, и никто не сообщал ей о том, что переменялись нравы. Так что, если бы Стража Нравов вздумала сейчас нанести визит в ее детскую, то малышку выпростали бв из большей части одежек, а почти всю мебель вышвырнули бы на улицу. Благодарение Богу, до такого мы еще не дожили. Пока.

Она дала мне подержать на руках мою орущую сморщенную племянницу, которая, как и положено, надрывалась от крика до тех пор, пока кормилица не забрала ее у меня и не приложила к груди и та не присосалась к ней, как ягненок, издавая жадное чмокание и бульканье. Плаутилла между тем восседала в молчаливой безмятежности, довольная собственной торжественной ролью и целостью своих мягких сосков.

– Теперь я понимаю, что именно для этого и созданы женщины, – вздохнула она. – Хотя лучше бы праmaterь наша Ева спасла нас от родовых мук. Ты и представить себе не можешь, что это за боль! Наверное, это хуже дыбы. Господь выказал Пресвятой Деве великую милость, избавив ее от этой муки. – Она отправила себе в рот очередной ломтик вяленого персика. – Ну ты только погляди на нее, а? По-моему, из отцовской кремовой ткани получился лучший на свете свивальник! Гляди хорошенько – тебя вскоре все это тоже ждет! Это маленькое существо прекраснее всей твоей писанины – тебе так не кажется?

Я согласилась с этим, однако Плаутилла за все время моего визита лишь три или четыре раза брала дочку на руки, а остальное время перебирала и складывала вещи, которые через неделю должны были отправиться вместе с малышкой и комлицей в деревню, поэтому я так и не смогла понять, много ли перемен привнесло в жизнь сестры рождение ребенка. Что до Маурицио, то в те редкие моменты, что я видела, мне казалось, что ему все это уже наскучило. Что ж – у государственных мужей есть дела поважнее, чем какие-то младенцы. К тому же это была всего лишь девочка.

– Матушка говорила, что у тебя все хорошо, а еще – ты стала скромнее. Должна тебе заметить, ты слишком просто одета.

– Это верно, – ответила я. – Но ведь и мир вокруг опростился. Странно, что тебе никто об этом не рассказывал.

– Ах, да зачем мне вообще выходить из дому? У меня есть здесь все, что нужно.

– А после того, как ее увезут? Чем ты тогда займешься?

– Я немного приведу себя в порядок, а потом, когда наберусь сил, мы сделаем еще одного, – ответила сестра с застенчивой улыбкой. – Маурицио не успокоится, пока у нас не появится целый отряд мальчишек, которые станут во главе новой Республики.

– Отлично придумано, – сказала я. – А если нарожать их поскорее, они станут новыми воинами Божьими.

– Да. Кстати, раз мы заговорили о воинах, – ты не виделась с Лукой?

Я покачала головой.

– Ну, так я тебе скажу, что он совсем переменялся. Дня два назад он приходил посмотреть на Иллюминату. Тебе нравится это имя? Как новая звездочка на небе. Он сказал, что это весьма подходящее имя для нашего времени и что благословен плод чрева моего. – Тут она рассмеялась. – Вообрази нашего Луку, который изъясняется подобным образом. Кроме того, выглядел он ужасно. Нос – весь синий от мороза, он же расхаживает по улицам со своим дозором. Волосы обриты, как у монаха. Хотя, я слышала, среди них есть совсем юные, так те и впрямь похожи на ангелов.

Хотя тычки и пинки раздают, как черти, подумала я, сразу вспомнив отряд юнцов на площади перед Собором. Я бросила взгляд на кормилицу, не сводившую глаз с Иллюминаты, а она в свой черед, не мигая глядела на нее. Может быть, она тоже из числа сторонников новых порядков? Теперь трудно было угадать, при ком и о чем можно говорить.

– Не беспокойся, – прошептала Плаутилла, перехватив мой взгляд, – она не из Флоренции. Она почти не понимает нашу речь.

Но в глазах кормилицы под капюшоном я заметила искорку, заставившую меня усомниться в словах сестры.

– Угадай, что он подарил ей к рождению? Собрание проповедей Савонаролы. Вообрази! Прямо из-под печатного станка. Ты только подумай – их уже печатают. Он сказал, за последние несколько месяцев на виа деи Либраи открылись три печатные мастерские и все

заняты. Помнишь, матушка как-то раз говорила, что это неправильно – покупать книги, созданные механическими средствами? Что красота слов... – Тут сестра запнулась.

– ...наполовину заключена в прикосновеньях пера, которое выводило их, – продолжила я. – Потому что писцы приносят в текст оригинала свою любовь и преклонение.

– О-о! Все-то ты помнишь. Ну так вот, об этом можно забыть. Теперь даже знать покупает книги у печатников. Я слышала, там сплошные обличения. Ты только представь! Едва он что-то произнес – и вот уже это можно подержать в руках.

Те, кто не умеют читать, могут попросить, чтобы им читали. Потому-то не удивительно, что у него такая преданная паства.

Да, не так уж она глупа, моя сестра, хоть у нее одни наряды на уме. Раз она бывала в церкви и прислушивалась к его пламенным словам, то наверняка не только удивилась, но и напугалась как следует. И все же сладость замужества и материнства явно размягчила ее ум.

– Ты права, – сказала я тихо. – И все же, полагаю, пройдет еще немало времени, прежде чем ты сможешь читать их Иллюминате.

Я заметила, что взгляд кормилицы слегка изменил направление, она на миг отняла дитя от груди, так что негодующие вопли малышки сразу же прервали наш разговор. До конца моего визита я больше эту тему не затрагивала.

Когда несколько дней спустя я возвратилась домой, лед уже таял. На углу нашей улицы из-под растаявшего снега показался труп собаки с лопнувшим брюхом, и ее черные внутренности кишели жизнью – первыми личинками, воспрянувшими после стужи. Я даже не могла понять, чего больше в этом смраде – жизни или смерти. В доме тоже пахло по-другому. Как будто туда пробрался чужой зверь. А может, так казалось оттого, что во дворе рядом с лошадью Кристофоро была привязана лошадь Томмазо. Обе лоснились от пота, по-приятельски близко стоя бок о бок в ожидании, когда конюх закончит их чистить. Мальчишка оторвался от этого занятия и приветствовал меня поклоном. Отчего у меня сразу возникла уверенность, что он уже много раз точно так же ухаживал за обоими животными?

Не успела я дойти до своей комнаты, как навстречу мне вышла Эрила. Я думала, она начнет распекать меня за отлучку, но она,

напротив, излучала какое-то преувеличенное веселье.

– Как поживает ваша сестра?

– Живет полной жизнью, – ответила я. – Во всех смыслах слова.

– А малышка?

– Трудно сказать. Она вся была в молоке. Но голос у нее отменный. Думаю, она выживет.

– Здесь ваш брат. Томмазо. – И то ли мне примерещилось, то ли она вправду посмотрела на меня как-то особенно.

– Вот как, – проронила я небрежно. – Когда же он прибыл?

– На следующий день после того, как вы отправились к сестре, – ответила она, и ее нарочитая небрежность показалась мне такой же фальшивой, как моя собственная. Неужели она тоже все знает? Неужели она с самого начала все знала? Неужели об этом знали все, кроме меня?

– А где они?

– Только что вернулись с прогулки верхом. Кажется... кажется, они в парадном зале.

– Ну, тогда скажи им, что я возвратилась. Или... или нет, пожалуй, я сама к ним пойду.

Я быстро поднялась по лестнице, боясь утратить смелость и спиной чувствуя ее взгляд. На следующий день после того, как я покинула дом! Неприкрытое вожделение моего мужа заставляло меня краснеть за него. И за себя.

Я тихонько распахнула дверь. Они уютно устроились. Стол, накрытый к ужину, хорошее вино, в воздухе разносятся пряные ароматы. Похоже, повара расстарались, чтобы угодить им. Они стояли у решетки очага, близко к огню, но еще ближе друг к другу, хотя и не касались друг друга. Ненаблюдательному зрителю показалось бы, что это просто двое друзей, греющихся у пламени, но я уловила незримые токи, пробежавшие между ними, как пламя между двумя горящими поленьями. Томмазо был одет уже не так роскошно, явно памятуя о новых порядках, хотя мне показалось, что его смазливая физиономия несколько располнела. Скоро ему исполнится двадцать. Еще не вполне зрелый мужчина, однако достаточно взрослый, чтобы навлечь на себя суровое наказание. Плаутилла рассказывала о том, что в Венеции молодым людям, осужденным за содомию, отрезают носы, – наказание обычно применяемое к потаскухам, вполне подобает немужественным

мужчинам, а заодно способно вполне отвратить от суетности! Слушая ее, я поняла смысл увечья, что нанесли тому юноше на ступенях Баптистерия, которого я видела в день свадьбы. За все годы моих ссор с Томмазо я еще ни разу не желала ему подобного зла, и меня саму напугала такая жестокость. Он первым меня заметил, поймав мой взгляд поверх плеча Кристофоро. Мы всю жизнь были мучителями друг для друга: он – мулом, а я – оводом, отвечавшим полудюжиной болезненных укусов на каждый слепой удар его хвоста.

– Здравствуй, сестрица, – сказал он, и я готова была поклясться, что к его ликованию примешался страх.

– Здравствуй, Томмазо. – Я и сама расслышала враждебные нотки в своем голосе – мне даже не хватило духа как следует выговорить его имя.

Муж немедленно обернулся и одним вкрадчивым движением отдалился от своего любовника и приблизился ко мне:

– Дорогая! Добро пожаловать домой. Как твоя сестра?

– Живет полной жизнью. Во всех смыслах слова. – Благодарение Богу за хорошую память.

Последовали смущенные, как бы танцевальные, па: мы рассредоточились по залу. Кристофоро уселся на один стул, я на другой, а Томмазо – на маленькую кушетку рядом: муж, жена и шурин, очаровательный семейный портрет представителей образованнейшего флорентийского общества.

– А ребенок?

– Чудесен.

Наступила тишина. Что гласит главная заповедь Савонаролы относительно женщин? После послушания, важнейшая добродетель жены – молчание. Но чтобы быть настоящей женой необходимо иметь настоящего мужа.

Плаутилла соскучилась по тебе, – сказала я Томмазо. – Ты – единственный, кто ее не навестил. Он опустил глаза:

– Знаю. Я был занят.

Наверное, срезал оборки со своих нарядов, подумала я и же заметила, что на нем тот самый серебряный пояс, полученный в подарок в день моей свадьбы. И ощутила боль, как от удара.

– Впрочем, меня тоже удивляет, что ты так часто отлучаешься из дому. Мне казалось, последнее время город должен манить тебя куда

меньше.

– Ну... – Он бросил быстрый взгляд на Кристофоро. – Да я не... – И умолк, слегка дернув плечами, явно следуя полученным указаниям: не задевать и не задира́ть меня.

Снова воцарилась тишина. Я поглядела на мужа. Он поглядел на меня. Я улыбнулась, но он не ответил улыбкой.

– Томмазо рассказывает, что творится в монастырях, – тихо сказал он. – Забирают все предметы искусства, которые не отвечают *его* представлениям о приличиях, и все чрезмерно роскошные украшения и облачения.

– А что он будет делать с конфискованными богатствами? – спросила я.

– Этого никто не знает. Но не удивлюсь, если очень скоро мы почуем запах горящего дерева.

– Неужели он осмелится?

– Думаю, никакой смелости не потребуется. Он может творить все, что ему вздумается, пока за ним идет народ.

– А как же то, что осталось от художественного собрания Медичи. – спросила я. – На это-то он не позарится?

– Нет. Больше похоже на то, что он предложит им распродать свое собрание.

– Тогда составьте список всех покупателей, – посоветовала я саркастически. – Придется вам умерить свою страсть к приобретению красивых вещей, Кристофоро, иначе нас возьмут на заметку уже совсем по другой причине.

Он слегка кивнул, признавая мудрость моего совета. Я бросила взгляд на Томмазо.

– А ты какого мнения о взглядах нашего Монаха на Золотой век искусства? – спросила я у брата, желая, чтобы тот обнаружил всю скудость своего ума. – Наверное, именно этим заняты все время твои мысли?

Тот в ответ состроил гримасу. А не задирай меня, подумала я. Ты сам причинил другим гораздо больше вреда, чем причинили тебе.

– Да, вот еще, – продолжила я, когда стало ясно, что он не намерен отвечать, – я слышала, наш Лука подался в ряды воинов Божьих. Будем надеяться, ты не обрел в его лице врага.

– Лука? Да нет. Он просто любит войну. Ты бы видела его в прежние дни на улицах! Он обожает потасовки. Если нельзя драться с французами, тогда можно драться с грешниками. Он от этого удовольствие получает.

– Что ж, все мы получаем его кто как может. – Я сделала паузу. – Матушка говорит, тебя постоянно нет дома. – Еще пауза. На сей раз более длинная. – Она про тебя знает, да?

Он снова встревожился:

– Нет. А почему ты спрашиваешь?

– Потому что такое впечатление у меня создалось из разговора с ней. Быть может, Лука решил признаться ей в твоих грехах.

– Я же сказал! Он меня не выдаст, – повторил он угрюмо. – К тому же ему не все известно.

Зато мне известно, подумала я. Пространство между нами накалилось, я ощущала, как жар подступает к горлу, словно рвота. И чувствовала, как в другом конце комнаты мой муж – *наш* муж – тоже начинает испытывать беспокойство. Томмазо снова бросил на него взгляд, на сей раз более красноречивый: томный, заговорщицкий, тревожный и сладострастный. Пока я ворковала насчет младенцев и пеленок, они тут ласкали друг друга пользуясь чудесной возможностью – моим отсутствием. Пускай это мой дом, сейчас я в нем – посторонняя. От мучительной боли я сходила с ума.

– И все же здесь можно усмотреть определенную симметрию: один брат попадает к Богу, тогда как второй оправляется напрямик к дьяволу. К счастью для того и другого, обе сестры уже замужем. В какой восторг, наверное, пришли и Бог, и дьявол, когда ты указал, кого мне выбрать в женихи, Томмазо, – сказала я спокойно, но оттого не менее ядовито.

– Ну а ты конечно же была совершенно безупречна, – откликнулся он так стремительно, как железо отзывается на магнит. – Может, будь у меня сестренка помилее, все сложилось бы иначе.

– Ах вот как! – Я повернулась, чтобы не видеть предупредительных знаков, которые наверняка подавал теперь мне муж. – Вот, значит, как. Ты родился с чистой душой, готовой отлететь к Богу, а потом появилась эта дрянная девчонка и так унижала тебя, когда ты ленился хоть что-нибудь выучить, что ты обратил свой гнев на всех женщин. Выходит, именно она толкнула тебя на путь содомии.

– Алессандра. – Голос Кристофоро у меня за спиной прозвучал совсем тихо, я с трудом расслышала его.

– Я же говорил – все без толку, – с горечью сказал Томмазо.

– Она не прощает.

Я покачала головой.

– Нет, мне кажется, мессер, в этом грехе вы повинны больше, чем я, – возразила я ледяным тоном, вдруг почувствовав что теряю власть над собой. – А ты знаешь, что мы с Кристофоро говорим о тебе? Он тебе об этом не рассказывал? Говорим довольно часто. О том, как ты хорош собой и как глуп.

Я услышала, как муж поднимается со стула.

– Алессандра, – повторил он, на этот раз суровее.

Но я уже не могла остановиться. Внутри у меня словно плотину прорвало. И я обратила свой гнев на него:

– Разумеется, Кристофоро, мы не употребляем таких слов правда? Но всякий раз, как я заставляю вас задуматься или рассмеяться каким-нибудь ученым наблюдением или замечанием об искусстве, а не просто жеманным жестом или взмахом ресниц... Всякий раз, когда я вижу, как ваши глаза загораются удовольствием от нашей беседы и на миг ваш ум отвлекается от мыслей о его теле... Тогда-то я отмечаю свою очередную маленькую победу. Если не во имя Бога, то, по крайности, во имя человечности.

Ах, я совсем не этого хотела! Я представляла себе эту встречу совсем иначе: я буду учтива и остроумна, буду улыбаться и успокаивать и так, мало-помалу, вовлеку их обоих в беседу, в которой затем спокойно и тонко обнажу мелкое тщеславие брата, и увижу в глазах мужа блеск невольной гордости за мои ум и веселое красноречие.

Но мне это не удалось. Потому что ненависть – а быть может, это была любовь – не такова.

Я увидела смесь жалости и презрения в их глазах, и все вдруг исчезло: мое безрассудство, моя смелость, моя чудовищная самоуверенность, порожденная той раной, которую, как я сейчас только поняла, нанесла себе я сама. Теперь их позор сделался моим позором. Наверное, в ту самую минуту я была готова хоть к Плаксам примкнуть, лишь бы убежать от такого страдания.

Я поднялась со стула и почувствовала, что вся дрожу.

Взгляд мужа был холоден, и он как будто разом постарел, а может быть, мне это показалось из-за соседства с цветущей юностью Томмазо.

– Простите меня, муж мой, – сказала я, глядя ему в глаза. – Я кажется, забыла о соблюдении уговора. Мне жаль, что так вышло. Я пойду к себе. Будь здоров, брат. Надеюсь, ты приятно проведешь здесь время,

Я повернулась и пошла к двери. Кристофоро не сводил с меня глаз. Но не стал провожать меня. Он мог бы что-нибудь сказать. Но не стал этого делать. Закрыв за собой дверь, я представила себе, как они поднимаются, испустив один долгий сладостный вздох, и сплетаются в тесных объятьях, как Дантовы воры и змеи, так что уже невозможно понять, где муж мой, а где брат. И этот нежный и яростный образ причинил мне новую боль.

Она отворила дверь и остановилась. Я, даже сквозь слезы, даже из глубины комнаты, заметила, что она опасается войти. И это напугало меня еще больше, потому что она никогда раньше не боялась меня – даже когда в детстве я изводила ее своими шалостями.

– Ступай прочь, Эрила, – крикнула я, зарываясь головой в одеяло.

Но это придало ей решимости. Она пересекла комнату, забралась в кровать и обвила меня руками. Я оттолкнула ее:

– Ступай прочь!

Она и не думала уходить.

– Ты знала! Все всё знали, а ты даже не подумала мне сказать!

– Нет! – И тут она так вцепилась в меня, что я вынужден была посмотреть ей в лицо. – Нет. Если бы я всё знала, разве позволила бы я такому случиться? Разве позволила бы? Нет, конечно. Я понимала, что он распутник. Что он урывал свое, где только мог. Это-то я понимала. Но мужчины суются в любую дырку, какая подвернется. Это всем известно, мы с вашей матерью зря оберегали вас до такой степени, что вы этого не знали. Но те же самые мужчины обычно не моргнув глазом меняют пристрастия. Ну да, они отдерут и мужика, если бабы рядом нету. Так устроена жизнь. Да-да, может быть, это и не по нраву вашему Богу, но так уж она устроена. – В самой бойкости ее языка было нечто такое, от чего мне делалось легче или, во всяком случае, заставляло слушать. – Но обычно все это заканчивается, когда они женятся. Мальчишки приедаются, а женщины нет. Да и деток хочется. Потому я и думала – а может, хотела так думать, – что и с ним выйдет то же самое. Так зачем мне было что-то говорить вам? Это бы только испортило ту первую ночь.

Ту первую ночь. Умные женщины от этого не умирают. Но об этом мы сейчас не будем говорить.

– А Томмазо? – выговорила я сквозь рыдания. – Ты про него знала?

Она вздохнула:

– Ходили всякие слухи. Но он же беспутный, ваш братец. Может, он просто всех нас дразнил – для забавы. Пожалуй, мне стоило прислушиваться к этим слухам внимательнее. Но про них двоих – нет.

Про них я ничего не знала. Если бы об этом судачили, я бы непременно услышала, а я и слова о них не слыхала.

– А матушка?

– Боже избави, ваша мать ничего не знала.

– Да знала она! Она знала Кристофоро еще при дворе, в юности.

Он говорил, что видел ее там.

– Ну и что с того? Она была молоденькой девушкой. Она об их делах, наверное, еще меньше знала, чем вы. Да как вы могли про нее такое подумать? У нее бы сердце разбилось.

А так разбилось мое.

– Что ж, если она и не знала прежде, так знает сейчас, во всяком случае, про Томмазо. Это было написано у нее на лице.

Эрила покачала головой:

– Да, многие тайны уже перестали быть тайнами. Похоже, что Плаксы еще и наушничать умеют. Судя по тому, что мне приходится слышать, у исповедален больше нет стенок. Вполне вероятно, что Лука, этот новый ангел Божий, выболтал что-нибудь.

Значит, плохой из Томмазо знаток душ человеческих.

– Да, но... если никто не знал... как же ты тогда все проведала?

– Не забывай, я ведь живу здесь. – И она жестом показала на стены.

– А они все всё знают?

– Разумеется. Поверьте мне, если б он им так хорошо не платил, то сейчас знали бы уже не одни они. Они его любят. Даже за его грехи. – Она помолчала. – Как и вы. В том-то и беда.

Она оставалась со мной, пока я не уснула, но страдание просочилось и в мои сны, и в эту ночь змеиные кольца вновь вернулись мучить меня. Плотоядный рот попрошайки превратился в пасть дьявола, из него выползала змея, она переливалась разноцветными красками и шипела с похотливой яростью, она давила и душила меня до тех пор, пока я с криком не проснулась. Но видимо, мне только приснился этот крик, потому что во всем доме стояла гробовая тишина.

Соломенный тюфяк Эрилы возле двери оказался пуст. Тьма выла мне в уши. Мне мерещился в ней змеиный шелест. На коже от страха проступал пот. Меня покинули одну в доме греха, и скоро дьявол

придет забрать меня отсюда. Я заставила себя подняться и зажечь светильник. Тени отступили в углы и заколыхались там как волны. Я принялась отчаянно рыться в своем сундуке, вытаскивая со дна рисунки, мелки и перья. Молитва способна обретать множество различных форм. Если сон приводит дьявола, а грехи мужа лишают меня слов, тогда я буду бодрствовать и попытаюсь молиться Богу посредством моего пера, постараюсь вызвать образ Богоматери, чтобы она заступилась за меня.

Пока я выбирала кусок угля, руки у меня тряслись. Я не рисовала уже несколько недель, он успел затупиться. Я отыскала нож, завернутый в кусок отцовской материи, и принялась затачивать уголь, и этот знакомый звук ласкал мне слух. Но от темноты ли, или оттого, что мои пальцы были влажными, лезвие вдруг выскользнуло из них и рассекло мне ладонь и запястье.

Кровь брызнула немедленно – такая яркая на фоне моей землисто-бледной кожи, что никакая краска не смогла бы с ней сравниться. Я словно замороженная наблюдала за тем, как алый ручеек делается шире, растекается и наконец, дойдя до локтя, начинает капать на пол. Что за историю рассказывал мне как-то Томмазо? О сумасшедшем в тюрьме, который вскрыл себе вены, чтобы написать на стене о своей невиновности, но, начав, уже не мог остановиться, и на следующее утро его обнаружили обескровленным и бездыханным в углу камеры, а все стены были испещрены засохшими черными словами. Какие истории поведала бы сейчас я, если бы нашла для них нужный цвет? От этой мысли меня бросило в дрожь. Теперь кровь текла сильнее. Надо наложить жгут, как меня учила Эрила. Но не сейчас. Я схватила глиняную мисочку, в которой летом зажигали куренье от комаров, и подставила под рану. Капли сливались, набухали на моей коже, а затем, крупные и тяжелые, падали в миску. Вскоре там собралась уже небольшая лужица. Жидкость жизни, Божьи чернила, слишком драгоценные для бумаги. Вскоре я почувствую боль. Мне понадобится ткань, чтобы туго перевязать руку. Но тряпица, в которую был завернут нож, слишком мала для этого, а все мои одежды жалко пачкать. Я сняла через голову ночную рубашку. Использую ее. Сейчас... Сначала нужно выбрать кисточку, из горносталя: у нее кончик толстый, как солнечный луч. В полированном зеркале отразилось мое тело. Мне снова вспомнилась змея, плясавшая по натертым маслом

рукам попрошайки, переливавшаяся чешуйками на солнце. При свете светильника капельки пота на моей коже казались жемчужинами. Мой муж и мой брат в эти минуты, скорее всего, сплетаются в экстазе, утоляя вожделение. Я никогда не почувствую того, что чувствуют сейчас они. Мое собственное тело останется для меня чужой страной – неизученной и нетронутой. Никто не будет ласкать мою кожу, восхищаться ее красотой. Я погрузила ногти в кровь и быстрым движением провела прохладную влажную полосу от левого плеча вниз, затем по груди. На моей коже словно расцвел алый флаг.

– ...Ради Бога...

Она сразу вцепилась в меня, как увидела. Миска полетела на пол и раскололась, кровь выплеснулась на пол.

– Оставь меня!

Она выхватила у меня кисточку, сжала мне руку повыше локтя и подняла ее кверху. Ее пальцы тисками впились мне тело, надавливая, чтобы унять кровь.

– Оставь меня в покое, Эрила! – снова закричала я, и голос мой прозвучал высоко и сердито.

– Не оставлю! Вы все еще во власти сна. Вы так метались и стонали, что я отправилась за снотворным для вас. – И другой рукой она подхватила мою сорочку и начала туго обматывать ею мою рану.

– Ай! Больно! Оставь меня в покое, говорю тебе, со мной все хорошо.

– Еще бы не хорошо, ведь вы совсем обезумели.

Я и сама понимала, что со мной что-то не так, потому что мы обе услышали мой смех – а смеяться было нечему. Я заметила, как у Эрилы расширяются глаза от ужаса. Она притянула меня к себе, прижав к груди так крепко, что я едва могла дышать.

– Все хорошо, все хорошо, – повторяла я, и вот уже мой смех перешел в слезы, и тут боль от пореза прожгла меня, как каленым железом, и мне пришлось уже бороться кое с чем посильнее жалости к себе.

После той ночи я еще некоторое время хворала. Эрила так переполошилась, что отобрала у меня все ножи и кисти до тех пор, пока меня не покинет буйство. Я много спала и утратила вкус к еде и к жизни. Рана распухла и загноилась, за этим последовала лихорадка. Эрила нянчилась со мной, пользовала меня травами и припарками, пока рана не затянулась и не началось выздоровление, хотя на руке и остался шрам, из сердитой красной черты превратившийся в выпуклую белую полосу, которая сохранилась и по сей день. И все это время она сидела возле меня, как цербер, так что когда в первый день явился муж – справиться о моем здоровье, до меня донесся из-за двери их разговор на повышенных тонах, но у меня даже не возникло вопроса – кто из них одержит верх в споре.

Позже, когда вернувшийся ко мне покой вновь стал внушать ей доверие, а мое настроение улучшилось настолько чтобы выслушивать ее остроты, я спросила ее, что между ними тогда происходило, и она разыграла в ролях целую сценку, чтобы позабавить меня: как он, подлец, вставал в позу и угрожал и как она, черная рабыня, полуведьма, плела ему рассказ, что от переживаний у меня случился внезапный выкидыш – была до того наглая ложь, что мне даже понравилось.

– Нужели ты правда сказала ему такое?

– А почему нет? Ему ведь нужен ребенок. И пора бы уж понять, что ваш братец никого не родит, сколько его ни дери.

– Но...

– Никаких «но». Я правильно поняла – он заключил с вами уговор. Так что пускай сам его соблюдает. Если ему нравится нюхать задницы, это его дело. Томмазо – всего лишь одна из его шлюх на стороне. А хозяйка дома – вы. И пусть обращается с вами, как надлежит обращаться с хозяйкой дома.

– А он что сказал?

– О... что он и понятия не имел, что сожалеет, и... тра-ляля. Что они смыслят в женских делах? Только упомяни об *этой* крови – и даже любители сучьих дырок в обморок грохнуться готовы, что уж говорить о кобелятниках!

– Эрила! – расхохоталась я. – Да ты ругаешься хуже Томмазо!

Она передернула плечами:

– Зато веду себя приличнее. Вы, благородные дамы, и понятия не имеете, что *они* о вас говорят. Ведь вы или стоите, закатив глаза к небесам, или райские яблочки покусываете у них на глазах. Они, наверное, и сами-то не знают, какая из этих двух женщин им больше по душе. Так что остается только угадывать, когда именно пора менять костюм. – Она улыbnулась мне. – Моя мать говаривала, что в нашей стране столько богинь, что кто-нибудь из них да защитит женщин, а в вашей религии их трое – и все мужчины. Даже птица!

Это было такое неподобающее определение Святого духа что я невольно расхохоталась.

– Надеюсь, она прилюдно так не богохульствовала? Эрила повела плечами:

– А если б и богохульствовала, кому какое дело? Вы ваете, что по законам рабства у нее и души-то не было.

– И что? Она так и умерла язычницей?

– Она умерла в неволе, А прочее не имело для нее значени

– Но ты-то ходишь в церковь, Эрила, – сказала я. – ты знаешь все молитвы не хуже меня. Неужели ты хочешь сказать, что все равно не веруешь?

Она опустила взгляд.

– Я родилась в другой стране, где говорят на другом языке, под другим солнцем, – ответила она. – Я верю в то, во что мне нужно верить, чтобы прожить.

– А когда ты получишь свободу? Что тогда изменится?

– Сперва пусть это произойдет.

Но мы обе понимали, что произойдет это нескоро, особенно если она и дальше станет меня выгораживать.

– Что ж, – сказала я, – думаю, какие бы тайны ни скрывало твое сердце, Бог увидит их и поймет, что ты хороший человек, и будет к тебе милосерден.

Эрила уставилась на меня:

– Чей Бог? Ваш – или Монаха?

И она была права. В детстве мне казалось, что все так просто. Я знала: есть единый Бог, и пусть Его голос подобен грому, когда Он гневается, зато Он любил меня и утешал, когда ночью я взывала к

Нему. Или так мне казалось. И чем больше я узнавала, чем сложнее и удивительнее становился мир вокруг меня, тем глубже делалась Его способность принимать мои знания и радоваться вместе со мной. Ибо каковы бы ни были достижения человека, они исходили прежде всего от Него. Но теперь все это уже представлялось сомнительным. Теперь казалось, что величайшие достижения человека напрямую противостоят Богу – вернее, *этому* Богу, тому, кто сейчас правил Флоренцией. Этот Бог был настолько одержим дьяволом, что, похоже, у Него не оставалось времени ни на красоту, ни на чудо, а все наши науки и искусства подлежали осуждению, как очередное прибежище зла. Так что теперь я не понимала, какой же Бог – истинный; ясно лишь, который громогласней.

– Я знаю только, что мне не нужен такой Бог, который отправит в ад тебя или даже моего мужа, предварительно не выслушав их, – задумчиво сказала я.

Эрила ласково поглядела на меня.

– Вы всегда были добросердечной девочкой, даже в детстве, когда изо всех сил старались быть шалуньей. Так почему же вы привязались к нему?

– Потому что... потому что, мне кажется, это сильнее его. А еще... – Я замолкла. Верила ли я сама в то, что собиралась сейчас сказать? – Потому что мне кажется, что и *он* привязался ко *мне*.

Она покачала головой, как будто мы с ней и вправду были люди разных племен, которым друг друга ни за что не понять.

– Может, оно и так, вам видней. Хотя это и не основание, чтобы его прощать. – Она замолчала, потом встала и протянула мне руку.

– Куда ты меня ведешь?

– Хочу вам кое-что показать. Я давно дожидалась, когда можно будет это сделать.

И она вывела меня из моей темной, похожей на пещеру спальни к маленькой комнатке напротив, через каменную лестничную площадку; в любом другом доме ее ожидало бы превращение в детскую.

Эрила достала из кармана ключ, вставила его в громадный замок, и дверь отворилась.

Передо мной предстала только что оборудованная мастерская: письменный стол, каменная раковина с несколькими ведрами сбоку, на столике возле окна – ряд пузырьков, скляночек и свертков,

снабженных ярлыками, и тут же набор кистей разного размера. Здесь же была порфировая доска для растирания красок и две большие деревянные доски, уже приготовленные для подгонки, грунтовки и первых мазков.

– Он велел принести сюда все это, пока вы болели. А это я достала из вашего сундука. – Она показала на зачитанный мною до дыр манускрипт Ченнини, над страницами которого я проливала когда-то горькие слезы, оттого что он предлагал мне знания, не давая средств претворить их в краски. – Правильно я сделала?

Я молча кивнула и, подойдя к столу, приоткрыла крышки нескольких баночек и окунула пальцы в порошок: вот густой черный, вот яркая желтизна тосканского крокуса, а вот темный джаллорино, сулящий обернуться сотней зеленых деревьев и кустарников, облепивших скалу. Потрясение от такого обилия цветов можно сравнить разве что с солнцем, озарившим замерзший город после снегопадов. Я почувствовала, что улыбаюсь, но одновременно к глазам подступили слезы.

Что ж! Пускай любовь между мной и мужем невозможна, зато для меня теперь возможна алхимия.

Лед на улице растаял, началась весна, а я все упивалась цветом. Мои пальцы покрылись мозолями от пестика, потемнели от краски. Мне пришлось осваивать столько нового! Эрила помогала мне – отмеряла и смешивала порошки, левкасила доски. Никто нас не тревожил. Дом вокруг нас жил своей жизнью, если о нас и распускали сплетни, то уж, во всяком случае не слишком порочащие. У меня ушло почти пять недель на то, чтобы перенести мое «Благовещение» на деревянную доску. Моя жизнь сосредоточилась на вихрящихся складках одеяния Богоматери (ляпис-лазури у меня все еще не было, зато имелся довольно красивый оттенок синего, полученный смешением индиго со свинцовыми белилами), на темной охре напольных плит и сусальном золоте нимба для моего Гавриила – нимба, светившегося на темном фоне оконной рамы. Вначале кисть в моей руке была куда менее уверенной, чем перо, так что порой я впадала в отчаяние от своей неуклюжести, но постепенно приходила вера в себя, так что, едва закончив одну работу, я немедленно принималась за следующую. Так, забыв свою боль и безумие брата и мужа, я исцелилась.

В конце концов ко мне возвратилось прежнее любопытство, я даже начала подтрунивать над своим добровольным заточением. Эрила хорошо справлялась с ролью птицы-матери, кормя меня сплетнями из своего клюва как птенца, покуда тот не научится сам добывать пищу.

И тем не менее наша с ней первая вылазка из дому привела меня в оторопь. Стояла уже поздняя весна, а город все еще был погружен в унылое благочестие. На смену цоканью каблуков продажных женщин пришел деревянный стук четок, а юноши выходили на улицу лишь спасать души – кто как сумеет. На площади мы миновали ватагу мальчишек, отрабатывающих строевой шаг, – детей восьми-девяти лет, которые вступили в воинство Господне по настоянию родителей; Эрила рассказывала, что те целыми тюками закупают белую ткань, чтобы шить отпрыскам ангельские одежды. Даже богачи избегали ярких нарядов, так что самая палитра нашего города сделалась тусклой и однотонной. Иностранцы, посещавшие Флоренцию по торговым и прочим делам, поражались таким переменам, хотя никак не могли взять в толк, чему они стали свидетелями – установлению царства ли Божия на земле или чему-то более зловещему.

У Папы Римского, похоже, сомнений по этому поводу не было. Пока Флоренция ратовала за чистоту нравов, Эрила принесла весть о том, что Папа Александр VI Борджиа поселил в Ватиканском дворце свою любовницу и принялся раздавать своим детям кардинальские шапки, словно засахаренные фрукты. А отвлекшись от любовных утех, он решил затеять войну. Французский король и его армия, пресытившись Неаполем и уже не чувствуя в себе сил для похода в Святую землю, возвращались на Север. Однако Александр VI был не из тех, что стерпят позор нового иноземного вторжения, пускай даже кратковременного, и, обратившись к союзу городов-государств Италии, собрал войско, чтобы выгнать французов вон.

Исключением стал лишь один город. Со своей кафедры в Соборе Савонарола объявил, что Флоренция освобождается от обязанности выставлять ополчение. Ибо что есть Ватикан, как не более богатая, более порочная ипостась тех же монастырей и церквей, за очищение которых он так ревностно взялся?

Долгими зимними вечерами, когда город сковывали морозы, а Кристофоро еще не отвратила от меня его похоть, мы с ним много говорили об этом конфликте. О том, что рьяное благочестие

Савонаролы угрожает не только образу жизни Папы, но и самим устоям Церкви. Слава Божья – это не только множество спасенных душ, но и рост влияния страны, величие ее зданий и произведений искусства и то восхищенное благоговение, с каким иноземные владыки взирают на стенные росписи Сикстинской капеллы. Но подобное чудо нуждается в дальнейшем вложении средств, и никакому горбуну-приору с крючковатым носом и неистребимой потребностью в самобичевании непозволительно этому мешать.

Это было единственное препятствие, которое могло остановить Савонаролу. За последние месяцы оппозиция во Флоренции рухнула, как рушатся глинобитные хижины во время мощного наводнения. Я с трудом в это верила. Как легко, оказывается, разрушить старый порядок! Кристофоро поделился тогда со мной еще одним мудрым замечанием: что точно так же, как сейчас есть люди, которые боятся и ненавидят Савонаролу, но не предпримут никаких попыток сопротивления, потому что власть его слишком велика, так и раньше были люди, питавшие подобные чувства по отношению к роду Медичи, люди, которые всерьез полагали, что их благодушная тирания – вопреки, а быть может, даже благодаря ее славным плодам – истощает силы республики и пятнает чистоту Флоренции. Но они же полагали, что лишь безумцы или глупцы могут открыто восставать против государства, столь уверенного в своем могуществе. Инакомыслие, говорил Кристофоро, – это искусство, которое обычно прорастает в тени.

Но теперь замолчали даже тени. Платоновская академия, некогда краса и гордость новой учености, рухнула. Один из величайших ее сторонников, Пико делла Мирандола, теперь открыто поддерживал Савонаролу, собирался вступить в доминиканский орден, и, по словам Эрилы, ходили слухи, что представители даже самых лояльных семейств вроде Ручеллаи уже тяготели к кельям Сан Марко.

И такие слухи вновь и вновь заставляли меня беспокоиться о моей собственной родне.

Ведь подобное увлечение белизной отнюдь не сулило работы для красивых чанов у Санта Кроче. Мне вспомнились дети, жившие там у реки, с тощими как палки ногами и расписанной узорами кожей. Отними цвет у платья – и ты отнимешь хлеб у тружеников. Сколько бы Савонарола ни проповедовал равенство, он мало смыслил в том, где

бедняки добывают себе пропитание помимо паперти. Это тоже подметил мой муж. Признаюсь, иногда во время наших бесед с ним я представляла себе, какую пользу он мог бы принести государству, если бы политика привлекала его больше, чем очертания мальчишеских задниц. Ну вот – от горечи я даже переняла язык своего брата!

В итоге же то, что причиняло ущерб красильщикам, причиняло ущерб и моему отцу, потому что, хоть он и жил богаче своих работников, его прибыль тоже оказалась под угрозой.

«Отец будет рад, если ты наведишь его. Он последнее время удручен состоянием дел... Думаю, визит любимой дочери развеет и порадует его», – говорила мать.

Пускай она нанесла мне обиду – не могу же я позабыть об отце. А как только я подумала о родителях, то сразу же подумала и о художнике, о том, что сейчас нам проще было бы найти понимание, раз я уже начала осваивать кисть...

Старые слуги приветствовали меня, будто блудную дочь, вернувшуюся домой. Похоже, даже Мария с ее глазками-бусинками и посредственным умишком обрадовалась мне. С тех пор как я покинула отчий дом, в нем стало намного тише. Пускай я была непоседой – я всюду несла жизнь. Наверное, и я теперь переменялась. Все, кто мне встретился, сказали мне об этом. Пожалуй, болезнь поработала над моим лицом – его черты наконец-то начали проступать из-за щек-подушек. Мне любопытно было, что скажет отец, увидев свою младшую дочку с лицом уже не девочки, но женщины.

Однако выяснилось, что мне придется подождать, чтобы узнать это: и отец и мать уехали к горячим источникам, лечиться водами, и не вернуться раньше чем через несколько недель. Мне следовало заранее предупредить их о своем визите.

Дом показался мне странно незнакомым – как те места, где бываешь только во сне. Мария сообщила, что Лука дома – обедает. Может, и я к нему присоединюсь? Я дошла до дверей столовой. Сгорбившись над тарелкой, он жадно набивал рот. Для ангела он выглядел ужасно. Плаутилла была права – брат переменялся: выбритая голова страшно его портила, из-за этого лицо его казалось огромной глыбой пористого камня, и рассеянные по коже оспинки походили на крошечные ямки с водой. Лука жевал с раскрытым ртом, и до меня доносилось громкое чавканье.

Я подошла к столу и села рядом. Иногда стоит поближе узнать врага.

– Здравствуй, брат, – сказала я, улыбнувшись. – Ты стал иначе одеваться. Не уверена, что тебе к лицу серое.

Тот нахмурился:

– Я в форме, Алессандра. Могу тебе сообщить, что я состою теперь в воинстве Божьем.

– О, это важное дело. Впрочем, мне кажется, тебе все равно не мешает время от времени стирать свою одежду. Если белое слишком пачкается, оно скоро становится черным.

Он некоторое время молча переваривал мои слова, пытаюсь понять, шучу я или говорю серьезно. Если бы я получала по флорину

всякий раз, как Лука подолгу пыхтел, силясь постичь урок, который я давно освоила, наша семья была бы сейчас значительно богаче.

– Знаешь что, Алессандра? Ты слишком много болтаешь. Это тебя погубит. Наша жизнь – всего лишь короткий путь к смерти, а те, кто больше прислушиваются к звукам собственного голоса, чем к слову Истинного Христа, сгорят в аду. Твой муж пришел с тобой?

Я покачала головой.

– Тогда тебе не следует здесь находиться. Ты не хуже меня знаешь новые правила. Жены без мужей суть сосуды соблазна, и им надлежит сидеть взаперти.

– Ах, Лука! – вздохнула я. – Если бы ты с такой же легкостью запоминал действительно важные вещи!

– Лучше последи за своим языком, сестра. В твоей ложной учености – дьявол, он-то и ввергнет тебя в адское пламя куда быстрее, чем какую-нибудь бедную простую женщину, которая не знает ничего, кроме Евангелия. Твои любимые древние языческие авторы теперь вне закона!

Я никогда раньше не слышала, чтобы брат говорил так складно. И все же заметно было, что ему не терпится перейти от слов к делу. Я увидела, как его рука, лежавшая на столе, сжимается в кулак. В детстве свое отношение ко мне он всегда выражал тумаками в отличие от Томмазо. По-своему Лука был хитрее брата. Мать редко ловила его на месте преступления, а синяки проступали не сразу. Томмазо прав: Лука по-прежнему любитель потасовок. Единственная разница заключалась в том, что теперь он уже не питал к старшему брату былой преданности. Но чего нам всем ждать от этой перемены – это еще предстояло узнать.

Я поднялась из-за стола, потупив глаза.

– Знаю, – ответила я елейным тоном. – Прости, брат. Как только я вернусь домой, сразу же отправлюсь на исповедь. Попросить у Господа прощения.

Он уставился на меня, сбитый с толку моей внезапной переменой.

– М-м-м. Вот и хорошо. Если ты попросишь со смирением, Он не откажет тебе.

Не успела я дойти до двери, как он снова уткнулся в тарелку.

Когда я спросила про художника, Мария забеспокоилась:

– Мы его теперь совсем не видим. Он живет в часовне.

– Как это – живет в часовне?

Она слегка передернула плечами:

– Ну... просто он теперь живет там. Все время. И не выходит.

– А что с фресками? Они закончены?

– Никто ничего не знает. В прошлом месяце он отослал прочь всех помощников. – Она помолчала. – Похоже, они сами были рады уйти.

– Но... Я-то думала, что он ходит в церковь. Что он стал последователем нового учения. Так говорила мне матушка.

– А-а... Про это я ничего не знаю. Может, раньше и ходил. А теперь – нет. Он не выходил из часовни с самой оттепели.

– С оттепели? Это уже сколько недель! А отец ничего с ним не может поделать?

– Отец... – Мария умолкла. – Твой отец был сам не свой.

– Что ты хочешь сказать? Она бросила взгляд на Эрилу:

– Я... я правда не могу больше ничего сказать.

– А матушка?

– Она... э-э... она заботилась о нем. Но у нее же есть еще Томмазо и Лука. Она не может все время возиться с ремесленниками.

Мария, как и Лодовика, никогда не видела в искусстве живописи ничего возвышенного. Подумаешь – столько шума из-за какой-то яркой мазни! Лучше твердить молитву с закрытыми глазами, чтобы чужой вымысел не ввел в соблазн.

– Но почему же она меня о помощи не попросила? – сказала я тихонько, хотя тут же догадалась почему. Она просила, но я была так сердита, что просто оттолкнула ее.

Мария глядела на меня, пытаюсь понять, что я предприму. Все видели во мне малое дитя – хоть и не по годам смышленное, но все равно еще едва способное позаботиться о себе, не то что о других. Что могло бы заставить меня перемениться? Пожалуй, я и сама не знала.

– Я пойду повидаюсь с ним, – заявила я. – Где ключи?

– Они сломаны. Он запирается на засов изнутри.

– А другой вход, со стороны ризницы?

– Тоже.

– А как он ест?

– Мы раз в день ставим ему тарелку снаружи.

– У главной двери или возле ризницы?

– Возле ризницы.

– А как он узнает, что еду уже принесли?

– Мы стучим.

– И он выходит?

– Пока кто-то остается рядом – нет. Один раз повар пытался его подождать. Так он и не высунулся. Теперь никто и не утруждается. У нас у всех других дел хватает.

– Значит, его давно никто не видел?

– Нет. Хотя иногда по ночам он издает какие-то звуки.

– Какие такие звуки?

– Ну, я не знаю, а вот Лодовика – у нее чуткий сон – говорила, что слышала, как он плачет.

– Плачет?

Мария снова повела плечами, как будто не ее дело толковать об этом.

– А братья? Они пытались что-нибудь делать?

– Мессер Томмазо редко здесь бывает. А мессер Лука... видно, думает, тот в церкви.

И пожалуй, отчасти это было так.

Я поднялась на кухню. Рассудительный повар поведал мне свои соображения. Раз человек не ест, значит, он не хочет есть. Последние четыре дня тарелки с едой оставались нетронутыми. Может, его Бог питает. Ведь прожил же Иоанн Креститель сорок дней, кормясь медом и акридами.

– Думаю, это было не так вкусно, как твой пирог с голубями, – заметила я.

– Вы всегда очень хорошо кушали, мона Алессандра, – расплылся в улыбке повар. – Без вас в доме стало совсем тихо.

Я еще немного посидела, наблюдая, как его нож измельчает дюжину толстых зубчиков чеснока, – проворнее, чем пальцы ростовщика пересчитывают монеты. Все мое детство прошло среди ароматов этой кухни: здесь пахло черным и красным перцем, имбирем, гвоздикой, шафраном, кардамоном, а к ним примешивался сладковато-острый аромат молотого базилика с нашего собственного огорода. Целая торговая империя на разделочной доске.

– Приготовь ему какое-нибудь особенное блюдо, – попросила я. – Что-нибудь пахучее, чтобы у него слюнки потекли. Может быть, сегодня он проголодается.

– А может, сегодня он умрет.

Повар сказал это без всякой жестокости – как о чем-то обыденном. Я снова вспомнила, с какой заботливой учтивостью обходился с художником мой отец в ту далекую весеннюю ночь, когда привез его к нам. Вспомнила, какое волнение мы все тогда ощутили: у нас будет жить настоящий, живой художник, который запечатлеет для потомства всю нашу семью. Всем тогда казалось, что это знак семейного престижа, доказательство нашего высокого положения, залог нашего будущего. Теперь же все это кануло в прошлое без возврата.

Я оставила Эрилу с другими слугами на кухне, судачить с поваром, а сама отправилась вниз по лестнице и через задний двор – туда, где раньше обитал художник. Я и сама толком не знала зачем. Идя туда, я видела самое себя, украдкой пробирающуюся в жаркий час сиесты из дому, чтобы встретиться с новым жильцом в его темной каморке. Тогда меня подстегивало безграничное воодушевление и любопытство. Если бы я встретила с той Алессандрой сейчас – что бы я ей посоветовала? Я уже не могла понять, с какой поры все вдруг разладилось.

Дверь в его комнату была закрыта, но не заперта. Внутри пахло плесенью – запах запустенья. Яркие изображения Архангела и Марии на ближней к выходу стене комнаты отслаивались от неподготовленной штукатурки, будто остатки какой-то древней росписи. Стол, где он прежде хранил эскизы, был пуст, а распятие исчезло со стены. Во внутренней комнатке осталось лишь его ложе – охапка соломы, накрытая засаленным покрывалом. Все скудные пожитки он, похоже, забрал с собой в часовню.

Я не уверена, что вообще обратила бы внимание на то ведро, если бы не пятна копоти над ним. Оно стояло в углу, и я уже повернулась, чтобы уходить, когда заметила их, но вначале решила, что это – грубый набросок для росписи: множество темных теней, которые ползли по стене вверх до самого потолка. Но когда я подошла поближе и пощупала эти пятна, моя ладонь покрылась сажой – и вот тут-то я увидела, что на полу стоит ведро.

Огонь так и не справился с распятием. Хотя оно было расколото надвое, дерево лишь чуть-чуть обгорело, и трудно было понять, разбил ли он его сначала, а потом попытался сжечь или же, разозлившись на

леность огня, вытащил его из пламени и швырнул об стену. Крест треснул в нескольких местах, ноги Христа отвалились от ступней, все еще прибитых гвоздями. Туловище по-прежнему тяжело свисало с крестовины. Я бережно взяла распятие. Даже искалеченная, скульптура несла в себе страсть.

Дерево, по-видимому, горело плохо из-за того, что огонь на дне ведра оставался слишком слабым. Художник подбрасывал туда бумагу, но листы прилегли друг к другу слишком плотно, чтобы пропускать воздух. Создавалось ощущение, что он делал это впопыхах, словно что-то или кто-то подгонял его. Я осторожно извлекла из ведра обугленные остатки бумаги. Нижние листы сразу же рассыпались у меня в пальцах пушинками пепла, похожими на хлопья серого снега, – то, что было на этих страницах, исчезло безвозвратно. Но те листы, что лежали ближе кверху, обгорели лишь частично, у некоторых обуглились только края. Я вынесла всю эту грудку во внешнюю комнату, где было посветлее, и осторожно разложила на столе.

На одних рисунках была изображена я, на других – трупы. Моих изображений было множество: наброски для Мадонны повторяли мое лицо десятки раз, на всех было запечатлено одно и то же серьезное, недоуменное выражение, которого я у себя не подозревала – наверное, оттого, что никогда не бывала такой спокойной и молчаливой. Он искал верный угол поворота для моей головы, верный ракурс и в процессе своих поисков сделал один такой портрет, где я смотрю прямо на зрителя. Он чуть-чуть сместил зрачки, и результат получился поразительный. Эта молодая женщина выглядела такой – я даже не могу подобрать точное слово, – такой напористой, в ее взгляде вместо радости читался некий дерзкий вызов. Пожалуй, не будь у этого лица моих собственных черт, я бы сочла его выражение почти непристойным.

А еще там были наброски мертвецов. Сначала – мужчина с распоротым животом, которого я уже видела; еще полдюжины зарисовок этого тела с извлеченными внутренностями. Потом – другой торс, на сей раз удавленника: тело было распластано на земле, словно его только что вынули из петли.

Веревка все еще врезалась ему в шею, лицо распухло и покрылось кровоподтеками, а по ногам струилось что-то темное – очевидно, испражнения.

Кроме мужчин я обнаружила изображения женщин. Одна старуха, тоже обнаженная, с обмякшим и обвисшим животом, лежала на боку, прикрыв голову рукой, словно пыталась защититься от смерти, другая рука была вывернута под странным углом, как у сломанной куклы, все тело покрывали раны. Но больше всего меня испугала другая женщина – молодая.

Она была распростерта на спине, нагая, и ее я уже видела прежде. Это было тело той самой девушки, изображенной на эскизе для фрески в часовне: там она лежала на носилках в ожидании чуда Господня, которое должно было воскресить ее из мертвых. Но здесь воскрешения ждать не приходилось. Ибо на этих зарисовках она была не только мертва, но и изувечена. Ее лицо искажала гримаса муки и ужаса, а вся нижняя половина ее живота была рассечена, и то, что там находилось, выставлено напоказ. И среди беспорядочных окровавленных комков внутренностей я безошибочно опознала маленький, но четко прорисованный человеческий зародыш.

– Мона Алессандра! Повар говорит, что еда готова!

От голоса Марии сердце у меня чуть не выскочило из груди.

– Я... Сейчас я приду, – отозвалась я, поспешно пряча листы бумаги между складок юбки.

Выйдя на солнечный свет, я увидела поджидавших меня Марию и Эрилу. Эрила бросила на меня откровенно подозрительный взгляд. Я отвела глаза.

– Ну и что вы там нашли? – осведомилась она, когда мы стали подниматься по узкой лестнице, которая вела к двери ризницы. Она шла первой и держала перед собой поднос.

– Э... да так, кое-какие наброски.

– Надеюсь, вы сами понимаете, что делаете, – сказала она грубо. – Половина слуг считают, что у него мозги на карандаш намотались. Говорят, он почти всю зиму только и делал, что падаль рисовал, туши, которые на свалку выбрасывали. На кухне считают, что у него глаза дьявола.

– Может, и так, – ответила я. – И все равно нельзя допустить, чтобы он умер с голоду.

– Ну, как знаете, только одна вы к нему не пойдете.

– Да перестань. Не причинит он мне никакого вреда.

– Откуда вы знаете? – набросилась на меня Эрила, обернувшись ко мне, когда мы добрались до самого верха. – А что, если он и впрямь умом тронулся? Вы же видели сумасшедших на улицах. Если думать только о Боге, мозги воспаляются. А что он ввел вас в искушение своей кистью, так это еще не значит, что он не опасен. И знаете, что мне кажется? Мне кажется, не ваше это дело. Теперь у вас есть свой дом, а в нем забот на целый полк. Оставьте это кому-нибудь другому. Подумаешь, какой-то художник!

Конечно, она боялась за меня, помня о той ночи безумия, когда краской мне служила собственная кровь. А поскольку она была неглупа, моя Эрила, я задумалась над ее словами. Разумеется, боль и ужас той молодой женщины с листа бумаги проникли мне прямо в душу. В том, что этот и другие рисунки были взяты из жизни, можно было не сомневаться. Вернее, из смерти. Но где находился сам художник, когда одно перешло в другое, – вот в чем был главный вопрос. Мне снова вспомнился его ужас, смешанный с нежностью. Вспомнилось, как я изводила его насмешками в тот первый день, вспомнилась его нелепая ярость. И еще – как он постепенно, застенчиво раскрывался передо мной, когда я позировала ему для портрета, а он рассказывал о том, как с самого детства Бог водил его рукой. И почему-то я знала: сколь бы он ни тронулся рассудком, как бы ни обезумел, мне он вреда не причинит.

А что до моего дома, там мне не от кого ждать тепла. Там я чужая. Уж лучше я буду искать товарищей по несчастью, близких мне по духу, чтобы спастись от одиночества.

– Я знаю, что делаю, Эрила, – ответила я тихо, но твердо. – Я позову тебя, если понадобится. Обещаю.

Она слегка прищелкнула языком. Я любила этот краткий звук за его выразительность: я поняла, что она отпускает меня.

Эрила поставила поднос возле входа, чтобы аромат свежей еды мог проникнуть за деревянную дверь. На память мне пришли те утра, когда ребенком я говела перед причащением, а потом винила себя за то, что мысль о теле Христовом радует меня куда меньше, чем аромат жареного мяса, доносящийся с кухни, когда мы возвращаемся домой. Я даже представить себе не могла, каково это – чувствовать запах вкусной еды, когда несколько дней проведешь совсем без пищи.

Отступив в сторону, я кивнула Эриле. Она громко постучала.

– Тебе еду принесли! – пророкотала она. – Повар говорит, если ты не поешь сегодня, он перестанет ее присылать. Тут жареный голубь, овощи с пряностями и бутылка вина. – Она постучала еще раз. – Последний раз, художник!

Тут я снова ей кивнула, и она громко затопала вниз по каменным ступеням. Внизу она остановилась и поглядела на меня.

Я стала ждать. Некоторое время все было тихо. Но вот наконец я услышала какое-то царапанье за дверью. Щелкнул замок, и дверь слегка приоткрылась. Нескладная фигура, высунувшаяся из щели, нагнулась за подносом.

Я шагнула из тени – в точности как в ту ночь в доме, когда заглянула в его рисунки. Я напугала его тогда – и напугала теперь. Он попятился обратно и попытался закрыть за собой дверь, но по-прежнему держал поднос в руках под каким-то неестественным углом – словно тело перестало его слушаться. Я вставила ногу в щель и начала протискиваться внутрь. Он тащил дверь в свою сторону, но оказался явно слабее меня, хоть это я недавно перенесла болезнь, и дверь подалась под моим весом. Он отшатнулся, поднос вместе со всем его содержимым полетел наземь, и вино красной струей выплеснулось на стену. Дверь за мной захлопнулась. Мы оба оказались внутри.

Оставив поднос валяться на полу, художник, словно напуганный таракан, пустился наутек из ризницы в глубину часовни. Я подобрала деревянное блюдо и спасла часть еды. Вино же без остатка вылилось на стены.

А потом я последовала за ним.

Пахло в часовне ужасно – калом и мочой. Даже когда человек не ест, он все равно продолжает мочиться и испражняться, по крайней мере вначале. Я не решалась ступить вперед, пока мои глаза не свыклись с темнотой. Алтарь был отгорожен, леса по-прежнему стояли, но теперь на стенах повсюду висели полотнища и куски просмоленной парусины. На столах царил полный порядок: растертые в порошок краски, пестики со ступками, кисти, – все было подготовлено к работе. Рядом стояло вогнутое зеркало вроде тех, что держал у себя в кабинете отец, когда у него стало слабеть зрение: такие зеркала способны усиливать остатки дневного света. В дальнем углу стояло еще одно ведро, прикрытое дощечкой. Наверное, зловоние исходило оттуда.

Здесь было прохладнее, чем в остальном доме. А еще здесь ощущалась сырость – та, что словно сочится из камня, когда рядом нет тепла человеческих тел. Он вырос среди камня и холодного света. Что сказал тогда про него отец? Что он расписал все стены, какие были в монастыре, пока не осталось ни пяди пустой поверхности. Там. Но не здесь. Здесь, кроме отгороженного алтаря, не было ничего. Я снова стала гадать, что же скрывают полотнища.

И тут я его увидела. Он сидел на корточках, скрючившись, забившись в самый темный угол. На меня он не смотрел. Он, казалось, вообще ни на что не смотрел. Он был похож на зверя, загнанного охотниками. Я осторожно приблизилась к нему. Как я ни храбрилась, мне стало страшно. Эрила права. Истовая вера переходит порой в святое безумие: общаясь только с Богом, люди перестают понимать, как вести себя с другими людьми. Иногда такие безумцы попадались мне на улицах: они разговаривали сами с собой, смеялись, плакали, излучая трепетный свет беззащитности. Чаще всего это были добрые

души, вроде помешавшихся аскетов. Но – не все. Когда внутри у человека бродят такие дрожжи, он делается страшен.

Я остановилась в нескольких шагах от художника. Между нами теперь была Мадонна, наделенная моим лицом, и мертвецы с выпущенными кишками. Раскрыв рот, я все еще не знала, какие слова произнесу.

– Знаешь, как называют тебя на кухне? – услышала я свой голос. – Учеллино. Птичка. В честь художника^[16] – за твой дар, а еще потому, что тебя побаиваются. Думают, ты дожидаясь наступления ночи, а потом в окошко вылетаешь. Повар уверен, что ты не хочешь есть то, что он готовит, потому что сам добываешь себе где-то пищу получше. И обижается – как обиделся бы любой хороший повар.

Он словно не слышал меня – слегка раскачивался с закрытыми глазами, обхватив себя скрещенными руками и засунув ладони под мышки. Я подошла к нему еще ближе. Но так нависать над ним было как-то неловко, и я села на пол, ощутив сквозь складки одежды холодное прикосновение камня. Художник выглядел таким одиноким, таким покинутым, что мне хотелось согреть его хотя бы словами.

– Когда я была еще маленькой, а все вокруг только и говорили, что о красоте нашего города, то ходила история про одного художника, работавшего у Козимо Медичи. Его звали фра Филиппо. – И я принялась рассказывать ровным и тихим голосом, каким, помню, в детстве разговаривала со мной Эрила, укладывая спать. – Ты видел его работы. Он наделял своих Мадонн такой безмятежностью, что, можно подумать, кистью его водил сам Дух Святой. Все-таки он был монахом. Впрочем, нет. Наш добрый брат был настолько преисполнен плотских помыслов, что порой отрывался от живописи и рыскал по городу ночь за ночью, приставая ко всем женщинам, какие ему попадались. Великий Козимо Медичи, разгневавшись на него (наверное, не столько из-за его грехов, сколько из-за того, что работа так и оставалась незаконченной), решил запереть его в мастерской по ночам. Но на второе утро, войдя в комнату, он увидел распахнутое окно и свисающие простыни, связанные между собой, а самого Филиппо и след простыл. После этого Козимо вернул ему ключ. Он принимал всё, что фра Филиппо считал необходимым для своего искусства, даже когда не понимал или не одобрял этого.

Я умолкла. Хотя ничего по-прежнему не изменилось, я почувствовала, что теперь-то он слушает. Я угадывала это по его позе.

– Носить в себе такое пламя, наверное, очень тяжело. Думаю, это оно заставляет делать такие вещи, которые сам едва понимаешь. Когда мне бывает очень плохо, я потом сама удивляюсь своим поступкам. Только знаю, что тогда это казалось мне необходимым. А у меня ведь и нет никакого дара. По сравнению с твоим.

Я заметила, что он дрожит всем телом. Бывали моменты – например, в тот первый день, у него в комнате, когда сама его близость повергала меня в дрожь, но совсем не в такую. Это был иной трепет. Я поставила на пол между нами остатки еды и подвинула тарелку в его сторону.

– Почему ты ничего не ешь? – спросила я. – Это вкусно.

Он покачал головой, но глаза его вдруг блеснули.

– Еще рано.

Я украдкой бросила взгляд на его лицо. Кожа у него была молочно-белого оттенка, точно на керамических рельефах делла Роббиа. Мне вспомнилось, как он висел на ремнях и ползал под самой крышей, опаляемый жаром костра, и наносил на потолок сетку, которой предстояло стать небесами. Тогда у него были силы, и он знал, что хочет изобразить. Что же случилось с тем небом?

– Я, наверное, разговаривала с тобой больше, чем кто-нибудь еще в этом доме, – сказала я. – А ведь я даже не знаю твоего имени. Ты так долго оставался для меня просто «художником», что я уже привыкла мысленно тебя называть так. Я ничего о тебе не знаю. Знаю только то, что в твоих пальцах – божественный дар. Такой, какого у меня никогда не будет. Я настолько тебе завидовала, что, наверное, не заметила, как ты страдаешь. Если это так, прости меня.

Я подождала. Снова никакого ответа.

– Ты болен? Что с тобой? У тебя опять жар?

– Нет. – Его голос прозвучал так тихо, что я едва расслышала его. – Мне не жарко. Мне холодно. Очень холодно.

Я уже хотела было дотронуться до него, но он отпрянул в сторону. И тут я разглядела гримасу боли на его лице.

– Я не могу понять, что с тобой, – сказала я мягко. – Но уверена, что смогла бы тебе помочь.

– Нет. Ты мне не поможешь. Никто мне не поможет. – Снова тишина, а потом шепот: – Я покинут.

– Покинут? А кто тебя покинул?

– Он. Господь.

– Почему ты так думаешь?

Но он лишь яростно замотал головой и еще крепче стиснул свое тело руками. А потом, к моему ужасу, заплакал: он сидел, застыв на месте, и слезы медленно струились по его лицу, совсем как на чудотворных статуях Пресвятой Девы, что плачут кровавыми слезами, чтобы вернуть сомневающимся на стезю веры.

– О, прости меня.

И тут он в первый раз поглядел прямо на меня, а я, заглянув ему в глаза, вдруг поняла, что художника – того робкого юноши с Севера – больше нет, а передо мной разверзлась бездна тоски и ужаса.

– Ах, расскажи мне всё, – попросила я. – Пожалуйста. Нет вещи настолько чудовищной, чтобы нельзя было о ней рассказать.

За спиной у меня отворилась дверь, и я услышала осторожные шаги. Наверное, это Эрила. Я уже долго здесь, и она, похоже, вне себя от беспокойства.

– Не сейчас, – шикнула я на нее, не двинувшись с места.

– Но...

– Не сейчас.

– Ваши родители вот-вот приедут.

Это была неплохая ложь – одновременно предупреждение ему и помощь мне. Я мотнула головой в ее сторону, и она одарила меня взглядом, в котором содержалось длинное наставление. Я слегка кивнула, давая понять, что принимаю совет.

– Тогда зайди за мной попозже. Пожалуйста.

Я отвернулась. Шаги удалились, дверь снова закрылась.

Он сидел не шелохнувшись. Я решила попробовать. Вынула из тайника в складках платья его наброски, положила кое-какие из них на пол, рядом с тарелкой, так что человеческие внутренности оказались в соседстве с остатками жареного мяса.

– Я давно об этом знаю, – сказала я мягко. – Я была в твоей комнате. Я все их видела. Ты об *этом* не можешь рассказать?

Он содрогнулся.

– Это не то, что ты думаешь, – недовольно проворчал он. – Я их не убивал. Я никого не убивал... – Тут он умолк.

На этот раз я подошла к нему, и если этого не следовало делать, то не мне было судить. Я жила в мире, где муж спаривается с женой, будто она корова, а мужчины обнимаются и совокупляются с таким пылом, с такой страстью, что и святым стыдно. Для меня больше не существовало приличий. Я нежно обвила руками его тело. Он испустил резкий стон – боли или отчаяния, я так и не поняла. Плоть его казалась ледяной и одеревенелой, как у мертвеца. Он так исхудал, что сквозь кожу прощупывались все кости.

– Расскажи мне, художник. Расскажи...

Заговорил он тихо, запинаясь, как кающийся грешник, подбирающий верные слова.

– Он говорил, что человеческое тело – величайшее творенье Божье и, чтобы по-настоящему понять его, надо проникнуть внутрь, под кожу. Только так мы научимся изображать его как живое. Я был не один. Нас было шестеро или семеро. Мы встречались по ночам, в подвале больницы Санто Спирито, при церкви. Трупы принадлежали городу: он говорил, что это люди, у которых нет родственников, чтобы забрать тела, или преступники, снятые с виселиц. Он говорил, что Бог всё поймет. Потому что Его слава будет жить в нашем искусстве.

– Он? А кто это – он?

– Я не знаю, как его звали. Он был совсем молод, но нет на свете ничего такого, чего он не сумел бы нарисовать. Однажды принесли мальчика – лет пятнадцати, шестнадцати. Он умер от какой-то болезни мозга, но тело осталось не тронутым недугом. Он сказал: мальчик этот слишком юн, что-бы быть испорченным. Он сказал, что это будет наш Иисус. Я должен был изобразить его на фреске. Но не успел я этого сделать, как он пришел со своим Распятьем, вырезанным из белого кедра. Тело было изваяно таким совершенным, таким живым, что видно каждую мышцу, каждое сухожилие. Я не сомневался, что передо мной настоящий Христос. И я не мог...

Он замолк. Я выпустила его из объятий и снова села рядом, чтобы посмотреть на него и понять, какое страдание таилось в этих словах.

– И чем сильнее разгоралось в нем божественное пламя, тем слабее оно становилось в тебе, – сказала я тихо. – Так это было?

Он покачал головой:

– Ты не понимаешь... Не понимаешь. Мне не следовало туда ходить. Все это было ложью. Это не Бог был в той комнате, а что-то другое. Искушение. Когда пришла армия, *он* ушел. Исчез. Трупы перестали доставлять. Подвал закрыли. Пошли разговоры о том, что в городе находят мертвецов. Девушку с вырезанной маткой, мужчину с женщиной, потом выпотрошенного мужчину. наших мертвецов... Мы не знали... То есть... Я не знал... – Он затряс головой. – Это не Бог был в той комнате, – сказал он опять, на этот раз сердито. – Это дьявол. Разве ты не понимаешь? Монах говорит: чем больше мы изображаем человека вместо Бога, тем больше посягаем на Божественное. Тело есть Его таинство. Его творение. Нам не дано понять Его, мы можем только восхищаться Им. Я-то знаю: я поддался искушению. Я послушался Его, а теперь Он покинул меня.

– Нет, нет... Это Савонарола в тебе так говорит, а не ты сам, – возразила я. – Это он хочет запугать людей, внушить им, что Бог отвернется от них. Так он хочет удержать их в своей власти. Тот художник – кто бы он ни был – прав. Что дурного в том, чтобы понять Божье чудо?

Но он не отвечал.

– Даже если бы в этом было что-то дурное, Он не покинул бы тебя за столь ничтожную дерзость, – настаивала я, боясь, что он снова замкнется. – Он слишком ценит твой дар.

– Ты не понимаешь, – повторил он и зажмурил глаза. – Все ушло, ушло... Я поглядел на солнце, и оно выжгло мне глаза. Я больше не могу рисовать.

– Нет, – сказала я ласково и протянула к нему руки. – Я же видела твои рисунки. В них столько правды, что они не могут быть не от Бога. Ты одинок и потерян, ты вогнал себя страхами в уныние. Все, что тебе нужно, – это снова поверить в свой дар, и он вернется к тебе. А руки сами тебя послушаются. Дай их мне, художник. Дай мне свои руки.

Он еще немного покачался, всхлипывая, а потом медленно вытащил руки из-под мышек и протянул их мне, ладонями вниз. Я взяла их, и он вскрикнул, словно мое прикосновение обожгло его. Я сжала кончики его пальцев – они оказались холодны как лед, и медленно перевернула его ладони вверх.

О! Одной моей нежности здесь не хватит! Посередине каждой ладони зияла большая рана – темный колодец запекшейся крови, а по

краям, где уже поселилась зараза, плоть загноилась и распухла. В эти дыры свободно вошли бы гвозди. Мне вспомнился святой Франциск, проснувшийся со стигматами в своей каменной келье после видений. И вспомнилось собственное помрачение в ту ночь, когда телесная боль казалась мне почти облегчением после боли душевной. Но я-то себя поранила нечаянно. И не так глубоко, не так исступленно, как он.

– О Боже, – выдохнула я. – Боже праведный. Что же ты учинил над собой?

И, едва сказав это, я почувствовала, как на него снова ядовитым туманом накатывает уныние, накрывая его, отравляя его дух своими парами. И испугалась, что это уныние настигнет и меня.

Разумеется, я слышала о таком явлении, как меланхолия. О том, что даже набожные люди порой сбиваются в своих исканиях с пути к Богу и предаются саморазрушению, чтобы облегчить страдания души. Однажды в такую беду попал один из моих первых наставников: он так измучился, утратив надежду и смысл жизни, что в конце концов матушка по доброте своей отпустила его, боясь, как бы его тоска не повредила нашим юным душам. Когда я стала ее расспрашивать о нем, она рассказала, что некоторые считают подобную тоску дьявольским искушением, однако она полагает, что это расстройство ума и жизненных соков, и если от такой болезни и не умирают, то она способна на долгое время ослабить душу, а лекарство найти не так-то легко.

– Ты прав, – сказала я тихо, отойдя от него чуть в сторону, руководствуясь чутьем, а не разумом. – Ты согрешил. Но не в том, о чем ты думаешь. В тебе говорит голос не истины, но уныния, а уныние есть грех. Тебе темно, потому что сам загасил светоч внутри себя. Ты не можешь рисовать, потому что сам обрек себя саморазрушению.

Я поднялась.

– Когда ты учинил над собой это? Как далеко ты продвинулся с фресками? – спросила я, и в моем голосе звучало исступление.

Он продолжал сидеть уставившись в пол.

– Если не скажешь, я сама пойду посмотрю.

Я рывком подняла его на ноги. Грубо. Зная, что причиняю ему боль.

– Ты слишком себялюбив, художник. Когда у тебя был дар, ты не желал им делиться. Теперь, лишившись его, ты и этим чуть ли не

гордишься. Ты не только предался унынию – ты согрешил и против надежды. Что ж, у тебя есть заслуги перед дьяволом!

Я потащила его через всю часовню, к левой стене алтаря. Он пошел за мной, не сопротивляясь, словно его тело больше повиновалось мне, чем ему самому, хотя мое сердце бешено колотилось от волнения.

Каждое из полотнищ, занавешивавших стены и потолок, держалось на двух веревках, идущих к колышку, закрепленному в полу,

– Покажи мне свои, написанные без Бога работы, – сказала я. – Я хочу на них взглянуть.

Мгновенье он смотрел мне прямо в глаза. И в тот же миг я разглядела за его отчаянием что-то еще – нечто вроде благодарности, понимание того, что он должен показать их мне, раз больше некому. Потом он повернулся к веревкам и, распустив узлы, совлек первое полотнище.

В тот день света было мало. Потому мне трудно внятно объяснить, что именно в увиденном так меня потрясло. Конечно, я ожидала другого – чего-то унылого, дурного или порочного, и уже настроилась на подобные картины. Но вместо этого меня как ударом поразила красота.

На стене сияли недавно написанные фрески: житие святой Екатерины в восьми частях. Безмятежная, гибкая фигура будущей мученицы, выписанная яркими красками, скользила от сцены к сцене: ранние годы, дом отца, чудеса в поле. Как и Богоматерь на стене его покоя, она несла в себе не только мир Господень, но и щедро источала человеческую нежность.

Я поглядела на художника, но он не решался встретиться со мной взглядом. Тот краткий миг взаимопонимания миновал, теперь он снова находился во власти терзающих его демонов. Я сама подошла к следующей фреске и, развязав веревки, медленно опустила полотнище на пол. На этой стене изображался путь святой от земной славы к мученическому венцу. И вот сюда-то уже проникла ересь.

Как и все добропорядочные флорентийцы, я знала истории сотен святых, читала притчи об их искушениях, об их твердости и страстях. Одни шли на смерть более или менее охотно, не у всех на лице сияли блаженные улыбки в миг, когда их касался огонь или острый меч,

однако всех их с приближением смертного часа озарял отблеск, несомненно, ждущего их Царствия Небесного. Но эта святая Екатерина не была уверена ни в чем. В темнице перед казнью он изобразил ее не безмятежной, а испуганной, а в последней сцене, где после разрушения колеса ее тащат под меч палача, искаженное страхом лицо святой, с укоризной глядящее на зрителя, напомнило мне страдальческое выражение той юной девушки с рисунка.

Последнее полотнище закрывало и часть стены, и сводчатый потолок. Подходя к шесту, который удерживал его, я почувствовала, как у меня на шее выступает пот.

Когда полотнище упало, я запрокинула голову. На заалтарной стене роилось воинство ангелов, распростерших великолепные перистые крылья, позаимствованные у голубей, павлинов и тысячи фантастических райских птиц, и устремивших глаза ввысь, к Отцу Нашему, Сущему на небесах.

А там, посреди потолка, на золотом престоле, в сверканье и славе, в окружении святых, окутанных сиянием, восседал он – дьявол, с черным волосатым телом, распластанным по трону, о трех головах, растущих на одной шее, каждая в нимбе из крыльев летучих мышей. В когтях он держал фигурки Христа и Девы Марии и уже наполовину затолкал их к себе в пасть, ощерившуюся собачьими зубами.

Мы увезли его в отцовской повозке. Он не спорил. Если внутри него и совершалась какая-то борьба, она к тому времени уже успела закончиться, и он, похоже, испытывал благодарность за любое участие. Когда до Марии наконец дошло, что мы делаем, ей, наверное, захотелось меня остановить, но коль скоро она упустила момент, теперь ей оставалось лишь молча досадовать, наблюдая за происходящим. На ее расспросы я отвечала ей то же самое, что позже написала матери в письме, оставленном для нее: что я обнаружила художника в часовне совсем больным и что увожу его в свой дом, чтобы вылечить. К тому же это была правда. То, что его мучит недуг, должен был заметить всякий, кто видел, как мы вели его из часовни во двор. Он весь съежился, едва только вышел на солнце, его охватила страшная дрожь, а зубы застучали так, что казалось, это дребезжат кости его черепа. На полпути он рухнул наземь, и на последних лестничных ступеньках его пришлось тащить на себе.

Мы укутали его в одеяла и бережно уложили в повозку. Перед тем как вывести его из часовни, мы с Эрилой вновь занавесили стены полотнищами, заперли обе двери и забрали с собой ключи. Если Эриле и пришли в голову какие-то мысли по поводу изображений, увиденных на стенах и потолке, она не стала делиться ими со мной.

К тому времени, когда мы выехали из ворот, уже стемнело. Я сидела в повозке, Эрила погоняла лошадей. Она волновалась. Пожалуй, я в первый раз видела ее в такой тревоге. Она сказала, что сейчас на улице опасно. В сумерках юное воинство Савонаролы несло свою стражу, разгоняя мужчин и женщин вдвое старше их по домам, прочь от уличных соблазнов. А поскольку они сами брались отделять стойких от подверженных соблазну, делая для последних дорогу домой более быстрой и часто более болезненной, то необходимо было иметь наготове убедительное оправдание – на всякий случай.

Они подошли к нам, как только мы завернули за угол, обогнув мощные стены палаццо Строцци – здания, которое могло бы стать самым большим палаццо в нашем городе, если бы не осталось незавершенным после смерти Филиппо Строцци. Его смерть Савонарола часто поминал в своих проповедях – как пример того,

сколь тщетны притязания богатства по сравнению с обетованием жизни вечной. Между тем город так привык к этому недостроенному фасаду, что я уже перестала задумываться, как бы выглядело это здание, будь оно закончено.

Они же устроили за его углом свой временный пост. Их было человек двадцать – парни в грязных плащах, совсем не похожие на ангелов. Старший из них – быть может, такая же роль была и у Луки? – отделился от остальных и жестом остановил нас. Эрила придержала лошадей так резко, что его обдало паром из конских ноздрей.

– Добрый вечер, благочестивые флорентийки. Что заставило вас показаться на улице с наступлением темноты?

Эрила низко склонила голову, как всегда делала, когда изображала покорную невольницу:

– Добрый вечер, мессер. Брат моей госпожи заболел, и мы везем его домой, чтобы вылечить.

– В такой поздний час – и без провожатых?

– Возница моего господина сейчас на другом конце города, молится и постится. Мы выехали еще при свете дня, но колесо застряло в колее, и нам пришлось ждать, когда нашу повозку вытащат. Мы уже почти доехали.

– А где ваш больной?

Эрила жестом показала на задок телеги.

Предводитель подал знак двоим подчиненным, и они подошли туда, где сидела я с художником, уснувшим у меня на коленях и наполовину скрытым под одеялом. Один из дозорных отдернул покрывало, а другой ткнул в него стрекалом.

Художник, вздрогнув, пробудился, рывком высвободился из моих объятий и яростно попытался забиться в дальнюю часть повозки.

– Не подходите, не подходите ко мне! Во мне сидит дьявол. У него в зубах Христос, он и вас тоже проглотит.

– Что он говорит? – Мальчишка, нос у которого был таким же острым, как и стрекало, явно собрался ткнуть больного еще раз.

– Разве вы не понимаете языка святых, на котором он говорит? – спросила я грубо. – Он говорил на латыни о милости Христовой и о любви Спасителя нашего.

– А зачем он помянул дьявола?

Разумеется, теперь, благодаря Савонароле, его имя знают лучше, чем имя Бога.

– Он говорил, что милость и любовь Христова изгонит дьявола из Флоренции с помощью праведников. Но нам нельзя терять времени. Мой брат – последователь Монаха и собирается уйти в монастырь Сан Марко. Посвящение назначено на следующую неделю. Потому-то нам надо поскорее доставить его домой и вылечить к этому торжественному дню.

Мальчишка явно колебался. Он приблизился еще на шаг и своим острым носом учуял запах, исходивший от художника.

– Фу! Да какой же из него монах! Поглядите-ка на него: он по уши грязью зарос.

– Он не болен – он пьян, – заявил другой, и я заметила, что к нам уже двинулся их предводитель.

– Не давайте ему двигаться, госпожа, – донесся с облучка зычный голос Эрилы. – Если он будет шевелиться, то язвы лопнут. А в гное – страшная зараза.

– Язвы? У него язвы? – Мальчишка с жезлом поспешно отпрянул.

– Почему же вы сразу не сказали? – Теперь заговорил главарь, властным тоном, как и подобает начальнику. – Держитесь-ка подальше от них, вы там. А ты, женщина, увози его прочь. И смотри, не пускай его ни в какой монастырь, пока не исцелится.

Эрила тряхнула вожжами, повозка подалась вперед, и преграждавшие нам путь мигом рассеялись, испугавшись заразы. Художник снова свернулся под одеялом, постанывая при резких толчках повозки. Я дождалась, когда шайка скроется из виду, а потом взобралась к ней на козлы.

– Эй, поглядите-ка на свою кожу, – сказала она, когда я уселась рядом с ней. – Я не хочу, чтобы вы меня гноем перепачкали.

– Язвы! – рассмеялась я. – С каких это пор наше благочестивое воинство боится каких-то язв?

– С тех пор, как началось поветрие, – усмехнулась она в ответ. – Ваша беда в том, что вы по-прежнему редко выходите на улицу. Но помните: те, кто выходят часто, уже раскаиваются в этом. Никто не знает, откуда взялась такая зараза. Ходят слухи, будто французы запустили ее в те дырки, куда слили свои соки. Первыми захворали потаскухи, но болезнь уже двинулась дальше. Пока зараза поражала

только этих женщин, ее называли дьявольской болезнью, но теперь, когда даже праведные покрываются волдырями и пузырями, то поговаривают, что это Бог испытывает нас, как... Как звали того библейского человека, которому Он послал проказу?

– Иов, – подсказала я.

– Иов. Точно. Хотя, готова поклясться, у Иова не было ничего и близко похожего на французские язвы – здоровенные вздутые пузыри с гноем, которые причиняют адскую боль и оставляют огромные рубцы. Хотя, судя по тому, что я слышала, эта хворь приучает страдальцев держаться подальше от женских юбок куда вернее, чем все проповеди Монаха.

– Ах, Эрила! – рассмеялась я. – Твои сплетни – просто золото. Надо было мне получше обучить тебя грамоте. Тогда бы ты написала такую историю Флоренции, которая наверняка могла бы соперничать с рассказами Геродота о Греции.

Она повела плечами:

– Когда-нибудь я буду рассказывать, а вы записывать, если мы с вами проживем достаточно долго. А это уж зависит от вашего сегодняшнего благоразумия, – добавила она, кивнув в сторону нашей живой поклажи и щелкнув поводьями над головами лошадей, чтобы те проворнее бежали по темным улицам.

Лошадей Кристофоро и Томмазо во дворе не было, не горел свет и в комнате мужа. Я велела конюхам перенести художника в мастерскую рядом с моей спальней, и там мы постелили ему тюфяк, объяснив, что это благочестивый человек, мой родственник, который заболел, пока мои родители были в отлучке. Я поймала на себе ядовитый взгляд Эрилы, но не стала обращать на него внимания. Можно было, конечно, поместить его со слугами – однако если его латинских бормотаний все равно никто не поймет, то на случай, если он начнет кричать о мощи дьявола на чистом тосканском наречии, лучше держать его подальше от благочестивых ушей.

Усадив его, мы позвали старшего брата конюха, Филиппо, чтобы он приглядел за художником. Это был крепкий молодой мужчина, родившийся с разорванными барабанными перепонками, из-за чего всегда казался более медлительным и глупым, чем был на самом деле. Но тот же изъян придавал его немой силе некую мягкость, и потому он был единственным из слуг моего мужа, кого Эрила достаивала

вниманием. За те месяцы, что мы здесь прожили, она достаточно овладела языком знаков, чтобы превратить его в послушного исполнителя своей воли (хотя я никогда не спрашивала, чем она платила ему за услуги). Теперь она дала ему указания приготовить целебную ванну для художника, а потом стащить с него всю одежду. Из своей комнаты она принесла мешочек с лекарственными снадобьями – наследство от матери. Я с детства помнила, что от этого мешочка всегда пахло чем-то диковинным. Обладала ли ее мать такими знаниями, чтобы врачевать стигматы не только на руках, но и в душе?

– Скажите ему, что сейчас мы промоем и перевяжем ему руки, – на ходу бросила Эрила.

Художник сидел на стуле, где мы его и оставили, склонившись вперед и глядя в пол. Я подошла к нему, села на корточки рядом.

– Теперь ты в безопасности, – сказала я, – Мы будем ухаживать за тобой. Вылечим твои руки, ты выздоровеешь. С тобой не случится здесь ничего плохого. Ты меня понимаешь?

Он не ответил. Я взглянула на Эрилу. Она знаком показала на дверь.

– А что, если...

– Он поднимет шум? Тогда мы проломим ему череп. Но, так или иначе, прежде чем вы снова к нему приблизитесь, он будет вымыт и накормлен. А вы тем временем можете сочинить какую-нибудь красивую историю для вашего мужа. Потому что не думаю, что ему понравится эта чушь про благочестивого родственничка.

И с этими словами она вытолкала меня из комнаты.

Хуже всего было в первые дни. Хотя домочадцы ходили вокруг нас на цыпочках, сплетни звучали громче любых шагов. Художник же лежал в каком-то оцепенении, по-прежнему молча, но по-своему проявлял непокорство. Позволив Эриле и Филиппо перевязать ему руки и искупать его, он упорно отвергал пищу. Диагноз Эрилы был жестким и точным.

– Он может двигать пальцами, а значит, сможет снова рисовать, хотя никому уже не предсказать ему судьбу! Что до остального, то я не знаю такой травы или мази, которая наверняка бы его вылечила. Если он и дальше будет отказываться от еды, это убьет его быстрее, чем утрата Бога.

Весь тот вечер я лежала без сна, прислушиваясь к звукам из мастерской. В самый темный ночной час его одолел какой-то припадок: он выл и стонал в таком глубоком отчаянии, словно из него истекала вся боль мира. У его двери я столкнулась с Эрилой, но его вой перебудил весь дом, и Эрила не позволила мне войти.

– Он же страдает. А я могла бы ему помочь.

– Помогите-ка лучше самой себе! – рявкнула она на меня. – Одно дело, когда правила приличия нарушает муж, и совсем другое – когда это делает жена. Они же его слуги. За что им вас любить – за своенравие? Они выдадут вас – и этот позор погубит и вашу, и его жизнь. Ступайте обратно в постель. Я сама позабочусь о нем.

Испугавшись, я послушалась.

На следующую ночь крики были значительно тише. Я не спала, читая в кровати, и потому сразу же услышала их, но, вспомнив слова Эрилы, подождала, не откликнется ли она. Но она или слишком устала, или слишком крепко спала. Боясь, что он снова перебудит всех слуг, я украдкой отправилась проведать его.

Площадка перед мастерской была пуста: Филиппо крепко спал возле двери, не слыша шума. Я осторожно обошла его и вошла в комнату. Если я и совершила в тот миг глупость, то теперь могу лишь сказать, что до сих пор не жалею о ней.

В мастерской горел маленький масляный светильник, неяркий, как свечное пламя в часовне в ту далекую ночь. Вокруг пахло красками и прочим моим хозяйством. Художник лежал на постели, глядя в пространство, и тоскливая пустота разливалась вокруг него как озеро.

Я приблизилась к нему и улыбнулась. Щеки у него были мокрые, но слезы уже прекратились.

– Как ты себя чувствуешь, художник? – спросила я ласково.

Он услышал меня, но никак не отозвался. Я уселась на краешек его кровати. Раньше он отпрянул бы в сторону, ощутив мою близость, но сейчас даже не пошевелился. Я не могла понять, о чем говорит такая апатия: о телесной немощи или о параличе воли. Я вспомнила себя в брачную ночь, вспомнила, как весь мой мир разбился и рассыпался вокруг меня на мелкие кусочки и как, пока ум мой растерянно бездействовал, пальцы одержали верх над хаосом. Он же намеренно изувечил свое единственное средство спасения. Его руки неловко лежали на покрывале, аккуратно перебинтованные. И я не знала, может ли он держать перо.

Когда картины невозможны, надежда остается только на слова.

– Я принесла тебе кое-что, – сказала я. – Если ты готовишься быть пожранным дьяволом, то, пожалуй, тебе стоит послушать рассказ того, кто прежде тебя вел такое же сражение.

Я взяла книгу, которую читала перед тем, как услышала его крики. И пускай в ней не было иллюстраций Боттичелли, все равно вывести вручную столько слов было само по себе подвигом глубочайшей любви. И к ней я сейчас прибавляла свою собственную... медленно переводя неотступно звучащий в ушах *вольгаре*^[17] на латынь, с усилием подбирая верные слова, чтобы донести до него смысл любимых строк:

*Земную Жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу,*

*Тот дикий лес, дремучий и грозный,
Чей давний ужас в памяти несущий!
Так горек он, что смерть едва ль не слаще...*

Я прочла всю первую песнь «Ада», с ее лесами отчаяния и дикими зверями страха, но неизменно выводящую к первым лучам света на озаренном солнцем холме и к проблеску надежды:

*Был ранний час, и солнце в тверди ясной
Сопровождали те же звезды вновь,
Что в первый раз, когда их сонм прекрасный
Божественная двинула Любовь.
Доверясь часу и поре счастливой,
Уже не так сжималась в сердце кровь...*

Я подняла взгляд и, затаив дыхание, увидела, что теперь глаза у него прикрыты. Но я знала, что он не спит.

– Знай, ты не одинок, – сказала я. – Мне кажется, многие люди в какой-то жизненный миг ощущают, что их обступила тьма, словно они выпали из руки Божьей, выскользнули из Его пальцев и рухнули вниз, на острые скалы. Я уверена, что и Данте чувствовал то же самое. Мне кажется, из-за того, что у него был огромный дар, ему пришлось еще тяжелее. Как будто от него ожидали большего, раз ему столь многое дано. Но коль скоро он сумел найти дорогу назад, значит, и все мы это можем.

По правде говоря, мне, как и моему мужу, ад представлялся более знакомым, чем рай, но ведь когда-то райский свет неизменно согревал мне душу. И вот сейчас я устремила все помыслы навстречу этому свету – в надежде, что он согреет и художника.

– В детстве, – начала, чтобы заполнить тишину, подыскивая нужные слова, – я думала, что Бог – это свет. То есть... мне говорили, что Он везде, но я ни разу Его не видела. Однако те, кто был исполнен Его благодати, всегда изображались с нимбами золотого света вокруг головы. Когда Гавриил заговорил к Марии, его слова вошли ей в грудь солнечной рекой. Ребенком я любила сидеть и смотреть, как солнце в определенную пору дня проникает сквозь окно, как его лучи, преломляясь в стекле, рассыпают по полу золотые пятнышки. И я

представляла себе, что это Бог, проливающийся целым ливнем доброты, и в каждой золотой пылинке, помимо самого света, содержится и целый мир, и Бог. Помню, от одной мысли об этом меня бросало в дрожь. Позже, когда я читала Данте, я находила в «Рае» строки, где, мне казалось, говорилось примерно о том же самом...

Я все еще глядела на него, и вдруг он заговорил.

– Не свет, – сказал он тихо. – Для меня это был не свет. Мои пальцы замерли на странице.

– Это был холод. Он замолк.

– Холод? – переспросила я. – Как это?

Он сделал глубокий вдох, как будто это был первый глоток воздуха за очень долгое время, и потом выдохнул, так ничего и не сказав. Я ждала. Он снова попытался, и на этот раз полились слова.

– Было холодно. Там, в монастыре. Иногда задувал ледяной ветер с моря... Он замораживал кожу на лице. Однажды зимой снега выпало столько, что мы не могли выйти через двери к дровяному сараю. Один монах выпрыгнул из окна. Он провалился в сугроб и долго не мог оттуда выбраться. В ту ночь меня уложили спать возле печки. Я был маленький, худой – как трубочка березовой коры. А потом и огонь в печке потух. Отец Бернард взял меня в свою келью... Это он первый дал мне уголек и бумагу. Он был так стар, что глаза у него постоянно слезились. Но он никогда не грустил. Зимой у него было меньше одеял, чем у всех остальных. Говорил, они ему не нужны: его Бог согревает.

Я слышала, как он сглатывает: пока он говорил, в горле у него пересохло. Эрила оставила ему подслащенного вина на столике возле кровати. Я наполнила кубок и поднесла ему ко рту. Он сделал несколько глотков.

– Но в ту ночь даже отец Бернард мерз. Он уложил меня на кровати рядом с собой, завернул меня в звериную шкуру, а потом прижал к себе. Он рассказывал мне об Иисусе. О том, что Его любовь могла пробуждала мертвых, что, неся Его в своем сердце, можно обогреть целый мир... Когда я проснулся, было светло. Снег прекратился. Мне было тепло. Но *он* был холодным. Я отдал ему шкуру, но его тело окоченело. Я не знал, что мне делать. И тогда я достал из его сундука под кроватью листок бумаги и нарисовал его лежащим. На лице у него была улыбка. Я знал, что, когда он умер,

здесь был Бог. И что теперь Он во мне и благодаря отцу Бернарду мне всегда будет тепло.

Он снова сглотнул, и я снова поднесла кубок к его губам. Он сделал еще глоток, потом лег и закрыл глаза. Мы были с ним в келье того монаха, дожидаясь, когда же смерть снова претворится в жизнь. Я представила себе сундук под кроватью отца Бернарда и принесла с рабочего стола бумагу и уголь, приготовленный в ожидании той поры, когда пальцы художника вновь обретут способность к работе.

Я положила бумагу и уголь ему на колени.

– Я хочу увидеть, какой он был, – заявила я твердо. – Нарисуй его. Нарисуй мне своего монаха.

Он поглядел на бумагу, потом на свои руки. Я увидела, как шевельнулись его пальцы. Он приподнялся на постели. Потянулся правой рукой к толстому округлому куску угля и попытался обхватить его пальцами. Я увидела, как он морщится от боли. Я подложила книгу под листок и положила ему на колени.

Он посмотрел на меня. Лицо его вновь исказило отчаяние.

Я решила на сей раз действовать жестко.

– Он подарил тебе свое тепло, художник. Это самое меньшее, чем ты можешь отблагодарить его, прежде чем умрешь.

Он занес руку над листом. Линия началась, затем сорвалась. Уголь выскользнул из его руки и упал на пол. Я подобрала его и снова вложила ему в пальцы. Потом мягко взяла его руку в свою, переплела его пальцы со своими, стараясь не прикасаться к ране, пытаюсь сообщить ему крепость собственных мышц, которой ему не доставало. Он снова резко выдохнул. Первые несколько штрихов я сделала вместе с ним, позволяя ему вести линию. Медленно, с большим трудом, рождались под нашими пальцами очертания человеческого лица. Через некоторое время я почувствовала, что его пальцы окрепли, и отняла свои. И стала наблюдать, как, преодолевая боль, он сам заканчивал рисунок.

На бумаге проступало лицо старика с закрытыми глазами, с улыбкой на губах, которое пусть и не светилось Господней любовью, но в котором все же не было и застывшей пустоты.

Усилия утомили его, и, закончив набросок, он выпустил уголь, посерев от боли.

Я взяла со стола кусок хлеба и, размочив в вине, поднесла к его губам.

Он принялся медленно жевать, слегка покашливая. Я подождала, когда он проглотит этот кусок, а потом дала ему другой. Так, понемногу, он ел, крошка за крошкой, глоток за глотком.

Наконец он затряс головой. Еще немного – и его затошнит.

– Мне холодно, – проговорил он, не открывая глаз. – Мне снова холодно.

Я забралась на кровать и улеглась рядом с ним. Подложила свою руку ему под голову, и он отвернулся от меня, свернувшись, как дитя, клубком в моих объятьях. Я прильнула к нему. Так мы лежали вместе, и он согревался моим теплом.

Немного погодя я услышала его ровное дыхание и почувствовала, как его тело обмякло, расслабилось. Я ощущала покой и настоящее счастье. Если бы я не боялась уснуть сама, то, наверное, так и пролежала бы с ним до раннего утра, а потом потихоньку выскользнула бы, пока весь дом еще спит,

Я начала осторожно выпрастывать правую руку из-под его головы. Но мое движение потревожило его, он слегка застонал, перевернулся во сне, придавив меня к кровати плечом и головой, и перебросил через меня другую руку.

Пришлось ждать, пока он снова затихнет. Теперь его лицо, освещенное мерцанием масляной лампы, оказалось совсем близко к моему. Голод заострил его черты, кожа казалась почти прозрачной, скорее девической, чем юношеской. Щеки были впалыми, но, что любопытно, губы оставались полными. О работе его легких я могла судить по его мерному дыханию, касавшемуся моего лица. Эрила с Филиппо хорошо потрудились: его кожа пахла теперь ромашкой и другими травами, а к дыханию примешивался запах сладкого вина. Я поглядела на его губы. Мой муж однажды легонько поцеловал меня в щеку, стоя на пороге. Это единственный мужской поцелуй, какой мне доведется испытать за всю жизнь. Да, меня будут брать, со мной будут спариваться до тех пор, пока я не произведу на свет наследника, но в том, что касается нежности и страсти, я навсегда останусь девственницей. Или, выражаясь словами мужа, мое удовольствие будет моим собственным делом.

Я приблизила свое лицо к его лицу. Его дыхание обдувало меня теплыми волнами. На этот раз его близость не вселяла в меня дрожь. Она придавала мне смелости. Тело его было таким сухим, что на коже виднелись трещинки. Я сунула пальцы в рот, чтобы смочить их. Сама моя горячая слюна показалась мне преступной. Я легонько провела влажными кончиками пальцев по его губам. И это прикосновение обдало меня всю жарким током, пронзив до самого нутра, и одновременно напомнило мне сладкий телесный трепет, настигший меня в тот миг, когда я ощупывала свою сокровенную рану. Удары сердца отдавались в ушах, как в тот день, когда я ожидала Бога, сидя в лучах солнца, и не обрела Его. Не во всяком тепле есть откровение. Иной раз его нужно старательно выискивать. Я переместила пальцы с лица на его грудь. Рубаха, которую ему нашли, оказалась велика для его исхудалого тела и сползла, обнажив плечи. Кончик моего пальца касался его словно тонкая кисточка. Мне вспомнился собственный восторг при виде яркой полосы моей собственной крови в темноте той ночи, и вдруг я представила себе, как от меня к нему перетекают разные краски: под прикосновением моего пальца его кожа переливалась различными цветами – то индиго, то дикого шафрана. Его тело было горячим. Он забормотал что-то, когда я коснулась его, пошевелился во сне. Мои пальцы замерли, помедлили, затем снова пришли в движение. Шафран превратился в огненную охру, затем в багрец. Скоро он весь расцветет яркими красками.

Я приблизила к его губам свои. А чтобы у вас не оставалось никаких сомнений, могу заявить, что я прекрасно понимала, что делаю. И страха у меня не было. Мои губы встретились с его губами, и от их плотской мягкости все во мне перевернулось. Я почувствовала, как он пошевелился, а потом с глухим стоном разомкнул губы, и вот уже мой язык прильнул к его языку.

Он был так худ – мне казалось, что я обнимаю ребенка. Я скользнула поверх него и, когда наши тела прижались друг другу, почувствовала, как его уд поднимается навстречу моему бедру. Где-то внутри меня зажглась и начала разгораться искорка. Я пыталась сглотнуть, но во рту пересохло. Казалось, вся моя жизнь сосредоточилась теперь в одном вздохе. А, набрав воздуха в грудь, что мне делать потом? Поцеловать его еще раз – или совершить усилие и оторваться от него?

Я так и не решила, что будет правильнее. Потому что теперь *он* двигался – забирался на меня, целовал меня снова, и язык его, неуклюжий и нетерпеливый, весь источал вкус его самого. И вот мы уже действовали заодно, задыхаясь и стремясь навстречу друг другу, и нутро у меня горело, а кожа превратилась в один оголенный нерв. То, что последовало затем, произошло так быстро, его пальцы, бродившие по моему телу, были так неверны и неловки, что, когда он нащупал-таки путь к моему лону, я даже не помню, что именно испытала – стыд или наслаждение, но точно помню, что вскрикнула так громко, что сразу же испугалась, как бы нас не обнаружили.

И помню точно, что, когда я подобрала сорочку и помогла ему проникнуть в себя, он впервые раскрыл глаза и в тот краткий миг мы взглянули друг на друга, не в силах дольше притворяться, будто ничего не происходит. И было в этом взгляде столько света, что я подумала: пусть это заблуждение – оно не есть грех, и если человек нас не простит, зато Бог простит непременно. И я до сих пор в это верю, как верю и в правоту Эрилы, сказавшей как-то: иной раз невинность таит в себе больше ловушек, чем искушенность, хотя, знаю, найдутся многие, кто скажет, что такие мысли лишь доказывают глубину моего падения.

Когда все кончилось и он лежал на мне, переводя дух после своего второго рождения, я обнимала его и разговаривала с ним, как с ребенком, ни о чем и обо всем, лишь бы не дать прежнему страху вернуться к нему. Наконец, у меня закончились слова, и вдруг пришли строки последней песни, и я принялась декламировать, не думая, какой ересью они звучат в моих устах в этот миг:

*Я видел – в этой глубине сокровенной
Любовь как в книгу некую сплела
То, что разлистано по всей вселенной:
Суть и случайность, связь их и дела,
Всё – слитое так дивно для сознания,
Что речь моя как сумерки тускла.*

Вернувшись к себе в комнату, я стала мыться. Будь у меня в запасе время, я бы передумала тысячу разных вещей.

– Где вы были?

Я подпрыгнула как ужаленная:

– Ах, Эрила! Господи, как ты напугала меня!

– Прекрасно. – Я никогда не видела ее в таком гневе. – Где вы были?!

– Я... э... Художник... Художник проснулся. Я... мне показалось, что ты спишь. И я... я сама пошла посмотреть, что с ним.

Она глядела на меня, и презрение ясно читалось на ее лице. Волосы у меня были в беспорядке, лицо пылало. Я отложила полотенце и поправила рубашку, не поднимая глаз.

– Я... м-м-м... я уговорила его немного поесть и выпить вина. Сейчас он спит.

Она двинулась на меня, схватила за плечи и принялась трясти так сильно, что я вскрикнула. Никогда раньше, сколько я себя помнила, она не делала мне больно. Прекратив меня трясти, она не выпустила мои руки, а цепко впиалась пальцами в мое тело.

– Посмотрите на меня. – Она снова затрясла меня. – Посмотрите на меня.

Я посмотрела. И она долго, долго глядела мне в глаза, словно не верила тому, что видит.

– Эрила, – взмолилась я. – Я...

– Не лгите мне!

Я замолкла на полуслове.

Она снова меня затрясла, а потом неожиданно выпустила.

– Вы что – не слышали ничего из того, что я вам твердила? Что? Вы думаете, я для своего блага стараюсь?

Она схватила полотенце, упавшее рядом с тазом, и окунула его в воду. Затем задрала на мне рубашку и принялась тереть мне кожу – грудь, живот, ноги, между ног, в паху, грубо, делая мне больно, как мать, борющаяся со строптивым чадом. И я заплакала – от боли и от страха, но это ее не остановило.

Наконец, закончив свое дело, она швырнула полотенце обратно в таз, а мне бросила другое. И стала наблюдать, как я, насупившись, вытираюсь: всхлипывая, глотая слезы, пересиливая стыд.

– Ваш муж вернулся.

– Что? Боже мой! Когда? – И мы обе расслышали ужас в моем голосе.

– Около часа назад. Разве вы не слышали конского топота?

– Нет. Нет.

Она громко фыркнула:

– Ну а я слышала. Он спрашивал про вас.

– Что ты ему сказала?

– Что вы утомились и спите.

– Ты ему рассказала?

– Что именно? Нет, я ничего ему не рассказывала. Но не сомневаюсь, что за меня это сделают слуги – если уже не сделали.

– Что ж, – сказала я, стараясь говорить уверенным тоном, – тогда я... Я поговорю с ним завтра.

Она уставилась на меня. Потом гневно тряхнула головой:

– Да вы и впрямь ничего не понимаете, а? Боже милостивый, значит, мы с вашей матерью так ничему вас и не научили? Ведь женщинам нельзя вести себя так же, как мужчинам. Ничего не выйдет. За это мужчины уничтожают их.

Но я теперь была так напугана, что мне вдруг показалось, что все ополчились против меня.

– Он сказал мне, что я вольна жить как мне вздумается, – сердито заявила я. – Это часть нашего уговора.

– Ах, Алессандра, да как же вы можете быть такой дурочкой? Нет у вас никакой жизни. Жизнь есть только у него. Это он может спать с кем хочет и когда хочет. И никто его за это не осудит. А вас осудят.

Я села, присмирив.

– Я... Я не...

– Нет. Не надо! Не лгите мне опять! Я подняла взгляд.

– Так вышло, – сказала я спокойно.

– Так вышло? О... – выдохнула она, заходясь смехом и яростью одновременно. – Да, так оно всегда и бывает.

– Я не... То есть никому и не нужно об этом знать. Он не расскажет. Ты тоже.

Она досадливо вздохнула, как будто перед ней ребенок, которому надо втолковывать одно и то же сотню раз. Она развернулась и принялась шагать по комнате, унимая тревогу. Наконец остановилась и повернулась ко мне:

– Он кончил?

– Что?

– Он кончил? – Она замотала головой. – Алессандра, если б вы понимали простые слова так же быстро, как ученые, вы могли бы городом править! Его семя пролилось в вас?

– Э... Я... Не знаю. Наверное. Пожалуй, да.

– А когда у вас последний раз были месячные?

– Не помню. Дней десять, может, недели две назад.

– А когда вам последний раз засовывал муж? Я опустила голову.

– Алессандра! – Эрила, которая почти никогда не называла меня по имени, теперь без конца твердила его. – Мне нужно знать.

Я поглядела на нее и снова расплакалась.

– В последний раз... В последний раз – в брачную ночь.

– О, Господи Иисусе! Что же, придется ему проделать это снова. Как можно скорее. Вы сможете это устроить?

– Наверное. Мы с ним давно об этом не говорили.

– Что ж, поговорите об этом сейчас. И пускай поспешит. Отныне вы не будете входить в комнату к художнику без провожатых. Вы меня слышите?

– Но...

– Нет! Никаких «но»... Вы двое были обречены, как только поглядели друг на друга в первый раз, только вы были еще слишком юны, чтобы это понять. Вашей матери вообще не следовало пускать его в дом. Что ж, теперь слишком поздно. Ничего страшного. А он, раз уж нашел дорогу к вашей щелке, теперь, надеюсь, выкарабкается из своей болезни и скоро встанет на ноги. Воскреснув таким манером, мужчина снова обретает вкус к жизни.

– Ах, Эрила, ты не понимаешь, все было совсем не так.

– Не так? А как? Он попросил у вас разрешения или вы ему сами предложили?

– Нет, – сказала я твердо. – Это я начала. Я во всем виновата.

– А он что же? Он ничего не делал? – Тут, кажется, она почувствовала облегчение, видя, что ко мне вернулось присутствие

духа.

Я пожала плечами. Она снова бросила на меня суровый взгляд. Потом подошла, грубо стиснула меня в объятьях, тесно прижала к себе и закудаhtала надо мной, как курица над цыпленком. И я поняла, что если когда-нибудь она снова меня покинет, то с нею вместе меня покинет и отвага.

– Сумасшедшая, глупая девчонка, – бормотала она мне на ухо ласковую брань, а потом чуть отстранила меня, не выпуская из рук, погладила по щеке и откинула спутанные волосы с моего лба, чтобы получше меня рассмотреть. – Ну вот, – сказала она. – Наконец-то это с вами произошло! И как? Услышали вы райскую музыку?

– Я... нет, наверное, – прошептала я в растерянности.

– Ну, это оттого, что это нужно проделать много раз. Они медленно учатся, мужчины. Все в них – пыл, жар и спешка. У большинства так ничего лучшего и не выходит. Они просто рвутся к цели. Но встречаются и такие, у кого хватает смирения учиться. Только нельзя им показывать, что это ты их учишь. А поначалу нужно самой добывать себе наслаждение. Вы умеете?

Я нервно рассмеялась:

– Не знаю... Наверное. Но... Я не понимаю, Эрила. Что ты мне пытаешься сказать?

– Я пытаюсь вам сказать, что если вы собираетесь нарушать правила, то должны научиться это делать лучше всех – лучше всех тех, кто их соблюдает. Только так вы обыграете их в их же игре.

– Не знаю, сумею ли я... Разве что ты мне поможешь? Она тоже рассмеялась:

– А разве когда-нибудь я вам не помогала? А теперь залезайте в постель и спите. А вот завтра вам придется пошевелить мозгами. Вернее, всем нам.

Он сидел за столом, читал и пил вино. Утро было еще раннее, но солнце уже припекало. Мы не виделись уже много недель. Не знаю, изменилась ли я за это время, но в то утро, разглядывая свое лицо в зеркале, я не увидела сколько-нибудь явных перемен. Зато он стал другим. Морщины вокруг рта стали резче, что придавало его лицу недовольное выражение, кожа покраснела. Любой, даже молодой, кто решился бы потягаться силами с моим братцем, измотался бы, – что уж говорить о старике. Я села напротив, и он поздоровался со мной. Я понятия не имела, о чем он думает.

– Здравствуй, жена.

– Здравствуйте, муж мой.

– Хорошо ли тебе спалось?

– Да, благодарю. Извините, что я не вышла встретить вас. Он махнул рукой:

– Ты полностью выздоровела от своего... расстройства?

– Да, – ответила я. И добавила немного погодя: – Я занималась живописью.

Тут он поднял глаза, и, готова поклясться, я заметила в его взгляде удовольствие.

– Это хорошо. – Он снова уткнулся в свои бумаги.

– Мой брат с вами? Он взглянул на меня:

– А что?

– Я... м-м... хотела поприветствовать его, если он здесь.

– Нет, нет. Он отправился домой. Он плохо себя чувствует.

– Надеюсь, ничего страшного.

– Полагаю, что нет. Просто легкая лихорадка. Другого столь же удобного случая мне не подвернется.

– Мессер, я хочу кое-что вам сообщить.

– Да?

– У нас в доме гость.

На этот раз он поднял голову:

– Я слышал об этом.

Я рассказала ему очень простую историю, основной упор сделав на искусство и красоту: о чудесах, которые умел творить художник, и

его страхе, что больше не сможет их творить. Пожалуй, у меня получилась складная и убедительная история, хоть я и волновалась больше, чем мне хотелось бы. Он не сводил с меня глаз ни на секунду, даже когда я закончила рассказ, и между нами пролегла тишина.

– Алессандра... Ты помнишь наш первый разговор с тобой? В ночь нашей свадьбы,

– Помню.

– Тогда, может быть, ты припомнишь, что я попросил тебя тогда о ряде вещей, а ты, как я помню, согласилась. И среди этих вещей было благоразумие.

– Да, но...

– Неужели ты вправду думаешь, что это было благоразумно с твоей стороны? Привезти полоумного человека с другого конца города, ночью, к себе в палатку, да еще в отсутствие мужа! И разместить его в комнате рядом со своей спальней.

– Он же был болен... – Я осеклась. Я понимала: возражать бессмысленно. Даже по мнению Эрилы, я пренебрегла всеми мыслимыми приличиями. – Простите, – сказала я. – Я теперь и сама вижу, что могла опорочить вас. Пускай даже он не...

– Алессандра, дело же не в нем! Дело в том, как на все это посмотрят люди. Дорогая моя, теперь же весь наш город погряз в предрассудках. Для досужих горожан главное – не сами вещи, а мнение о них. И ты достаточно умна, чтобы понимать это не хуже меня.

Он умолк.

– Так ему нельзя здесь оставаться? – спросила я через некоторое время, скорее утверждая, чем задавая вопрос.

– Нет, нельзя.

– М-м... мне кажется... ему уже лучше. – Я слышала от Эрилы, что утром он немного поел. – Наверное, ему не терпится вернуться в дом моих родителей. Ему надо закончить работу. Он чудесный художник, Кристофоро. Когда вы увидите расписанный им алтарь, вы сами поймете.

– Не сомневаюсь. – Он отпил вина. – Не будем больше об этом говорить. – Он осторожно поставил на место кубок и некоторое время молча глядел на меня. – А теперь я тебе кое-что расскажу. – Он немного помолчал. – Вчера двоих моих знакомых схватили по

подозрению в непристойном прелюбодеянии. Их обвинили по доносу, брошенному в ящик в церкви Санта Мария Новелла. Их имена не имеют значения, хотя вскоре ты их услышишь, потому что оба происходят из родовитых семей. – Он снова помолчал. – Хоть и не таких родовитых, как наша.

– Что с ними будет?

– Их подвергнут допросу и пыткам, чтобы подтвердить обвинения и раздобыть новые имена – имена их товарищей. Ни у одного из них нет прямых оснований указывать на меня... Однако, дернув за одну ниточку, недолго и всю одежду распустить.

Не удивительно, что мой проступок разгневал его. С другой стороны, Эрила на моем месте нашла бы в таких обстоятельствах не только опасность, но и выгоду.

– Что ж, мессер, быть может, нам следует заручиться более надежной защитой для вас. – Я сделала паузу. – Сможет ли беременность жены восстановить в глазах общества вашу репутацию?

Он криво улыбнулся:

– Разумеется, беды она ей не нанесет. Но ты же не беременна. Если только я правильно понял слова твоей невольницы. А она изъяснялась весьма доходчиво.

– Да, – сказала я, припомнив ложь Эрилы. – Я не беременна. Но раз я понесла однажды, то смогу понести снова. – Я помолчала еще чуть-чуть. – Сейчас у меня благоприятные дни.

– Понимаю. А ты была бы... Ты была бы рада этому?

Я поглядела ему прямо в глаза и некоторое время не отводила взгляда.

– Да, – ответила я, – я была бы этому рада.

И я медленно перегнулась через стол и легонько поцеловала его в лоб, а потом вышла из его комнаты и вернулась к себе.

Не буду утомлять вас подробностями нашего второго соития. Своей сдержанностью я не пытаюсь ни раззадорить, ни заинтриговать. Будь у меня что прибавить к описанию первой ночи, я бы сделала это с удовольствием. Чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь в том, что молчание, окружающее подобные дела, лишь порождает множество домыслов и недоразумений. Но в тот раз между нами уже не было никаких недоразумений. Мы просто выполняли деловое соглашение, заключенное между супругами. И на сей раз мой муж

проявил достаточно уважения и заботливости, так что, по крайней мере, я почти ощущала себя равной.

В отличие от первой ночи он не ушел сразу. Напротив, мы подружески побеседовали об искусстве, о жизни и государственных делах, освежаясь при этом напитками. И вновь получили взаимное удовольствие от нашего союза, пускай в основе его лежала близость не плотская, а духовная.

– Откуда вы узнали? Ведь об этом пока даже сплетен нет.

– Нет? Ну, так скоро будут. Такие вещи невозможно долго держать в тайне.

– А Савонарола послушается?

– Алессандра, поставь себя на его место. Ты – непререкаемый правитель города. Флоренция подхватывает каждое твое слово. С кафедры править куда удобнее, чем из Дворца Синьории. И вот твой заклятый враг, Папа, запрещает тебе проповедовать под страхом отлучения. Как бы ты поступила?

– Наверное, это бы зависело от того, чьего суда я боялась бы больше – папского или Божьего.

– А тебе не пришло бы в голову, что допускать, будто между тем и другим существует какая-то разница, – уже ересь?

– Ну, положим, *мне* бы пришло. Но представим сейчас, что я – Савонарола. А он в такие тонкости не вдается. Бог для него всего важнее. Впрочем... – прервала я сама себя, – когда дело доходит до государственных вопросов, он не глупец. Но ведь не глупец и Папа.

– Ну так могу тебе сообщить еще кое-что: кроме кнута заготовлен уже и пряник.

– А именно?

– Кардинальская шапка – на случай, если он согласится.

– О! – Я задумалась. – Нет. Он ее не примет. Он, может быть, и юродивый во Христе, но он не лицемер. Он клеймит продажную Церковь. Принять кардинальскую шапку – все равно что взять тридцать сребреников за предательство Христа.

– Что ж, увидим.

– Кристофоро, откуда вы все это знаете? – спросила я восхищенно.

Он немного помолчал.

– Ну, не всё же время я провожу в блуде с твоим братом. Я опешила.

– Но... но я и не знала, что вы причастны к подобным вещам, – сказала я, вспомнив, что мне когда-то рассказывала про него матушка.

– В такие времена, как нынче, лучше заниматься подобными вещами именно так, ты не согласна? – Он помолчал. – Самая надежная оппозиция – та, которой нет, – до поры до времени.

– В таком случае остерегайтесь и не доверяйтесь каждому.

– Что я и делаю, – ответил он, внимательно на меня глядя. – Или тебе кажется, я совершил ошибку?

– Нет. – Мой голос не дрогнул.

– Вот и хорошо.

– Все равно, будьте осторожны. Ведь теперь вы враг не только морали, но и государства!

– Верно. Хотя подозреваю, что когда подо мной подпалят солому, то сожгут отнюдь не за политические взгляды,

– Не говорите так, – сказала я. – Этого не случится. Сколь бы могуществен он ни был, не может же он вечно сопротивляться Папе. Найдется много набожных флорентийцев, которым не захочется слушать проповеди священника, отлученного от Церкви.

– Ты права. Хотя Папе придется осторожно выбрать момент. Стоит слишком поспешить – и он возбудит в народе еще большее негодование. Ему нужно выждать, пока тут все само не затрещит по швам.

– Ну, тогда придется стать долгожителем, – сказала я. – Я пока не вижу ни одной трещины.

– В таком случае, жена, ты ненаблюдательна.

– Вы бы видели тех воинов Христовых, которые остановили нас с художником на улице... – Я заметила, что его лицо омрачилось. – Да нет же, они понятия не имели, кто мы такие. Эрила насмерть их перепугала, помянув французские язвы.

– Ах да, язвы. Значит, наши спасители французы принесли с собой не одну только свободу.

– Да, но этого еще недостаточно, чтобы нанести удар по его власти.

– Одного этого – нет. Но что, если лето выдастся настолько же жарким, насколько морозной была зима? Что, если не выпадет дождь и

урожай погибнет? Наш город слишком ревностно предается благочестию, чтобы заботиться о хлебе насущном, и теперь у него осталось куда меньше запасов на случай бедствия, чем прежде. И, невзирая на все усилия его Божьего воинства, по городу до сих пор бродит безумец, который душит людей их собственными кишками.

– Еще одно тело?! Он пожал плечами:

– Об этом еще мало кто знает. Вчера утром стражники при церкви Сайта Феличита наткнулись на человеческие останки, разбросанные по алтарю.

– О-о...

– Однако, когда они вернулись туда с подмогой, останки исчезли.

– Значит, это его сторонники избавились от трупа?

– От какого трупа? Вещи и мнение о них – помнишь? Когда Савонарола еще противостоял власти, подобное святотатство было бы для него подарком свыше. Теперь же оно чревато народным возмущением. Или даже хуже. Ты сама подумай. Если Флоренция – Божья республика, но Бог жесток к Флоренции, то пройдет еще совсем немного времени, прежде чем его нынешние сторонники начнут прилюдно задаваться вопросом, а правильное ли благочестие проповедует Монах.

– Вам это кажется – или точно известно? – спросила я. – Оппозиция, даже та, которой нет, должна прислушиваться не только к внутреннему голосу, но и слушать голоса извне.

Он улыбнулся:

– Посмотрим. Ну, так скажи мне теперь, Алессандра, что ты чувствуешь?

Что я чувствовала? За последние несколько часов я побывала в объятиях двух мужчин. Один утолил голод моего тела, второй – моего ума. Если Савонарола и впрямь – посланец Бога на земле, я уже должна была бы чувствовать жар от языков пламени, лижущего мне пятки. Но вместо этого, напротив, я ощущала удивительный покой.

– Я чувствую... наполненность, – ответила я.

– Что ж, я слышал, что раннее лето – удачное время для зачатия, если муж с женой сходятся не в похоти, а в почтительной любви. – Он помолчал. – Будем же молиться о нашем будущем.

Художник покинул наш дом на следующее утро, на заре. Эрила виделась с ним перед этим. Потом она сказала мне, что он был спокоен

и вежлив с ней и позволил ей в последний раз промыть и смазать ему руки. Раны уже начали затягиваться, и хотя он все еще был слаб, но съел достаточно, чтобы твердо держаться на ногах, казалось, к нему отчасти вернулось присутствие духа. Напоследок Эрила вручила ему ключи от часовни. Мои родители должны были отсутствовать еще несколько недель, последнее письмо от них извещало, что отцу на водах становится лучше. Теперь художник либо соберет всю свою волю, все силы и переделает фрески – либо нет. Я больше ничем не могла помочь ему.

После того как он ушел, я, лежа у себя в комнате, долго размышляла, какого ребенка мне хочется больше: склонного к государственным делам или к живописи.

Завещание сестры Лукреции
Монастырь Санта Вителла, Лоро-
Чуфенна,
Август 1528
Часть третья

Мой муж оказался прав в отношении многого, что случилось в последующие месяцы. В том числе и в отношении погоды. Лето, горячее и зловонное, как лошадиное дыхание, ворвалось в город, и он наполнился душным смрадом. Там, где два года назад плавали скамьи из церкви Санта Кроче, потоком весенних ливней снесенные к Собору, на тех же самых улицах бесновались теперь пыльные бури, поднимаясь вослед дребезжащим телегам.

В масличных рощах завязавшиеся плоды сморщились и усохли, сделавшись похожими на козий помет, а земля в полях покрылась коркой тверже льда. От августа к сентябрю зной только нарастал, и слово «засуха» все чаще сменялось словом «голод». Без воды «ангелы» Савонаролы не могли блюсти чистоту. Но и работы у них убавилось. Для греха было слишком жарко. Да и для молитвы тоже.

Папа Римский поступил в точности так, как предрек мой муж: повелел Савонароле прекратить проповеди. Предложенную втихомолку кардинальскую шапку Монах отверг, публично заявив, что ему куда больше подошла бы совсем другая шапка – «красная от крови». И все же Савонарола сумел оценить важность момента и потому удалился к себе в келью, чтобы испросить совета у Бога. Даже мой муж с похвалой отозвался о его проницательности. Однако кто знает, была ли то политическая хитрость или искреннее благочестие? Слишком уж перепутались в сем святом человеке самонадеянность и смирение.

Погода, борьба за власть – всё это мой муж предсказал верно. Прав он был и насчет раннего лета. Эта пора и впрямь оказалась благоприятной для зачатия.

Я лежала в своей темноватой комнате и днем и ночью извергала содержимое своего желудка в миску возле кровати. Меня еще никогда в жизни так не тошнило. Началось это спустя две недели после того, как прошел срок очередных месячных. Однажды утром я проснулась и попыталась встать с постели, но ноги подо мной подкосились, желудок, казалось, подкатил к самому горлу, и меня вырвало прямо на пол. Я даже до двери не сумела пройти. Когда появилась Эрила, меня уже рвало желчью, потому что к тому времени больше было нечем.

– Поздравляю.

– Я умираю.

– Не умираете. Вы беременны.

– Не может быть! Это болезнь, а не ребенок. Она рассмеялась:

– Радуйтесь! Раз вас так сильно тошнит, значит, плод хорошо укрепился. Женщины, которые ничего такого не чувствуют, часто выкидывают уже к концу третьей луны.

– А те, кому повезло больше? – спросила я между рвотными позывами. – Сколько это длится?

Эрила покачала головой, протирая мой лоб влажной тряпицей.

– Благодарите Бога за свое крепкое здоровье, – сказала она весело. – Оно вам пригодится.

Теперь тошнота поглощала все мое время. Бывали дни, когда я едва могла говорить из-за того, что все время сосредоточенно прислушивалась к себе, следя, не наполняется ли рот слюной. И в этом была своя польза. Я перестала думать о художнике, представлять, как его пальцы касаются стены, а его тело – моего тела. Я перестала удивляться мужу и даже негодовать на брата. И – впервые в жизни – я не тосковала по свободе. Дом оказался для меня слишком просторным миром.

Мой недуг чудесным образом изменил мое положение в глазах слуг. Если раньше я держала себя дерзко и самоуверенно, то теперь едва ползала. Зато они прекратили перешептываться у меня за спиной и принялись расставлять по всему дому плошки и тазы, ведь тошнота могла застигнуть меня в любом месте. Они даже стали подходить ко мне с разными советами. Я ела чеснок, жевала имбирь, пила земляничный чай. Эрила прочесала все аптеки в городе, выискивая для меня различные снадобья. Она так долго проторчала в лавке Ландуччи рядом с палаццо Строцци, что даже завязала знакомство с ее владельцем – человеком, чья страсть к сплетням была под стать ее собственной. Он прислал мне травы и засушенные кусочки каких-то зверушек, посоветовав делать припарки к животу. Пахла эта смесь еще хуже того, что извергал мой организм, хотя, пожалуй, она принесла мне небольшое облегчение. Но лишь на несколько дней. Мой муж, который теперь был полностью поглощен вещами, которых якобы не существовало, так встревожился, что даже пригласил врача. Тот дал мне питье, от которого меня затошнило пуще прежнего.

Меня тошнило так долго, что к середине сентября даже Эрила перестала надо мной подтрунивать. Наверное, она испугалась, что я могу умереть. Иногда мне становилось до того плохо, что я бы с радостью приветствовала такой исход. Бесконечные страдания настроили меня на мрачный лад.

– Я иногда думаю об этом ребенке... – призналась я ей как-то ночью, когда она сидела возле моей кровати, обмахивая меня веером, чтобы разогнать страшный зной, липший к моей коже горячим сырým одеялом.

– Думаете что?

– А вдруг моя тошнота – это наказание? Зловещий знак. Может быть, этот ребенок и впрямь от дьявола.

Она расхохоталась:

– Если так, то неужели вы и с ним успели наблудить в ту ночь?

– Нет, Эрила, я серьезно. Ты...

– Послушайте! Знаете, какая худшая беда могла бы с вами случиться? Ваша жизнь могла бы протекать тихо и мирно, так что вам не о чем было бы и вспомнить. Вы же притягиваете события, как собачий труп – мух. И, если только я не ошибаюсь, с вами так будет всегда. Это и беда ваша, и радость. А что касается ребенка от дьявола... Не смешите меня: если бы он захотел завести себе наследника в этом городе, то нашел бы себе тысячу невест много достойнее вас.

На той же неделе пришла навестить меня Плаутилла. Должно быть, весть о моем положении дошла до всех.

– Ах, да ты только погляди на себя! Выглядишь ужасно. С лица совсем спала. Впрочем, тебе же всегда нравилось быть в центре внимания. – Но сестра обняла меня так крепко, что я почувствовала: она искренне беспокоится. Плаутилла снова была беременна и ела за двоих. – Бедняжка, – продолжала она. – Ну да ничего – скоро ты будешь попивать сладкие вина и лакомиться жареными голубями. А наш повар пришлет тебе рецепт очень вкусного сливового соуса.

Я почувствовала во рту омерзительную слюну и, помня о своей паразитической меткости в последнее время, задумалась, стошнит ли меня ей прямо на колени или только на башмаки.

– Как поживает Иллюмината? – спросила я, чтобы отвлечься от таких неуместных мыслей.

– О, ей отлично живется в деревне.

– Ты по ней не скучаешь?

– Я ездила к ней в августе. Но там ей гораздо лучше, чем было бы здесь, в городской пыли и духоте. Ты даже не представляешь, сколько детей сейчас гибнет от жары. Все улицы заполнены крошечными гробиками.

– Ты виделась с братьями?

– Ты не знаешь? Лука теперь начальник отряда.

– А что это значит? Она пожала плечами:

– Понятия не имею. Но у него под началом три дюжины «ангелов», и он даже лично встречался с Монахом.

– Я знала, что уж кто-нибудь из нашей семьи непременно пробьется к власти, – заметила я. – А Томмазо?

– Ах, Томмазо! А ты разве не слышала? Я покачала головой:

– Мне нездоровилось.

– Он болен.

– Не забеременел, надеюсь, – сказала я сладким голоском.

– Ах, Алессандра! – И Плаутилла залилась таким смехом, что у нее щеки запрыгали. Мне бы таких запасов жира на много недель хватило, подумала я. Нахохотавшись, она вздохнула. – На самом деле, говоря, что он болен, я имею в виду... – она понизила голос до шепота, – у него язвы.

– Ах, вот как?

– Именно так. Да ты бы видела его теперь! Он весь покрыт язвами. Бр-р! Он заперся дома и ни с кем не разговаривает.

Тут, могу поклясться, впервые за последние два месяца я почувствовала себя немного лучше.

– А где, любопытно, он их подхватил? Сестра опустила глаза:

– А ты не слышала сплетен?

– Нет, – ответила я.

– Про него?

– И что же про него говорят?

– Ой, мне даже стыдно пересказывать. Ну, скажу лишь, что тем, кого обвиняют в таком же грехе, после пыток отрезают носы и сдирают кожу со спины. Ты можешь поверить в подобное?

– Что ж, – вздохнула я, – наверное, грехи должны существовать, иначе Богу не за что было бы даровать людям прощение.

– Бедная наша матушка! – сказала Плаутилла. – Представь себе, какой позор для нее. Она проводит несколько месяцев в деревне, нянчится с отцом, выхаживает его, а потом возвращается домой и узнает, что ее родной сын... Что ж, можно лишь возблагодарить Бога за то, что хоть кто-то в нашей семье живет праведно.

– Верно. Возблагодарим Бога.

– А ты разве не рада, что идешь теперь правильным путем?

– Рада от всего сердца, – кротко ответила я. – А когда матушка вернулась?

В тот же день я отправила Эрилу к матери с просьбой навестить меня. Наша размолвка длилась уже долго, и какова бы ни была истина – знала она правду о моем муже или нет, – теперь я нуждалась в ее здравомыслии. А о том, что она может принести мне какие-то вести о художнике, клянусь, я подумала лишь позже.

Я постаралась подготовиться к ее визиту. Эрила одела меня. Я велела ей поставить два стула в скульптурной галерее. Ветерок обдувал это просторное помещение, и я подумала, что она должна оценить прохладную красоту камня посреди знойного пекла. Мне вспомнился день, когда мы с ней сидели у меня в спальне и говорили о моем замужестве. Тогда тоже стояла жара, хоть и не такая страшная.

Эрила провела ее в галерею, и, встретившись, мы долго глядели друг на друга. Она постарела за те месяцы, что мы не виделись. Ее некогда безупречно прямая спина начала чуть заметно горбиться, и хотя мать по-прежнему оставалась красивой женщиной, мне показалось, что в глазах у нее немного потускнел прежний огонек.

– На каком ты месяце? – спросила мать, и я поняла, что мой вид потряс ее.

– Последние месячные были у меня в начале июля.

– Одиннадцать недель. О! Ты пробовала мандрагору с семенами?

– Э... нет. Это, пожалуй, единственное, чего я не пробовала.

– Отправь за ней Эрилу. Я сама приготовлю тебе напиток. Почему ты не посылала за мной раньше?

Но у меня не было сейчас сил пускаться в этот разговор.

– Я... я не хотела тревожить вас... Она оказалась смелее меня:

– Нет. Это не причина. Ты так яростно нападала на меня. Если помнишь, я не заставляла тебя выходить за него.

Я нахмурилась.

– Нет, об этом нужно поговорить. Если мы будем молчать, что нас ждет дальше? Скажи мне... Если бы я тогда знала – а я не знала! – но пускай даже я знала бы... Это бы тебя остановило? Ты же так рвалась на свободу.

Я не задумывалась об этом раньше. Действительно, как бы я поступила, если бы все знала заранее?

– Не знаю, – ответила я. – А вы вправду не знали?

– Дитя мое, конечно, я не...

– Но вы же видели его раньше, при дворе. И вы так странно повели себя, когда я об этом упомянула. Я...

– Алессандра, – жестко оборвала она меня. – Не все обстоит на деле так, как представляется на словах. Я была тогда совсем молода. И, несмотря на всю свою ученость, я была очень невежественна. Во многих отношениях и касательно многих вещей.

Как и я, подумалось мне. Значит, все-таки она не знала.

– А когда вы узнали? – спросила я тихо.

– О твоём брате? – Она вздохнула. – Пожалуй, о нём я уже давно и знала, и не знала. О твоём муже? Три дня назад. Томмазо уверен, что умирает. Это не так, но когда красивый мужчина делается таким уродливым, это кажется ему смертельной болезнью. Пожалуй, только теперь он начал сознавать последствия своих поступков. Он обезумел от боли и страха. В начале этой недели он позвал исповедника, чтобы получить отпущение грехов. А потом признался во всем мне.

– А кому он исповедался? – спросила я с тревогой, вспомнив рассказы Эрилы про священников-наушников.

– Другу семьи. Нам нечего бояться. Во всяком случае, не больше, чем остальным в наше время.

Некоторое время мы молчали, пытаясь осмыслить услышанное друг от друга. Я разглядывала ее поблекшие черты. Какой запомнил ее мой муж? Образованной и остроумной красавицей. Неужели такие качества – всегда грех? Неужели Господь всегда карает нас за них?.

– Ну, дитя мое? С тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз, столько перемен произошло. Как тебе живется?

– С ним? Сама видишь. Мы исполнили супружеский долг.

– Да, это я вижу. Я разговаривала с ним, прежде чем к тебе прийти. Он... – Она умолкла. – Я даже не знаю... Он...

– Хороший человек, – договорила за нее я.

– Знаю. Странно, правда?

Мне давно уже хотелось поговорить с матерью вот так, по душам. Встретиться с ней как женщина с женщиной, как с человеком, который прошел до меня тем же путем, пускай даже путь этот пролегал в иных местах.

– А как поживает отец?

– Он... ему немного лучше. Он научился принимать жизнь такой, как она есть. А это уже признак выздоровления.

– А *он* знает про Томмазо? Мать покачала головой.

– А вот Плаутилла знает – и вне себя от возмущения.

– Ах, милая Плаутилла. – Тут я впервые увидела, как она улыбается. – Она всегда любила повозмущаться – даже в детстве. Ну, тут, по крайней мере, возмущение справедливое.

– А вы, матушка? Вы что об этом думаете? Она покачала головой:

– Знаешь, Алессандра, сейчас такие трудные времена. Мне кажется, Господь смотрит на все, что мы делаем, и судит нас не столько по нашим успехам, сколько по тому, насколько упорно мы боремся, когда путь наш оказывается тяжким. Ты молишься, как я тебе велела? Часто ли ходишь в церковь?

– Только тогда, когда уверена, что меня там не вырвет, – ответила я с улыбкой. – Но молиться – да, молюсь.

Я не лгала. В последние месяцы я действительно молилась, лежа в постели и чувствуя, как меня выворачивает наизнанку, и просила о заступничестве, о том, чтобы мое дитя осталось здоровым и невредимым, пускай даже мне самой будет в этом отказано. Бывали мгновенья, когда меня охватывал такой сильный страх, что я переставала понимать, где заканчивается недуг моего тела и начинается болезнь души.

– Тогда ты все вынесешь, дитя мое. Поверь мне, Он слышит каждое слово, обращенное к Нему, даже если нам кажется, что Он не слушает.

Ее слова на время облегчили мою горячку. Тот Бог, что ныне правил Флоренцией, обрек бы меня на веки вечные висеть вместе с моим ребенком на собственных кишках. А Бог, которого я увидела в тот день в глазах моей матери, по крайней мере, различал в человеческих проступках разную степень вины. Значит, я ошиблась, не

оценила глубину материнской мудрости, а теперь сама не осмеливалась себе в этом признаться.

– А про художника вы что-нибудь знаете? – спросила я немного погодя.

– Да. Мне рассказала Мария. Она говорит, что это всё ты. Я рассмеялась:

– Я? Подумать только! Как он? – И впервые за последние месяцы я позволила себе снова представить его лицо.

– Что ж, хоть он по-прежнему не словоохотлив, но, похоже, исцелился от недуга, мучившего его.

Я повела плечами:

– Недуг у него был не страшный. Мне кажется, его просто сломило одиночество и бремя работы.

– М-м-м, – задумчиво протянула мать, как она всегда делала, когда в детстве я рассказывала ей что-нибудь, а она ни-как не могла решить, верить моим словам или нет.

– А часовня?

– Часовня? О, часовня теперь наша радость среди многих печалей. От Успения на потолке дух захватывает. Больше всего поражает лицо Богородицы. – Она сделала паузу. – Особенно тех, кто хорошо знаком с нашим семейством.

Я опустила голову, чтобы она не заметила, как к моим щекам приливает румянец удовольствия.

– Ну, хорошо, что она достаточно высоко. Да и потом – кто меня теперь узнает? Вы не сердитесь?

– Трудно сердиться на красоту, – бесхитростно ответила матушка. – Она исполнена такой неожиданной грации, к тому же, как ты верно заметила, мало кто, кроме нас, усмотрит в ней сходство с тобой. Хотя Плаутилла, разумеется...

– ...будет возмущена. – Тут мы обе улыбнулись. – Хорошо. Так значит, фрески завершены?

– Не совсем. Хотя художник заверяет нас, что они будут готовы к первой мессе.

– А когда будет первая месса?

– Луке не терпится, Томмазо в кои-то веки тоже проявляет рвение, а Плаутилле нравятся пышные торжества. Если мандрагора с семенами

подействует, то, думаю, можно назначить богослужение на начало следующего месяца. Как хорошо будет снова собраться всей семьей!

Хотя было бы приятно сообщить вам, что снадобье моей матери оказалось чудодейственным, правда состоит в том, что на меня оно подействовало не лучше, чем любое другое. А может быть, улучшения следовало ждать дольше.

Я была уже на четвертом месяце и успела так исхудать, что скорее напоминала жертву голода, чем женщину, носящую во чреве дитя, когда тошнота вдруг прекратилась – так же неожиданно, как и началась. Проснувшись однажды утром, я уже нагнулась над миской, приготовившись извергнуть очередную порцию содержимого своего пустого желудка, как вдруг поняла, что меня совсем не тошнит. Голова была ясной, соки в желудке успокоились. Я откинулась на подушку и положила руку на выпуклость, заметную пока одной только мне. – Спасибо, – сказала я. – И добро пожаловать.

Мать попросила нас прибыть на день раньше, чтобы Эрила помогла по хозяйству, а семья могла бы провести немного времени вместе. Лето закончилось, а с ним прекратился и палящий зной, однако засуха продолжалась. Всюду была пыль, она облаками поднималась вослед колесам и лошадиным копытам, окутывая с головы до ног прохожих и заставляя их задыхаться. Кое-кто из путников, встретившихся нам на улицах, не уступал мне в худобе. Полупустые лавки на рынке стояли неммым свидетельством неурожая: овощи и фрукты на прилавках были мелкие и уродливые. Человека со змеей нигде не было видно. Единственными, у кого дела сейчас шли хорошо, оказались ростовщики да аптекари. Язва оставила свой след. Даже счастливых, что исцелились, покрывали рубцы, напоминавшие о болезни.

Домочадцы вышли встретить нас. Не он, нет – он ведь всегда держался в стороне, – Мария, Лодовика и остальные слуги. Все были поражены моим видом, хотя безуспешно пытались не показывать этого. Мать расцеловала меня в обе щеки и отвела к отцу в кабинет, где он проводил теперь все время.

Он сидел за столом перед грудой конторских книг, с увеличительными линзами на носу. Он не слышал, как мы вошли, и мы мгновенно постояли, наблюдая, как он ведет пальцами по каждому

столбцу и беззвучно шевелит губами, производя подсчеты, а затем проворно делает пометки на полях. Он больше напоминал теперь обычного менялу, каких много сидело на улицах, чем одного из самых преуспевающих купцов города. Но возможно, он уже не был таким преуспевающим, как прежде.

– А-а-а... Алессандра, – произнес он, увидев меня, и мое имя вылетело у него из груди долгим свистом. Он встал – и оказался гораздо более щуплым, чем я его помнила, словно где-то внутри у него образовалась пустота и тело втянулось туда, внутрь.

Мы обнялись, стукнувшись друг о друга костями.

– Садись, садись, дитя мое. Нам нужно о многом поговорить.

Но после того, как мы обменялись любезностями и он поздравил меня с моей новостью и справился о благополучии супруга, оказалось, что больше и говорить-то не о чем, и глаза его вновь обратились в сторону конторских книг со столбцами.

Эти тома точных и аккуратных записей долгие годы составляли предмет его гордости и радости: ведь они были наглядным свидетельством нашего растущего богатства. Теперь же, заглядывая в них, он, похоже, находил ошибки, сердито цокал языком и, подчеркивая их жирной чертой, писал сбоку какие-то другие цифры.

Мать вскоре зашла за мной.

– Что он делает? – спросила я, когда мы на цыпочках вышли из кабинета.

– Он... занимается делами. Как всегда, – быстро ответила она, – А сейчас... давай-ка еще кое-что тебе покажу.

И она отвела меня в часовню.

Меня ждало поистине удивительное зрелище. Там, где прежде были лишь камни, залитые холодным светом, теперь с двух сторон стояли новенькие скамьи орехового дерева, с полированными резными спинками. Посередине алтаря помещалась деревянная доска с нежным образом Рождества, на которую падал свет от ряда больших свечей в высоких серебряных канделябрах, а их яркое сиянье направляло взгляд зрителя прямо наверх – к фрескам на стенах.

– О!

Мать улыбнулась, но, когда я направилась к алтарю, она не пошла со мной вместе, а немного погодя я услышала, как за ней закрылись двери. Если не считать небольшого полотнища, занавешивающего

часть нижней половины левой стены, фрески были завершены: продуманные, цельные, прекрасные.

– О! – снова вырвалось у меня.

Теперь святая Екатерина готовилась к своему мученичеству серьезно и безмятежно, ее муки были лишь преходящим этапом на пути к свету, а лицо светилось тем выражением почти детской радости, которое запомнилось мне по первой Пресвятой Деве на стене его комнаты.

Мой отец был изображен слева от алтаря, мать – напротив него, с другой стороны. Они были написаны в профиль, коленопреклоненными, с благочестивым выражением глаз, в одежде темных тонов. Для человека, начинавшего жизненный путь в лавке торговца тканями, это было изрядное возвышение, однако особое внимание привлекала мать: даже в профиль ее взгляд казался пронизательным, а поза – настороженной.

Моя сестра обратилась в императрицу, навещающую святую в келье. Ее свадебный наряд, вплоть до каждого ослепительного оттенка, был воспроизведен с такой точностью, что она едва не затмевала тихую красоту святой. Один из ее собеседников был написан с Луки: в его бычьих чертах и суровом взгляде читалось некоторое самодовольство, которое сам он, вероятно, принял бы за властность. А Томмазо... Что ж, его тайная мечта сбылась! Томмазо, избавленный от нынешней хвори, дабы не оскорблять глаз потомков, сильный и изящный, предстал в обличье одного из самых выдающихся придворных ученых, человека, чье умение одеваться под стать блеску ума. И из поколения в поколение юные представительницы семьи, которая будет здесь молиться, станут разрываться между благочестием и влюбленностью. Как мало они будут знать...

А я? Что ж, как и дала мне понять матушка, я была на небесах – так высоко, что нужно было обладать изрядной зоркостью и не бояться вывихнуть шею, чтобы оценить истинную степень портретного сходства. Однако постичь свершившееся преображение мог лишь видевший, что там было изображено прежде. Дьявол был изгнан со своего трона, а на его месте восседала Пресвятая Дева – не столько красавица, сколько воплощенная душа.

Я стояла запрокинув голову, вертясь и вертясь на месте, чтобы разглядеть росписи на всех стенах, поднимавшиеся до потолка, пока

голова у меня не закружилась и фрески не поплыли у меня перед глазами, словно изображенные на них фигуры сами пришли в движение. И я ощущала такую радость, какой давно уже не испытывала.

И, повернувшись еще раз, я обнаружила, что передо мной стоит он.

Он было хорошо одет и неплохо откормлен. Если бы мы сейчас оказались с ним в одной постели, то его тело заняло бы больше места, чем мое. Моя тошнота давно приглушила все мои желания, но тем не менее я испугалась, что голова моя закружится и я не устою на ногах.

– Ну? Как тебе нравятся мои фрески? – Теперь в его итальянском почти не слышалось акцента.

– О, они прекрасны! – И я почувствовала, что начинаю широко улыбаться, как будто счастье переполнило меня доверху и теперь помимо моей воли стремится вылиться наружу. – Они такие... такие флорентийские. – Я немного помолчала. – А ты... ты здоров?

Он кивнул, не сводя с меня глаз, словно силясь прочесть нечто, написанное у меня в глазах.

– Больше не мерзнешь?

– Нет, – ответил он тихим голосом. – Больше не мерзну. Но ты...

– Знаю, – сказала я быстро. – Ничего... Мне уже лучше. – Я должна ему рассказать, подумала я. Я должна ему рассказать. Пока кто-нибудь другой не сделал этого.

Но я не могла. Слова замирали у меня на устах, мы просто стояли и смотрели друг на друга и не могли оторваться. Если бы сейчас кто-нибудь вошел, то сразу бы всё понял. Если бы сейчас кто-нибудь вошел... Мне вспомнилось, сколько раз прежде я думала о том же самом: в первый раз у него в комнате, ночью в часовне, в саду... Что мне говорила Эрила: невинность иной раз таит в себе больше ловушек, чем искушенность. Но мы в своей невинности изначально что-то знали. Теперь я это понимала. Мне до боли в руках хотелось к нему прикоснуться.

– Так, значит, – мой голос показался мне до странности легким, будто воздушная пена от взбитых яиц, – твоя часовня закончена.

– Нет. Не совсем. Тут еще кое-что нужно дописать.

И тут он наконец протянул ко мне руку. Коснувшись ее, мои пальцы скользнули по твердой коже ладони, но рубцы так заглубили,

что, наверное, он и не ощутил моего прикосновения. Он подвел меня к левой стене и снял висевшее там последнее полотнище. Под ним оказался небольшой пробел посреди фрески: очертания сидящей женщины в пышных юбках, с лицом, обращенным к окну, откуда на нее глядела белая птица. Святая Екатерина – нежная молодая женщина, собравшаяся покинуть отцовский дом. Штукатурка, заполнявшая ее пустой контур, была еще влажной.

– Твоя мать сказала мне, что сегодня утром ты придешь. Штукатур только что закончил работу. Она – твоя.

– Но... я не могу...

Мой голос замер. Я увидела, как он улыбается.

– Не можешь – что? Не можешь изобразить юную девушку, которая решила пойти против воли родителей, бросить вызов миру, чтобы последовать собственному призванию? – Он взял кисть и протянул ее мне. – На твоих рисунках, где ты изображала сестру, отцовские ткани текут как вода. Стена менее снисходительна, чем бумага, но не тебе этого бояться!

Я стояла и глядела туда, где должна появиться святая Екатерина. Я ощутила во всем теле какое-то покаяние. Он прав. Я знаю ее. Знаю все то, что она сейчас должна испытывать: борьбу воодушевления и трепета. Я мысленно уже нарисовала ее.

– Я смешал охру, светлые тона и два оттенка красного. Если тебе понадобятся другие краски, то скажи.

Я взяла кисть у него из руки, и теперь уже невозможно было понять, отчего у меня кружилась голова – от опасности, грозившей нам, или от сложности предстоящей мне работы. Первый мазок кистью – и один вид этой мерцающей краски, с кисти переходящей на стену, мигом избавил меня от страха. Я наблюдала за тем, как двигается кисть в моей руке, за тем, как гармония и движение соединяются в нерасторжимом союзе. И всё здесь оказалось таким осязаемо-телесным: точность каждого мазка, фактура краски, ложащейся на штукатурку, сцепляющейся и сливающейся с ней, ликование при виде того, как изображение растет, расцветая под пальцами... О, будь я фра Филиппо, я никуда бы не рвалась из своей кельи.

Долгое время мы молчали. Он работал возле меня, готовил краски и отмывал кисти. А тем временем Екатерина обретала плоть под одеждой, у нее появились крепкие крестьянские ноги, невидимые под

тканью, но сильные, А в ее лице, когда оно проступило, читалась, надеюсь, не только благодать, но и отвага. Наконец, от напряжения у меня онемели пальцы, сжимавшие кисть.

– Мне нужно отдохнуть, – сказала я, оторвавшись от работы. И, отойдя на шаг, вдруг почувствовала, что теряю равновесие.

Он схватил меня за руку:

– Что с тобой? Я так и знал. Ты нездорова.

– Нет, – ответила я. – Нет. Я не... – Я понимала, что мне следует сейчас сказать ему, но не смогла выговорить ни слова.

Мы снова молча уставились друг на друга. Мне стало нечем дышать. Я не знала, что мне делать. Быть может, мы больше никогда в жизни не окажемся с ним наедине. Наше объяснение в любви совершалось здесь, в этой часовне. Хотя ни он, ни я тогда не понимали этого.

– Я не...

– Я так хотел...

Но его голос оказался настойчивее моего.

– Я так хотел увидеть тебя. Я не знал... Ну, когда ты не приходила, я уж подумал...

Я очутилась в его объятьях, и тело его показалось таким знакомым, словно все это время в каких-то тайниках памяти я хранила его живой слепок. А еще я ощутила желание – ибо теперь я понимаю, что это было именно оно, – которое взметнулось у меня внутри, будто там забил горячий ключ.

Скрип двери, открывшейся со стороны ризницы, так быстро отбросил нас друг от друга, что, вполне возможно, вошедший и не успел ничего заметить. Его походка выдавала боль, но от всего его облика исходила ярость. Неудивительно! Теперь по сравнению с ним я смотрелась Венерой и Адонисом, вместе взятыми. Лицо его покрылось язвами – одна на левой щеке, другая – на подбородке, а третья красовалась посреди лба, будто глаз циклопа, – раздутыми и полными гноя. Прихрамывая, он подошел к нам ближе. Очевидно, язвы имелись у него и между ног. Хотя на зрение, похоже, они никак не повлияли. Что ж, это предстояло узнать очень скоро.

– Томмазо, – я быстро двинулась ему навстречу, – как поживаешь? Как протекает твоя болезнь? – И, готова поклясться, в моем голосе не

послышалось ни единой нотки торжества, ибо разве страдание не порождает сочувствие во всех нас?

– Не так приятно, как твоя. – Он смерил меня взглядом. – Хотя Плаутилла права: выглядишь ты как настоящее пугало. Теперь мы с тобой – два сапога пара. – Он фыркнул. – Ну, так когда ожидается событие?

– Э-э... весной. В апреле-мае.

– Значит, у Кристофоро появится наследник, да? А ты молодец! По тебе даже не скажешь.

Я почувствовала, как художник замер и внутренне напрягся. Я повернулась к нему.

– Вы, наверное, слышали, – сказала я, и в моем голосе послышалась радость, – я жду ребенка. Но я хворала из-за него, так что пока это совсем не заметно.

– Ребенка? – Он впери́л в меня взгляд. Произвести подсчеты было нетрудно – даже мальчику, воспитанному в монастыре.

Я ответила ему взглядом. Если любишь человека за искренность, то как можно за нее сердиться? Томмазо уставился на нас обоих.

– Томмазо, а ты уже видел часовню? – спросила я, повернувшись к нему с ловкостью, при виде которой мой учитель танцев заплакал бы от радости. – Тебе не кажется, что она чудесна?

– М-м-м. Да, она очень мила. – Но он продолжал в упор смотреть на нас.

– А твой портрет весьма...

– Льстит мне, – договорил он бесцеремонно. – Но у нас же с художником был уговор, правда? Тайный уговор способен творить чудеса. Я слышал, моя сестрица помогла тебе справиться с твоим... недомоганием. Когда же это было? В начале лета, да? Сколько уже месяцев прошло?

– Кстати, о тайнах, – произнесла я голосом, полным меда, который в наших разговорах всегда перемешивался с желчью, – матушка сказала, ты был у исповедника. – А ну-ка отстань от него, сказала я мысленно. Ты знаешь, что в этой игре мы с тобой – лучшие игроки. Все остальные слишком быстро выходят из нее побежденными. Он осклабился:

– Да... Как хорошо, что она тебе сообщила.

– Ну, она же знает, как я пекусь о твоём духовном благополучии. Впрочем, наверное, ты испытал потрясение, когда понял, что все-таки не умираешь.

– Да, однако могу тебя заверить, сестрица, что в этом есть и свои преимущества. – Он прикрыл глаза, как бы предвкушая победу. – Раз я искренне покаяться, значит, я уже спасен. Это приносит мне большое утешение, как ты, наверное, догадываешься. А еще это делает меня более непримиримым к чужим грехам. – И он снова уставился на художника. – А скажи мне, как поживает Кристофоро?

– Превосходно. Разве ты с ним не виделся?

– Нет. Но ты же сама видишь, какой из меня теперь товарищ.

Я посмотрела на него. И на этот раз разглядела за его яростью страх. Как странно, что человек, обласканный такой любовью, сам не научился нежности.

– Знаешь, Томмазо, – сказала я, – мне кажется, ваша дружба держалась не только на твоей красоте. – И тут на миг я потеряла бдительность. – Если это тебя хоть немного утешит, могу тебе сообщить, что я сейчас тоже мало его вижу. Он теперь другими делами занят.

– Да, несколько в этом не сомневаюсь. – Его заносчивость едва-едва прикрывала разверстую рану. Мне даже на мгновение показалось, что он вот-вот расплечется. – Что ж, – сказал он отрывисто. – Мы с тобой в другой раз подольше поговорим. Я и так у тебя много времени отнял. – Он жестом показал на почти законченную фреску. – Пожалуйста, можешь снова заняться... ну, чем ты тут занималась, пока я тебя не побеспокоил.

Мы стояли и наблюдали, как он ковыляет к дверям. И мне подумалось: когда нарывы лопнут, сколько же горечи выйдет из него вместе с гноем? Наверняка это будет зависеть от того, сколь безобразные рубцы останутся на их месте. Что касается его подозрений и того, куда они его заведут, – что ж, если я начну тревожиться об этом сейчас, то лишь истощу свои силы к той поре, когда (и если) дело дойдет до решающей схватки.

Я повернулась к художнику. Понимает ли он хоть немного, во что оказался замешан? У меня не находилось ни слов, ни духу, чтобы пускаться в объяснения.

– Я должна закончить ее юбку, – заявила я резко.

– Нет. Мне нужно...

– Пожалуйста... пожалуйста, не задавай мне никаких вопросов. Ты выздоровел, часовня завершена, я жду ребенка. Есть за что испытывать благодарность.

И на этот раз я первой отвела взгляд. Я взяла кисть и снова подошла к стене.

– Алессандра!

От звука его голоса моя рука замерла в воздухе. Кажется, за все время нашего знакомства он впервые назвал меня по имени. Я обернулась.

– Так нельзя. Ты сама знаешь.

– Нет! Я знаю другое: перечить моему брату слишком опасно, и теперь мы оба зависим от его милости. Разве ты не понимаешь? Отныне мы должны быть чужими друг другу. Ты – художник. Я – замужняя дама. Только так мы сможем спасти свою жизнь.

Я снова повернулась к стене, только кисть слишком дрожала у меня в руке, мешая нанести мазок. Я крепче сжала ее и приказала своей руке стать твердой – тверже, чем мое сердце. Его желание обволакивало меня со всех сторон. Мне оставалось лишь сдаться, чтобы оно окончательно поглотило меня. Но я коснулась кистью стены и перенесла на нее всю свою страсть.

Немного погодя он присоединился ко мне, и когда мать снова зашла в часовню, чтобы увести меня, то застала нас бок о бок работающими над фреской.

И хоть она не проронила ни слова, но в ту ночь она отослала Эрилу к остальным слугам, а сама улеглась рядом со мной в моей бывшей спальне и спала так беспокойно, что даже я, когда-то отважно пускавшаяся в ночные странствия по дому, не осмелилась бы подняться с постели под ее неусыпным оком.

Освящал часовню епископ, который появился совсем ненадолго, зато много съел и выпил, после чего отбыл, унося с собой свертки великолепных тканей и серебряную чашу для причастия. Наверное, ему было где все это спрятать, поскольку, если бы «ангелы» прослышали о подобных дарах, они бы мигом выбросили их из его палатки – так, что он не успел бы и «Аве Мария» прочитать.

Священник, который вслед за этим служил мессу, оказался исповедником Томмазо. Он был стародавним другом семьи моей матери; это он наставлял меня когда-то в катехизисе и выслушивал мои первые исповеди. Каких только грехов я не придумывала в ту пору, желая доставить ему удовольствие! Я с раннего возраста испытывала тягу к драме, и временами мне хотелось выглядеть повинной в большем количестве прегрешений, нежели я совершила в действительности, потому что мне тогда представлялось, что, давая мне отпущение, Бог уделит мне гораздо больше внимания. А поскольку на этих исповедях я так ни разу и не смогла покаяться по-настоящему, то они стали еще одним доводом в пользу того, что я отвержена еще с детских лет; однако, поскольку тот Бог, с которым я росла, всегда являл мне милосердие, а не гнев, я уповала на то, что он и впредь останется таким же. Сколько еще семей в городе сейчас трепещут от суровости новой веры? Впрочем, глядя на то, с какой охотой епископ прихватил вознаграждение за заботу, выполненную, по сути, Господом, легко было понять, где именно находится арена борьбы.

Служба была простая: краткая проповедь о праведности и отваге святой Екатерины, о силе молитвы, о мощи фресок и о радости от Слова, ставшего фреской. Однако следует заметить, что пыл священника умеряло присутствие Луки, который сидел развалившись во втором ряду. На службе у Монаха мой брат обзавелся брюхом (до меня долетали слухи, что за последние несколько недель угроза повального голода принесла новую волну новобранцев в Божье воинство), а заодно и чувство собственной значимости. Наша с ним беседа была задушевной, пускай и поверхностной, пока я не коснулась темы папского эдикта и того смятения, которое он должен породить в

рядах сторонников Савонаролы. Вот тут-то Лука взорвался гневом и заявил, что Савонарола – защитник народа, а это значит, что лишь Бог имеет право прогонять его с кафедры и что он будет проповедовать снова, когда захочет, что бы там ни приказывал богатейший сводник Рима.

Поистине разглагольствования моего брата о порочности церкви дошли до такой крайности и опирались на столь ясную и пламенную логику (уже за одно это следовало отдать должное человеку, сумевшему вразумить Луку), что достижение хоть каких-нибудь уступок между враждующими сторонами представлялось совершенно невыносимым. Однако если Савонарола и впрямь снова выйдет с проповедью, то вряд ли Папа примирится с подобным своеволием, угрожающим его власти. Применит ли он силу, чтобы раздавить его? Наверняка нет. Неужели нас ждет тогда раскол? Если для меня неприемлема власть такой церкви, которая клеймит позором искусство и красоту, значит ли это, что мне нравится та церковь, которая торгует спасением души и позволяет епископам и Папам перекачивать церковные богатства в карманы своих незаконнорожденных детей? Но и о расколе было страшно подумать. Одной из сторон придется подчиниться.

Я оглядела остальную свою родню. Родители сидели в первом ряду, прямая осанка матери заставляла и отца сидеть прямее. Вот миг, о котором он так долго мечтал! Пускай наше состояние тает, зато наши головы гордо подняты. Правда, этого нельзя было сказать о Томмазо, который сидел в сторонке, исполненный жалости к себе, сосредоточившись теперь на своем уродстве больше, чем некогда на своей красоте. За ним сидели Плаутилла и Маурицио – плотный и скучный, а потом – мой муж и я. Рядовое флорентийское семейство. Ха! Если прислушаться внимательнее, то можно различить хор наших грехов и лицемерия – змеиное шипение, доносящееся из глубины наших душ.

Художник стоял позади, и я чувствовала на себе его взгляд. Мы с ним все утро кружили друг вокруг друга, как два рукава реки, которые постоянно влекутся друг к другу, но никак не могут слиться. Томмазо следил за нами орлиным оком, но вмиг позабыл о нас, стоило появиться Кристофоро. Эти двое ненадолго остановились во дворе, у богато накрытого стола с угощениями, оба – возбужденные, как

лошади, остановленные на скаку. Мать и я изо всех сил притворялись, что не замечаем их. Они почти не разговаривали друг с другом, а когда нас позвали в часовню, то Томмазо сорвался с места, повернувшись на каблуках, и побежал чуть ли не рысью. Я предпочитала не встречаться взглядом с мужем, но не могла не заметить выражения лица Луки, когда они проходили мимо него. Я не забыла, как однажды выразилась моя мать, когда мы говорили с ней о Томмазо. Кровь горячее воды. Но горячее ли она веры?

– Ты была права насчет своего художника. – Возвратившись домой, мы с мужем сидели в нашем запущенном саду и наблюдали, как сгущаются сумерки. Оба мы слегка волновались, не зная, о чем нам говорить. – У него есть талант. Хотя, учитывая атмосферу в нашем городе, ему лучше перебраться в Рим или Венецию в поисках новых заказчиков. – Он помолчал. – Хорошо, что тебя не затошнило. А долго ли ты ему позировала?

– Несколько дней, по несколько часов, – ответила я. – Но это было уже давно.

– Ну, тогда он достоин еще большей хвалы. Он запечатлел в тебе и дитя, и недавнюю перемену. А что заставило такого человека нанести себе столь зверское увечье?

Да. От моего мужа ничто не ускользает.

– Он на время утратил веру, – ответила я спокойно.

– А, бедная душа. Значит, ты помогла ему снова обрести ее? Что ж, Алессандра, тебе удалось спасти нечто действительно ценное. По моему, он очарователен. Ему повезло, что наш город не испортил его. – Он помолчал. – Да, мне нужно еще кое о чем тебе сообщить – если ты уже не знаешь. Тот недуг, которым болен Томмазо... он заразен.

– Вы хотите сказать, что вы больны? – И я ощутила, как мне сводит живот от страха.

– Нет. Я хочу сказать, что больны можем оказаться мы оба.

– А от кого же тогда *он* заразился? – спросила я напрямик.

Кристофоро рассмеялся, хотя в смехе этом не слышалось веселья.

– Дорогая моя, незачем и спрашивать об этом. С моей стороны безумием было влюбиться в него, а случилось это три года назад, в темном притончике для игр возле Понте-Веккьо. Ему было тогда пятнадцать лет, он был дерзок, как молоденький жеребенок. Наверное,

было неблагоприятно с моей стороны надеяться, что такое увлечение может долгое время быть взаимным.

– Ну, это я могла бы вам предсказать, – ответила я. – А когда мы сможем узнать наверняка?

Он пожал плечами:

– Эта болезнь нам пока что незнакома. Одна надежда на то, что от нее, похоже, не умирают. В остальном не известно ни как она развивается, ни чем лечится. Томмазо заболел быстро, но, быть может, дело в том, что заразился он давно. Кто знает?

Мне вспомнился сводник, болтавшийся на столбе возле Понте-Санта-Тринита, с кишками, свисавшими до земли: уж не была ли то кара, помимо всего прочего, и за то, что он снабжал французов всем, чего те желали? И я снова задумалась об убийце: какая же одержимость им движет! И какая ярость!

– Но есть новость похуже, – сказал Кристофоро мягко. – В город пришла и другая зараза.

Я взглянула на него, и он опустил взгляд.

– Не может быть! Господи Иисусе! Когда?

– Неделю назад, может быть, раньше. Первые жертвы попали в мертвецкую несколько дней назад. Поначалу власти станут замалчивать поветрие, сколько можно, но скоро все и так станет ясно.

И хотя ни он, ни я так и не произнесли вслух этого слова, оно уже витало в воздухе, проникало под двери, просачивалось сквозь оконные рамы на улицы, во все дома, стоявшие в пределах городских стен, и страх болезни был более заразительным, чем сама болезнь. Или Богу настолько угодно благочестие флорентийцев, что Он вознамерился поскорее призвать к себе всех праведников, или... Но нет, об этом «или» невыносимо было даже думать.

Чума пришла, как приходила всегда: ни с того ни с сего, без предупреждения, без малейшего намека на то, какой урон она нанесет или как долго продлится ее ярость. Она явилась как пожар, который может спалить пять домов – а может и пять тысяч, в зависимости от того, куда подует ветер. Город до сих пор нес на себе шрамы от морового поветрия, перенесенного полтора века назад, когда оно выкосило почти половину его населения. В тот раз вымерло столько монахов, что пошатнулась вера среди оставшихся в живых, а церкви и монастыри по сей день покрывали фрески той поры, исполненные ожидания Страшного суда и близости ада.

Но теперь-то все было иначе: Флоренция стала Божьим государством, которым правил великий проповедник, а за соблюдением порядка в нем надзирала целая армия «ангелов». Если язву еще можно было считать заслуженной карой для грешников – даже публичной епитимьей, наложенной на распутников, то чума – это нечто совсем иное. Если она и в самом деле знак гнева Божия, то чем же мы заслужили его? И на этот вопрос предстояло ответить Савонароле.

Весть о его возвращении на кафедру обгоняла чумное поветрие. Я отдала бы что угодно за то, чтобы послушать его проповедь, но чума, великая уравнительница, обладала издавна известным пристрастием к тем, кто и без того слаб. Если бы речь шла только обо мне, я бы, пожалуй, рискнула жизнью ради своего ненасытного любопытства, но теперь мне приходилось думать о двоих, и потому в конце концов я нашла золотую середину: вместе с Кристофоро доехала в карете до церкви, чтобы издали поглядеть на толпу, а потом, когда он вошел внутрь, отправилась обратно домой.

Народу на сей раз собралось заметно меньше, чем прежде. Разумеется, основания на то были уважительные: боязнь заразы, а то и сама болезнь. Но только опрометчивый стал бы судить о влиянии Монаха по одной только проповеди. Мой муж, побывавший в церкви, сказал потом, что пыл Савонаролы ничуть не угас и все, кто его слушал, несомненно, вновь ощутили, как их опалил пламень Божий. Однако на улицах, куда его голос не долетал, не все люди были

больны. Некоторые казались просто изможденными, их терзали другие муки – муки голода. Скоро, подумалось мне, уже трудно будет отличить одну боль от другой.

Истина состояла в том, что город по-прежнему любил Монаха и восхищался его мужеством и своей близостью к Богу, однако ему хотелось достатка. Или, по крайней мере, сытости.

Мой муж обрисовал все это кратко и точно. Когда при власти были Медичи, сказал он, приближенные к Богу не больше остальных горожан (несмотря на значительно большие деньги), то народную любовь они завоевывали простым путем. Раз они не могли указать народу путь спасения, то уж зрелища они ему предложить могли, причем такие, которые радовали бы беднейших из бедных, заставляли бы их гордиться своим городом, гордиться его пышными представлениями, пускай они устраивались только по торжественным случаям. Причем подобные действия безбожными было не назвать. Вовсе нет: они замышлялись как хвала и благодарность Богу. И так бывало со всеми празднествами – рыцарскими турнирами, состязаниями и шествиями. Просто вид они принимали буйный, разгульный, порой даже распутный. Но, что бы ни происходило во время этих гульбищ, всегда оставалась возможность исповедаться на следующий день. Так люди ненадолго забывали о том, чего лишены, и покуда жизнь не становилась лучше (или покуда не становилась хуже), этого вполне хватало. Столь ярким и твердым было правление этого рода, что горожане чувствовали: при Медичи они живут. А это не совсем то же самое, что ежечасно готовиться к смерти.

Подобные светские зрелища были, естественно, недопустимы в глазах Савонаролы. В его новом Иерусалиме не было места ни для карнавалов, ни для турниров, и хотя Монах страстно проповедовал о радости, исходящей от Бога, – однако его Бог был суровым надсмотрщиком, и оба они все больше начинали связываться в сознании слушателей со страданием. А страдание, даже очищающее, со временем делается тоскливым. Если же человеку тоскливо, то он все больше сосредоточивается на своих несчастьях, и потому все представляется ему в еще более мрачных красках.

И тогда нет лучшего способа развеять эту тоску, чем религиозное действие – одновременно устремленное к Богу и призванное осветить суровую повседневность. Сделать ее менее тоскливой, что ли.

Надо сказать, «сожжение анафемы» было блистательной идеей. И пражский Савонарола, вещавшего с кафедры, казалась неопровержимой: раз Флоренция страждет, то это оттого, что Бог сделал ее избранным городом, и теперь ее существование – предмет Его постоянной личной заботы. Как он, Савонарола, бичевал свое тело и изнурял его голодом, дабы сделаться совершенным сосудом Господним, так и город должен выказать готовность принести жертвы, достойные Его великой любви. Отказавшись от излишних богатств, можно сподобиться несказанного блаженства. Да и к чему нам теперь вся эта жизненная мишура? Притирания и благоговения, сочинения языческих авторов, игры, непристойные предметы искусства – все эти вещи лишь отвлекают нас и замутняют нашу веру. Так предадим же все это огню! Пускай наша суетность и наше упорство в ней сгорят, обратившись в ничто, и улетучатся вместе с дымом. Их место займет благодать. И хотя я уверена, что сам Монах об этом не думал, такое очищение должно было также облегчить страдания бедноты: ведь, приводя к смирению тех, у кого имущества в избытке, такой костер одновременно порадовал бы неимущих, утешив их мыслью, что ни у кого больше нет того, чего лишены они сами.

В последующие недели «ангелы» собирали по городу предметы суеты, а посреди площади Синьории росла груды всякого добра, которой суждено было стать жертвенным костром. Мы с Эрилой наблюдали за ее ростом со смесью трепета и ужаса. Нельзя было отрицать, что город снова оживился. Сооружение будущего костра давало работу людям, которые иначе ослабели бы от голода. У них появилась новая тема для разговоров, предмет для возбужденных толков и сплетен. Мужчины и женщины перерывали свои гардеробы. Дети – свои игрушки. Если раньше мы, флорентийцы, кичились своей собственностью, то теперь наперебой отдавали имущество в жертву.

Разумеется, не все предавались этому с одинаковым рвением. Напротив, нашлось много людей, которые, будь на то их воля, предпочли бы остаться в стороне. И тут являлись «ангелы»: шаг сам по себе мудрый, потому что юное воинство Божье в последнее время осталось почти без работы, не находя себе применения в городе, подавленном голодом и болезнью. Некоторые из них обладали особым даром убеждения. За время своего господства Савонарола воспламенил немало юных душ, иные научились словам, поражающим

будто благая весть архангела Гавриила. Однажды я видела, как один из них уговорил богато одетую молодую женщину отдать спрятанный браслет и признаться, что под головным убором у нее коса из фальшивых волос. Оба они расстались сияющие и довольные друг другом.

«Ангелы» разъезжали по улицам на повозках, их предводитель держал перед собой чудесную статую мальчика Иисуса работы Донателло. Они распевали «Lauda»^[18] и гимны и по очереди обходили все дома и заведения и осведомлялись у хозяев, что те хотели бы отдать им. Порой богатые жертвы превращались почти в своего рода хвастовство: один дом стремился во что бы то ни стало перещеголять другой. А иной раз поиск предметов роскоши граничил с обыском. «Ангелы» заранее все продумали, вначале обратившись к самым богатым семействам, чтобы те показали пример для подражания. Если те расставались с достаточным количеством добра, то «ангелы» благодарили их и отправлялись дальше. Если же нет, то они самовольно врывались в дом и принимались всюду рыскать. Разумеется, против воли хозяев никто ничего не отбирал, но мальчишки-подростки часто бывают страшно неповоротливы, особенно когда торопятся, и хватило всего нескольких рассказов о разбитом муранском стекле или разорванных гобеленах, чтобы во многих семьях страх породил щедрость. Даже враги в дни вторжения во Флоренцию вели себя более учтиво, но только очень отважный человек осмелился бы в присутствии этих юнцов произнести слово «грабеж».

В то утро, когда они пришли к нам, я сидела у окна в верхнем этаже и наблюдала, как они движутся по нашей улице. Их хриплые песнопения – среди «ангельских» голосов звучало слишком много ломающихся – перекрывали стук тележных колес. Правила, касавшиеся искусства, оскорбляющего нравственность, были всем известны. В домах, где жили юные девушки, запрещалось держать изображения обнаженных мужчин и женщин. А поскольку девушки – пускай даже служанки – жили в большинстве домов, то это беспощадное правило касалось всех. По таким меркам скульптурная галерея моего мужа должна была рассматриваться как воплощение непристойности. Она была теперь под замком, а ключ от замка постоянно находился у мужа; зато во дворе был приготовлен целый сундук с подношениями: дорогими, но уже вышедшими из моды

нарядами, игральными картами, различными побрякушками и веерами, а также огромное уродливое позолоченное зеркало, больше говорившее о недостатке вкуса, чем о недостатке веры. Я опасалась, что этого окажется мало (из-за беременности я стала боязливее, чем раньше), однако Кристофоро был на сей счет спокоен: если среди власть имущих есть такие, кто наверняка знает о существовании подобных коллекций, рассуждал он, они не станут выдавать всех подряд. В такой обстановке, как нынешняя, колесо Фортуны вращается очень быстро, говорил он, и умные политики уже должны были почуять легкий ветерок инакомыслия.

Когда «ангелы» приблизились к нашему дому, перед ними отперли ворота и Эрила вынесла поднос с угощениями, а Фи-липпо между тем таскал сундуки с добром.

На повозке среди груды книг и нарядных одежд стоял юноша лет, наверное, семнадцати – восемнадцати. Он перекидывал эти сокровища, освобождая место для новых. Я видела, как он небрежно, словно простую деревянную доску, отшвырнул в сторону картину, изображавшую нагих нимф с сатирами, и от грубого удара живописная поверхность покрылась трещинами и чешуйками отслоившейся краски.

Ходили слухи, что не одни только покровители искусств отказывались от подобных произведений: отрекались от них и сами художники, и первыми в их числе были фра Бартоломео и Сандро Боттичелли. Конечно, Боттичелли был уже стар и больше нуждался теперь в Боге, нежели в иных покровителях, хотя мой муж как-то намекнул, что ежели художник возмечтал о рае, ему придется исповедаться не только в грешной страсти к женскому телу. Но я не могла не вспомнить, как Кристофоро описывал мне его Венеру, рождающуюся из моря, и радовалась в душе, что такие картины хранятся сейчас вдали от города, в сельской глуши. По крайней мере, о тех нимфах и сатирах, что угодили в нашу повозку, история могла не сожалеть: ноги женщин были чересчур коротки для их туловищ, а сами тела походили на поднявшееся тесто.

– Добрый день, госпожа. Не найдется ли у вас чего-нибудь для костра? Каких-нибудь коралловых бус или опахал из птичьих перьев?

Он был хорош собой, этот юноша, и видно было, что он постарался опрятно одеться и постричься. В прежней Флоренции он

бы пел мне под окном серенады, возвращаясь с ночной попойки. Тем более что оттуда, где он стоял, ему не видно было моего большого живота.

Я покачала головой, но невольно улыбнулась. Может быть, напряжение сказывалось.

– А что это за гребни у вас в волосах? Разве это не жемчуга там по краям – или зрение меня обманывает?

Я ощупала макушку. Эрила в то утро убирала мне волосы, но я не помнила, какие именно гребни она воткнула мне в прическу. Вряд ли они были особенно роскошные, тем не менее я вытащила их, и на спину мне сразу же упала высвободившаяся прядь. Юноша, увидев это, улыбнулся. Его улыбка была заразительной. Похоже, даже «ангелы» начинают уставать от сплошного благолепия. Я швырнула ему гребни, а он, поймав их, раскланялся.

Внизу его товарищи спорили, входить им или не входить в дом, чтобы выискать еще что-нибудь.

– Довольно! – крикнул он им, одарив меня еще одной быстрой улыбкой. – Если мы будем так возиться с каждым домом, то пропустим сам костер.

И когда телега покатила прочь, клянусь, я увидела, как он украдкой кладет мои гребни к себе в карман. —*

На следующее утро груда добра, приготовленного для костра, была уже величиной с дом. Разложенный вокруг этой кучи хворост зажгли в полдень, и об этом был оповещен весь город – фанфарами, колокольным звоном и громкими песнопениями, которые затянула огромная толпа, собравшаяся поглядеть на зрелище. Площадь была заполнена народом, среди которого были и люди, подобно нам пришедшие не столько ликовать, сколько посмотреть на ликующих.

Стоя в толпе, мы с Эрилой увидели нечто такое, что привело нас в отчаяние. Несколько дней тому назад один венецианский собиратель предложил Синьории двадцать тысяч флоринов, желая спасти произведения искусства от огня. И вот теперь он получил ответ: его чучело было помещено на самый верх обреченной костру кучи. Его обрядили в самые роскошные одежды, голову покрыли дюжиной женских накладок из фальшивых волос, а в живот зашили шутихи. Когда до чучела добралось пламя, шутихи стали взрываться, и оно задергалось со звуками, напоминающими визг, а толпа восторженно

заулюлюкала и загоготала. Позже я слышала, как люди божились, что почуяли запах паленых волос, и болтали они об этом так весело и возбужденно, что не оставалось почти никаких сомнений: пройдет совсем немного времени, и мы будем поджаривать на кострах человеческое мясо.

Песнопения и молитвы под началом доминиканцев и «ангелов» продолжались весь день. Однако любой имеющий очи мог бы увидеть, что на площади не было францисканцев: ощутив, как холодные ветры перемен рассеивают ряды их приверженцев из числа бедноты, они начали мало-помалу отдаляться от Савонаролы. Но куда они никак не могли омрачить его торжества. «Сожжение анафемы» затянулось до глубокой ночи. И еще много дней пепел, оставшийся от бывших предметов роскоши, седыми хлопьями падал на город, оседая, как снег, на оконных карнизах, пачкая одежду и наполняя ноздри печальным запахом испепеленного искусства.

На этот раз Папа, услышав о случившемся, отлучил Монаха от церкви.

Когда указ достиг Савонаролы, тот заперся в своей келье в Сан Марко, прихватив с собой бич и молитвенник. Он не желал ни действовать, ни говорить, покуда сам Бог не вразумит его. В его искренности мало кто сомневался, однако теперь – впервые – стали вслух высказываться сомнения относительно здравости его суждений. При всех своих недостатках Папа оставался наместником Бога на земле, а без должного уважения к властям никакое государство или правительство не может быть уверенным в своей безопасности.

Пока Монах молился, чума косила праведных. Она не обошла даже монастырь Савонаролы: зараза свирепствовала и там, многие монахи бежали. А те, кто по-прежнему оставался приверженцем нового Иерусалима, сделались еще более непримиримыми и начали видеть врагов повсюду. Содомитов, схваченных и брошенных в тюрьму летом, теперь водили по улицам, прилюдно бичевали и увечили на главной площади. Одного из этих людей, с которым мой муж, по его словам, был знаком (его называли Сальви Паницци), обличили как закоренелого и злостного преступника и приговорили к сожжению. Но, хоть его тело было уже изувечено пытками и дыбой, в последнее мгновенье город испугался такого публичного позора, и казнь заменили штрафом и пожизненным заключением в приюте для умалишенных.

К Рождеству Савонарола принял решение: самовольно вернулся и отслужил торжественную обедню при большом стечении народа в Соборе. Он так исхудал, что казался сущим скелетом в монашеской одежде, нос его заострился, будто коса смерти, но голос по-прежнему звучал подобно пушечным раскатам. Папа не замедлил ответить. Он послал гонцов в Синьорию и потребовал, чтобы «этого сына раздора» или заточили в темницу, или в оковах отправили в Рим. В случае неповиновения весь город ждет его, папский, гнев. Пока правительство пребывало в растерянности, Савонарола дал свой ответ. Его слова, произнесенные с кафедры, ходили по городу, передаваясь шепотом из уст в уста: «Скажите всем, кто желает возвеличиться и возвыситься, что им уже приготовлены места – в аду. А еще скажите им, что один из них восседает в аду уже сейчас».

Что сказал на это Папа, осталось неизвестным.

Я уже не помню, в какой именно последовательности происходили события последующих месяцев. Бывают времена, когда беды и невзгоды обрушиваются с такой силой, что ты на некоторое время сгибаешься под их тяжестью и перестаешь понимать, где находишься.

Точно помню лишь, что нашего дома чума коснулась в начале нового года. Первой ее жертвой стала младшая дочь повара. Она была маленькой худышкой лет семи-восьми, и хотя мы делали все, что могли, ее не стало в три дня. За ней

последовал Филиппе. С ним болезнь обошлась более жестоко, и его я особенно жалела, потому что он не мог ни услышать слов утешения, ни поведать нам о своей боли. Он промучился десять дней, с каждым днем делаясь все слабее, и умер ночью, когда рядом никого не было. Наутро, когда Эрила сообщила мне об этом, я разрыдалась.

В тот день у нас с мужем случился первый настоящий спор. Он хотел услатить меня из города – на целебные воды на юг или в горы на восток, где, говорил он, воздух чище. Я ежедневно принимала снадобье против заразы, которое Эрила готовила из алоэ, мирры и шафрана, и заметно окрепла после того, как прекратилась рвота, но, пожалуй, все-таки оправилась не вполне и, несмотря на все свое любопытство, наверное, дала бы себя уговорить, если бы не последовавшие события.

Мы все еще сидели у него в кабинете и спорили, когда явилась служанка из дома моих родителей.

Записка была написана рукой матери:

Крошка Иллюмината умерла от горячки. Я бы сама отправилась к Плаутилле, но твой отец болен, и я боюсь стать переносчицей заразы, ходя из одного дома в другой. Если ты в добром здравии и можешь пуститься в путь, то знай, что сейчас ты нужна сестре. Больше мне некого попросить. Береги себя и драгоценную юную душу, которую ты носишь в себе.

Плаутилла почти не видела Иллюминату с тех пор, как отослала ее вместе с кормилицей в деревню около года назад. Смерть грудных детей была делом обычным, а моя сестра, которую, по моим

наблюдениям, никогда не отличала глубина чувств, уже носила второго.

И потому мне стыдно признаться, что я оказалась не готова к тому, что увидела.

Рыдания Плаутилле встретили нас сразу же, как только мы вышли из кареты. Навстречу нам с Эрилой сбежала по лестнице ее насмерть перепуганная служанка. Наверху дверь спальни отворилась, и показался Маурицио – даже он осунулся. Из-за его спины, будто шквальные порывы ветра, доносились вопли жены.

– Слава богу, вы приехали, – сказал он. – И вот так весь день, с самого утра. Я ничего с ней не могу поделать. Она не желает утешиться. Боюсь, она заболеет от горя и погубит второго ребенка.

Мы с Эрилой тихонько вошли в комнату.

Она сидела на полу, возле пустой детской кроватки, уже приготовленной для нового младенца, с распущенными волосами, в платье с расстегнутым лифом. Живот у нее был больше моего, а лицо распухло от слез. Пожалуй, ни разу в жизни я еще не видела сестру такой несчастной и растрепанной.

Я неуклюже опустилась на пол возле нее, и юбки собрались вокруг моего выпирающего живота, так что мы походили, наверное, на двух толстых птиц в пышном оперенье. Но едва я дотронулась до нее, она отпрянула и завизжала:

– Не трогай меня! Не трогай! Я знаю, это он послал за тобой, но мне не нужно утешений. Я знала, что эта женщина ее убьет. У нее были недобрые глаза. Маурицио должен поехать к ней и привезти тело. Я не потерплю, чтобы она подсунула нам какое-нибудь тощее тельце, которое подобрала в деревне, а Иллюминату оставила себе. О, если бы мы только отдали больше вещей для костра! Я говорила ему, что этого мало. Что Бог накажет нас за скупость.

– Ах, Плаутилла, да какое это имеет отношение к «сожжению анафемы»! Это чума...

Но она заткнула уши и яростно затрясла головой:

– Нет, нет! Я не хочу тебя слушать. Лука сказал, ты попытаешься пошатнуть мою веру своими разговорами. Ничего ты не знаешь! Это в тебе рассудок говорит, а душа ведь страдает молча. Меня удивляет, что Господь тебя до сих пор не вразумил. Лука говорит, рано или поздно

это произойдет. Ты приглядишься к ребенку, когда он появится на свет. Если он будет нездоров, то никакое лекарство не спасет.

Я бросила взгляд на Эрилу. Будучи моей верной наперсницей, она никогда не уделяла большого внимания моей сестре, и сейчас я видела, что она уже вне себя. Если разумными доводами унять Плаутиллу невозможно, значит, нужно искать другие средства. Я глазами объяснила это Эриле. Та кивнула и бесшумно вышла из комнаты.

– Плаутилла, послушай меня, – заговорила я, и хотя мне было не перекричать ее, я постаралась повысить голос так, чтобы сестра услышала меня. – Если это и в самом деле была Его воля, тогда горе твое суетно. Если ты будешь упорствовать, то у тебя начнутся преждевременные роды, и на твоей совести окажется вторая смерть.

– Ах, ничего-то ты не понимаешь! Тебе кажется, что все обстоит именно так, как представляется тебе. Тебе кажется, ты всё знаешь. Ничего подобного! Ты никогда ничего не знала и сейчас не знаешь! – И тут все снова потонуло в бессвязных воплях.

Я дала ей еще немного поплакать, пораженная силой ее горя и гнева, направленного на меня.

– Послушай, – сказала я уже мягче, когда приступ отчаяния немного утих. – Одно я знаю точно – ты ее любила. Но ты не должна себя винить. Ты бы все равно никак не могла спасти ее.

– Нет... неправда... – Она осеклась. – Ах, зачем я только спрятала свои жемчуга! Я почти уже отдала их – почти. Но... но... они такие красивые! Лука говорит, сознаваясь в своих слабостях, мы приближаемся к Богу. Но иногда я не понимаю, чего Он желает. Я молюсь каждую ночь и исповедуюсь в грехах, но... Я не из железа сделана. К тому же это были не очень дорогие жемчуга... И мне кажется, когда я их надеваю, я люблю Бога ничуть не меньше... Неужели нам совсем нельзя заботиться о своей наружности? Ах, я совсем ничего не понимаю.

Плаутилла уже выплакала всю свою злость, и на сей раз, когда я дотронулась до нее, она уже не сопротивлялась. Я откинула с ее лица мокрую прядь. Кожа ее блестела от пота и слез, но все равно она казалась такой... такой милостивой.

– Ты права, Плаутилла. Я знаю не все. Я привыкла больше жить рассудком, чем сердцем. Я сама знаю. Но мне кажется, что если Бог нас любит, то не хочет, чтобы мы пресмыкались. Или умирали от

голода. Или были уродливыми – просто ради уродства. Он хочет, чтобы мы приходили к Нему, и не хочет мешать нам в этом. Не твоё себялюбие погубило Иллюминату. Её унесла чума. Если Бог решил забрать её к себе, то не для того, чтобы наказать тебя, а потому, что он возлюбил её. Ты вправе горевать по ней, но не дай горю сгубить тебя.

Она на миг смолкла.

– Ты в самом деле так думаешь?

– Ну конечно. Я думаю, всё то, что происходит здесь в последнее время, – неправильно. Я думаю, всё это вселяет в нас не любовь, а страх.

Плаутилла покачала головой:

– Не знаю... не знаю. Ты всегда была такой откровенной. Будь здесь Лука, он бы сказал...

– А часто ты видишь Луку? Она пожала плечами:

– Он время от времени бывает в наших краях со своими подчиненными. Мне кажется, дома ему не очень уютно, а... Ну, я хочу сказать, он всегда ко мне был добрее, чем ты и Томмазо. Наверное, вместе мы чувствовали себя не такими глупыми.

Её слова ранили меня сильнее, чем годы её злости или пренебрежения. Сколько же горя нанесла я моим родным своим своеволием?

– Прости меня, Плаутилла, – сказала я. – Я была тебе плохой сестрой. Но, если ты мне позволишь, я теперь попробую исправиться.

Она склонилась ко мне, и наши животы встретились. Мне сразу вспомнилась встреча Марии и Елизаветы: две молодые женщины, носящие во чреве дитя, стоят животом к животу, восхваляя неисповедимые пути Господни. Эта сцена была запечатлена живописцами множество раз, повторяясь на церковных стенах по всему городу. Как это верно! Пути Господни воистину неисповедимы. И пускай ни Плаутилла, ни Алессандра не носят святое семя, нашим уделом стало тихое откровение, почерпнутое из нашей любви друг к другу.

Так мы и сидели, затихнув, пока не вернулась Эрила с приготовленным питьем. Плаутилла безропотно выпила снадобье, и мы ещё немного посидели с ней, пока она не уснула.

Во сне её лицо стало ещё более пригожим.

– Я не верю, – сказала я, пока мы сидели у постели сестры, – что есть воля Божья на то, чтобы дома и семьи враждовали и распадались. Этот человек губит город.

– Уже не губит. – Эрила качнула головой. – Теперь он губит только самого себя.

Был уже поздний вечер, когда мы собрались возвращаться домой. Маурицио уговаривал нас переночевать – думаю, он боялся оставаться наедине с женой, в душе которой произошли такие перемены, – но нам обоим хотелось поскорее оказаться у себя дома, и мы вежливо отклонили его предложение.

На улицах теперь все было совсем не так, как в ту ночь, когда мы везли к себе художника. Моросил дождик, а от холода тьма казалась еще беспросветней. Но то был не обычный зимний мрак. Сама обстановка в городе изменилась. В последние недели, что прошли после отлучения Савонаролы, в воздухе повеяло инакомыслием. Сторонники Медичи, ощущая папскую поддержку, решились снова публично напомнить о своем существовании, и группки молодых людей из семей, которые надеялись выиграть от перемен в правительстве, вновь стали показываться на улицах. Произошла даже потасовка между ними и «ангелами». Поговаривали, что именно они учинили безобразие в Соборе: в ночь накануне выступления Савонаролы кто-то намазал кафедру салом. А потом, во время проповеди, в неф упал огромный сундук – с грохотом рухнул на каменный пол, вызвав большой переполох среди прихожан. В конце концов голоса противников Монаха стали звучать громче, чем его собственный.

Чтобы добраться домой, нам нужно было миновать каменный фасад Дворца Медичи (теперь заколоченного досками и разграбленного), повернуть у Баптистерия к югу, а затем на запад по улице Порта-Росса. Дорога была пуста, но на полпути я заметила грузную фигуру монаха-доминиканца, выскользнувшую откуда-то из темноты, из бокового переулка. Капюшон опущен на лицо, руки скрещены под длинными рукавами, темно-коричневая ряса почти сливается с ночным мраком. Когда мы подъехали ближе, он махнул нам рукой, останавливая. Мы приготовились к допросу.

– Доброго вам вечера, дочери Божьи. Мы склонили головы.

– Вы оказались на улице в очень поздний час, добрые сестры. Наверняка вы знаете, что наш благородный Савонарола запрещает подобное нарушение приличий. Вы одни?

– Как видите, отец. Но мы исполняли долг милосердия, – быстро ответила Эрила. – У сестры моей госпожи чума унесла ребенка. Мы утешали ее словами молитвы.

– В таком случае вы совершили не проступок, но богоугодное дело, – пробормотал монах. Лицо его по-прежнему было спрятано под капюшоном. – И Бог послал мне вас для другого милосердного дела. Здесь, неподалеку, лежит больная женщина. Я нашел ее на пороге церкви. Мне нужна помощь, чтобы доставить ее в больницу.

– Разумеется, мы поможем вам, – сказала я. – Садитесь к нам и показывайте, куда ехать.

Он покачал головой:

– Переулок слишком узок, вашей повозке там не проехать. Оставьте ее здесь, мы пойдем туда пешком, а потом все вместе перенесем ее сюда.

Мы спустились и привязали лошадей. Улица за нами была совершенно пуста, а в переулке, куда указывал монах, стоял кромешный мрак. По городу теперь разлита была такая тревога, что даже его монашеское платье не внушало мне полного доверия. Я гнала от себя страх. Доминиканец быстро шагал впереди нас, не подымая капюшона; ряса блестела от капель дождя. Еще совсем недавно доминиканцы расхаживали по улицам с таким видом, будто город принадлежит им, а этот, похоже, боялся, как бы его не увидели. Да, без сомнения, скоро произойдут перемены.

С одной из соседних улочек донесся крик. Крик удивления – а может быть, боли. Затем – взрыв дикого хохота. Я тревожно взглянула на Эрилу.

– Далеко ли еще, отец? – спросила она, когда мы пересекли улицу Терме и снова углубились в очередной переулок, уводящий дальше во тьму.

– Скоро, уже скоро, дитя мое, здесь, в Санти Апостоли. Разве вы не слышите ее криков?

Но я ничего не слышала. Слева показались очертания церковного портала. Тяжелые двери были заперты. Подойдя поближе, мы увидели человеческий силуэт, едва различимый в темноте. На ступеньках неловко сидела женщина, низко опустив голову на грудь, словно у нее не хватало сил подняться.

Эрила приблизилась к женщине раньше меня и склонилась над ней. И немедленно сделала мне знак рукой, чтобы я не двигалась с места.

– Отец, – сказала она быстро, – она не больна. Она мертва. И вся в крови.

– Ах нет, быть такого не может: она еще шевелилась, когда я уходил отсюда. Я пытался руками унять кровотечение. – Он поднял руки, рукава задрались, и даже в темноте я увидела пятна крови. Он сел рядом с мертвой женщиной. – Бедняжка! Бедняжка! Что ж, зато теперь она с Богом.

Может быть, и с Богом. Но каким мучительным путем ей пришлось к Нему пройти! Из-за плеча Эрилы я увидела кровавое месиво, в которое превратилась ее грудь. Впервые за много месяцев я почувствовала, как рот у меня наполняется тошнотворной слюной. Эрила быстро поднялась, и я заметила, что она тоже потрясена.

Монах поглядел на нас обеих:

– Мы должны помолиться о ее душе. Какова бы ни была ее несчастная жизнь, мы приведем ее к спасению нашими песнопениями и молитвами.

Он начал петь хриплым каркающим голосом. И вдруг мне померещилось в нем что-то знакомое: темный плащ, отзвук голоса, уже слышанного мною в другую ночь, тоже во тьме, голоса, от которого меня уже когда-то бросало в пот и в ужас. Я невольно сделала шаг назад. Он умолк.

– А ну, сестры, – на этот раз тон его был грубым, – опускайтесь-ка на колени!

Но тут Эрила решительно встала между ним и мною:

– Простите, отец. Мы не можем задерживаться. Моя госпожа ждет ребенка, и если я сейчас же не доставлю ее домой, она может простудиться. Сейчас не та ночь, чтобы женщина в тягости долго находилась на улице.

Он взглянул на меня так, словно впервые по-настоящему увидел.

– Ребенка? В праведности ли зачатого? – Тут его капюшон откинулся, и нашим глазам явилось бледное и широкое, как луна, лицо, испещренное впадинами оспин. Пемза – подумала я; монах-доминиканец с лицом как пемза, которому Флоренция представляется

выгребной ямой, полной греха. Давно ли Эрила рассказывала мне о нем? Я догадалась, что и она сейчас вспомнила то же самое.

– В праведности, в самой что ни на есть праведности, – ответила она за меня и потащила меня подальше от монаха. – К тому же дитя вот-вот появится на свет. Мы пришьем вам подмогу из дому. Мы живем здесь неподалеку.

Он посмотрел на нее, потом опустил голову и снова занялся трупом. Положил руку на грудь женщины, туда, где было больше всего крови, и снова запел.

Мы кое-как добрались до нашей повозки. Тьма стояла почти непроницаемая, и Эрила крепко держала мою руку в своей. Ладони наши были липкими.

– Что там произошло? – спросила я, едва дыша, когда мы снова забрались в повозку и хлестнули кнутом лошадей.

– Не знаю. Одно тебе скажу: эта женщина не первый час лежит мертвая. А от него так и разлило ее кровью.

Мы добрались домой и увидели, что ворота открыты. Конюх и Кристофоро ждали во дворе.

– Слава Богу, вернулась. Где ты была?

– Простите, – сказала я, пока он помогал мне сойти, – мы замешкались на улицах. Мы...

– Я уже разослал людей искать тебя по всему городу. Не нужно было так поздно выезжать.

– Знаю. Простите, – сказала я опять. И протянула к нему руку. Кристофоро взял ее, крепко сжал, и я ощутила волны тревоги, накатывающие на него одна за другой. – Но мы же вернулись. Целые и невредимые. Пойдемте же в дом, посидим в тепле, и я расскажу о том, что мы видели этой ночью.

– У нас нет на это времени.

За моей спиной конюх распрягал лошадь. Кристофоро дождался, пока тот не отойдет подальше. Эрила тоже стояла рядом. Я почувствовала, что муж колеблется, и знаком велела ей уйти.

– Что? Что случилось? Скажите же мне.

– Случилось самое плохое.

– Самое плохое? Что может быть хуже смерти и убийства? Но он, похоже, меня даже не расслышал.

- Томмазо арестован.
- Что?! Когда?
- Его взяли сегодня днем.
- Но кто... – Я умолкла. – Конечно. Лука...

Я снова замолкла. И при свете факелов мы поглядели друг другу в лицо. Слова вернулись ко мне не сразу.

– Наверняка это просто предупреждение, – прошептала я. – Он еще молод. Его, наверное, хотят попугать. – Муж ничего не отвечал. – Все будет хорошо. Томмазо не глупец. Если ему не хватит мужества, он прибегнет к хитрости.

Кристофоро грустно улыбнулся:

– Алессандра, мужество здесь ни при чем. Это вопрос времени. – Он помолчал. – Я уделял ему недостаточно внимания в последние месяцы. – Он произнес это так тихо, что я даже не уверена, правильно ли расслышала его.

– Сейчас ни к чему об этом думать, – сказала я поспешно. – Быть может, все мы уделяли недостаточно внимания друг другу. Быть может, потому все и произошло. Но теперь не время сдаваться. Вы сами так говорили. Голос Монаха теперь не единственный в городе. За вами явиться не осмелятся. Вы слишком знатного рода, да и обстановка меняется весьма быстро. Пойдемте же в дом и поговорим.

Мы засиделись допоздна в эту ночь, глядя на пламя очага, как случалось в недолгие приятные недели после нашей свадьбы, пока в мою душу еще не просочился разъедающий яд ревности. Теперь он, мой муж, нуждался в поддержке, и я, как могла, старалась его утешить, но этого было мало. Всякий раз, как он умолкал, я догадывалась, о чем он думает. Каково это – знать, что твой любимый человек страдает? Когда, сколько ни затыкай себе уши, все равно слышишь его крики? И хотя я покривила бы душой, сказав, что люблю брата, при мысли о том, что с ним сейчас делают, у меня все внутри сжималось. Сколь же тяжело должно быть моему мужу, который благоговел перед этим совершенным телом, держа его в своих объятьях? После дыбы оно уже не будет совершенным!

– Поговорите со мной, Кристофоро. Вам станет легче. Скажите мне... Вы, наверное, думали о таком повороте событий. О том, что каждый из вас станет делать, если все так обернется.

Он покачал головой:

– Томмазо никогда не задумывался о будущем. Он одарен искусством жить мгновением. Но он умел вытворять с этим мгновением такое, что начинало казаться, будто оно никогда не кончится.

– Значит, теперь задумается. Никогда не знаешь, как человек поведет себя в час испытаний. Томмазо может удивить нас обоих.

– Он боится боли.

– А кто ее не боится?

Я часто думала о дыбе. Как и все, наверное. Иногда, проходя мимо замка Барджелло летом, когда из-за жары все окна распахнуты, слышишь вопли, доносящиеся изнутри. И спешишь прочь, утешая себя мыслью, что там не истязают никого из твоих знакомых или что там держат одних преступников либо грешников и в любом случае ты ничем не можешь им помочь. Однако воображению не прикажешь! На дыбе ломают кости, чтобы сломить волю. Существует множество орудий пытки – щипцы, огонь, веревки, кнут, – но раны от них заживают, а шрамы зарастают. А вот после дыбы, если применять ее как следует, оправиться уже невозможно. Крепко связав руки за спиной, несчастных быстро поднимают вверх, на большую высоту, потом бросают вниз, и так снова и снова, и вот уже сухожилия и мышцы лопаются и рвутся, а кости выворачиваются из суставов. Иные находят, что это подобающая пытка, ибо напоминает о муках Распятия. О том, как рвались руки Спасителя под тяжестью Его тела, висевшего на кресте. Разница только в том, что от дыбы человек не умирает. Или умирает редко. Чаще всего, когда его отвязывают, он валится наземь, как тряпичная кукла. Иногда людей, уцелевших после пытки, годы спустя можно встретить на улицах: будто параличом разбитые, согбенные, они бредут, шатаясь и качаясь и трясая руками и ногами. Бог наделил человека не только телесной красотой, но и телесной хрупкостью. В Писании сказано, что до грехопадения люди не ведали боли и что наши страдания посланы нам за Евино послушание. Как трудно поверить, что Господь покарал нас так страшно за один-единственный, пускай и серьезный грех. Наверняка боль – это еще и напоминание о бренности и несовершенстве плоти по сравнению с душой. И хотя это представляется столь жестоким...

– Алессандра...

– Что? – Я далеко улетела мыслями, глядя на пламя, и не слышала, что говорил мой муж.

– Ты устала. Почему бы тебе не пойти спать? Какой смысл нам обоим сидеть и ждать?

Я покачала головой:

– Я останусь с вами. Вы представляете, сколько у нас еще времени в запасе?

– Нет. Один человек, которого схватили летом... Я видел его потом перед ссылкой. Он рассказал мне, как все было. Он говорил, что некоторые сразу выдают имена, чтобы избежать боли. Но признания, сделанные не под пыткой, считаются ненадежными.

– Значит, им приходится признаваться дважды, – сказала я. – До и после пытки. Любопытно, называют ли они одинаковые имена или разные.

Муж пожал плечами:

– Увидим.

Я еще немного посидела с ним, но, как Петр, бодрствовавший при Христе в ту последнюю ночь в саду, чувствовала, как постепенно тяжелеют веки и глаза слипаются. День был очень длинный – к тому же порой мое будущее дитя, казалось, само решает, когда мне бодрствовать и когда спать.

– Пойдем.

Я подняла глаза и увидела, что он стоит надо мной. Я протянула ему руку. Он отвел меня в мою спальню и помог улечься в постель.

– Позвать Эрилу?

– Нет-нет, пускай спит. Я просто немного полежу. Я закрыла глаза и замерла.

И вдруг почувствовала, как он забирается на кровать, ложится рядом со мной, осторожно придвигается, и вот уже мы лежим с ним бок о бок – совсем как каменные изваяния на церковных надгробиях. Он очень старался меня не разбудить, и я не стала показывать ему, что проснулась. Через некоторое время он положил руку мне на живот. Я вспомнила Плаутиллу и ее умершую малышку, потом монаха и окровавленную грудь той женщины и, наконец, подумала о Пресвятой Деве – такой умиротворенной, такой благословенной в своей тягости. И, подумав о ней, ощутила, как шевелится ребенок.

– А-а, – тихо сказал муж, – он уже готовится к выходу.

– М-м-м, – промычала я сквозь сон. – Хорошо брыкается.

– Какой же он у нас получится? Если найти подходящих наставников, ум у него наверняка засверкает как новенький флорин.

– И глаз, способный отличить новенькую греческую статую от древней. – Я ощущала тепло его ладони у себя на животе. – Надеюсь все же, он сумеет любить и Бога, и искусство безо всякого смущения и страха. Хочется думать, в будущем Флоренция не станет разжигать между ними вражду.

– Да. Мне тоже хочется так думать.

Мы умолкли. Я нежно накрыла своей ладонью его руку.

На рассвете весь дом перебудил стук в ворота. Дурная весть часто приходит с утра пораньше, словно дню не под силу лживое бремя обманчивой надежды.

Меня разбудил шум, но муж уже давно не спал. Дитя в моем чреве так выросло, а у меня так мало осталось сил, что я не скоро сумела слезть с кровати и сойти по лестнице. Когда я спустилась, ворота были уже отперты и вестник стоял посреди двора. Эрила тоже поднялась: во времена вроде нынешних слухи, похоже, просачиваются сквозь невидимые щели в стенах.

Я ожидала увидеть солдат. Или даже – Боже сохрани! – Луку с его отрядом. Но это оказался просто какой-то старик.

– Мона Алессандра! – То был муж Лодовики. Я не сразу узнала его: годы и тяжкий труд сильно изменили его.

– Андреа, что случилось? Что, скажи?

У него было такое ужасное выражение лица, что я сразу подумала о худшем.

– Отец? – вскричала я. – Мой отец? Он умер?

– Нет-нет. Ваш отец в добром здравии, мадонна. – Он умолк. – Меня послала ваша матушка. Она поручила мне сказать вам, что сегодня рано утром к нам в дом пришли солдаты. И что они забрали художника.

Значит, Томмазо все-таки прибег к хитрости, дабы избежать боли.

У меня внутри не было никакого шевеления. Я положила руки на живот и ощупывала его, пока не нашла крохотную ножку и ягодицу, плотно прижавшуюся к стенке утробы. Я стала по-всякому теребить их, но дитя никак не отзывалось. Я приказала себе успокоиться. Сон часто напоминает смерть – даже когда ты еще не успел родиться. – Алессандра!

Ее голос заставил меня раскрыть глаза. Моя верная Эрила сидела рядом, не сводя с меня глаз. За ней в лучах утреннего солнца возвышался Кристофоро. Я снова перевела взгляд на Эрилу. Осторожно, говорили ее глаза. Теперь с каждым мгновением твоя жизнь делается все опаснее. И тут я не могу тебе помочь.

Я улыбнулась ей. Не удивительно, что она умеет читать по ладони и гадать по семенам, рассыпанным по земле. Я бы хотела, чтобы она всегда оставалась со мной рядом, уча меня всем своим жизненным премудростям, а я бы в свой черед смогла передать их своему ребенку. Понимаю, ответила я ей беззвучно. Постараюсь, как могу.

– Эй! – Мне показалось, что мой голос звучит откуда-то издалека. – Что такое?

– Все хорошо. Ты просто ненадолго лишилась чувств – вот и все. – И в голосе мужа послышалось облегчение.

– А ребенок...

– Спит, не беспокойся, – вмешалась Эрила. – И тебе нужно уснуть. На таком сроке лишнее волнение может повредить вам обоим.

– Знаю. – Я приподнялась, взяла ее руку и быстро пожала ее. – Благодарю тебя, Эрила. Теперь ты можешь оставить нас.

Она кивнула и, уже не глядя на меня, вышла. Я проводила ее взглядом: копна неубранных волос взвилась, как рой сердитых мух, вокруг ее головы.

– Вас не забрали. – Я улыбнулась Кристофоро. – Наверное, облегчение слишком сильно на меня подействовало. – Но, даже произнося эти слова, я чувствовала, как во мне поднимается волна тошноты. Теперь я знаю, подумала я. Знаю, что ты чувствовал: тот слепой страх, который рождается, когда представляешь, что происходит с *ним* – прямо сейчас, в тот самый миг, пока ты об этом

думаешь. Я сглотнула и снова попыталась заговорить. – Знаете, Плаутилла говорила, что роды хуже дыбы. Но я не могу в это поверить, потому что роды дают жизнь, и это наверняка можно почувствовать, когда начнутся схватки.

– Твоя сестра ничего в таких вещах не понимает, – сказал он отрывисто.

– Нет. Кристофоро... – И я сама услышала, как мой голос дрогнул.

– Я слушаю.

– Кристофоро, я так рада, что вас не забрали. Так рада... – Я умолкла. – Но теперь вы видите, как ненавидит меня Томмазо. Он... – Я снова осеклась, вспомнив предостерегающий взгляд Эрилы. – Он мог бы назвать десяток других имен. Он знает, как я люблю искусство, знает, что я многим обязана советам художника. – Мне было трудно выдержать взгляд мужа. – Его ведь тоже станут мучить, да?

Он кивнул:

– Да, раз его назвали. Таков закон.

– Но он же ничего не знает. И никого. Значит, он не может сообщить никаких имен. Но его не станут слушать. И тогда вы сами знаете, что произойдет, Кристофоро. Вы знаете: его будут пытаться и пытаться, дожидаясь, когда же он заговорит, и сломают ему суставы рук. А без рук,

– Знаю, Алессандра. Знаю. – Голос его звучал резко. – Мне отлично известно, что там происходит с людьми.

– Простите. – Несмотря на то что я твердо решила вести себя благоразумно, по лицу моему уже текли слезы. – Простите. Я знаю, это не ваша вина. – Я начала подниматься с кровати. – Я должна отправиться туда.

Он двинулся ко мне:

– Не делай глупостей.

– Нет, нет. Я должна туда пойти. Я должна все объяснить. Если не поверят, пускай допросят меня. Закон запрещает пытаться беременных женщин, так что им придется положиться на мое слово.

– А-а, но это же совершеннейшая глупость! Никто даже слушать тебя не станет. Ты только наделаешь еще больше вреда и всех нас впутаешь в их окаянную вину.

– В их вину? Но...

– Послушай меня...

– Это не *их* вина. Это...

– Черт возьми! Да я уже послал...

Наши голоса зазвучали сердито и громко. Я представила себе, как Эрилла стоит за дверью в полном смятении, пытаюсь понять, из-за чего поднялся этот крик. Я осеклась:

– Что вы говорили?

– Я говорил... только успокойся, чтобы выслушать меня, – что уже послал в тюрьму.

– Кого послали?

– Человека, к которому прислушаются. Ты вольна думать что угодно о своем брате – да и я тоже волен думать о нем что угодно, – но я не хочу, чтобы ты считала, будто я могу позволить невинному человеку страдать вместо меня.

– О! Неужели вы исповедались? Он горько рассмеялся:

– Я не настолько храбр. Но я нашел путь к ушам тех, кто выносит решения по таким делам. Ты проспала очень важные часы. История бежит быстрее, чем Арно в пору половодья, и все вокруг меняется, пока мы с тобой разговариваем.

– Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать, что сейчас власть Монаха зашаталась.

– Что произошло?

– Вчера глава францисканского ордена открыто выступил против него, заявив, что тот никакой не пророк, а сумасшедший, погрязший в заблуждениях, и что город рискует навлечь на себя проклятье, следуя его повелениям. А чтобы доказать свою правоту, он вызвал его на испытание огнем.

– На что?

– Они оба пройдут через пламя, и тогда выяснится, вправду ли Савонарола находится под защитой Бога.

– О, Пресвятая Мария! Что же такое происходит? Мы превратились в сущих варваров.

– Да, это верно. Но это ведь зрелище – а в подобные времена зрелище с успехом заменяет мысль. На площади Синьории уже раскладывают просмоленные бревна.

– А если Савонарола победит?

– Не будь наивной, Алессандра. Ни один из них не победит. Все это только раззадорит толпу. Но Савонарола уже проиграл. Сегодня

утром он провозгласил, что дело Божье важнее подобных испытаний, и назначил вместо себя другого монаха.

– О! Но тогда он изобличил сам себя как обманщика и труса,

– Он так совсем не считает, однако народ истолкует его слова по-своему. Но что важнее всего... Это то, что Синьории больше нет нужды принимать его сторону. Там ждали подобного предлога с самого дня его отлучения.

– Значит, вы думаете...

– Да, я думаю, что очень скоро все наконец рухнет. Никто не хочет оставаться сторонником проигравшего вождя, все забудут о былом подобострастии. В такие времена истязатели сами очень быстро становятся истязаемыми. В прежние дни дела о подобных преступлениях улаживались с помощью влияния и кошелька. Остается молиться и надеяться, что эти способы снова заработают.

– Вы выкупите их из тюрьмы?

– Да, вполне возможно.

– Господи! – Я снова расплакалась, не в силах унять слезы. – Господи. Какое безумие! Что нас ждет?

– Что нас ждет? – Он грустно покачал головой. – Будем делать, что можем, жить той жизнью, которая нам дана, молиться о том, чтобы Савонарола оказался не прав, и надеяться, что Бог в Своем бесконечном милосердии способен любить не только святых, но и грешников.

Долгий день перешел в вечер, а вечер в ночь. Около полуночи Кристофоро принесли записку. Он тут же ушел. Несмотря на позднюю ночь, город отказывался засыпать. Шум на улицах напомнил прежние времена. Если не закрывать окон, можно было слышать гул, доносившийся с площади.

Чтобы скоротать ожидание, мы пошли в мою мастерскую. Я вспоминала то утро перед моей свадьбой, когда звонила «Корова», а матушка не позволяла мне выйти посмотреть, что происходит. Как она, нося меня во чреве, стала свидетельницей насилия во время заговора Пацци, так теперь и я, готовясь произвести дитя на свет, оказалась перед лицом чего-то подобного. Я хотела взяться за кисть, чтобы унять страх, но краски теперь казались мне тусклыми и несколько не помогали утишить бурю в моей душе.

Лишь на рассвете ворота распахнулись, и я услышала звуки шагов по каменным ступенькам. Эрила, которая к тому времени уснула, пробудилась в мгновение ока. Когда Кристофоро вошел, я уже поднялась и собиралась броситься ему навстречу, но она остановила меня остерегающим взглядом.

– Добро пожаловать домой, муж мой, – сказала я спокойно. – Как дела?

– Твоего художника освободили.

– О! – Моя рука взметнулась ко рту, но я вновь почувствовала, как Эрила взглядом велит мне успокоиться. – А... что с Томмазо?

Кристофоро немного помолчал.

– Томмазо мы не нашли. Его не оказалось в тюрьме. Никто не знает, где он.

– Но... я уверена: где бы он ни был, он цел и невредим. Вы найдете его.

– Надо надеяться, что да.

Однако мы оба понимали, что это далеко не бесспорное умозаключение. Это не первый случай, когда узник бесследно исчезает из тюрьмы. И все же это Томмазо. Человек слишком заметный, чтобы закончить жизнь в какой-нибудь телеге для трупов под рогожей вместо савана.

– Еще что-нибудь удалось узнать?

Он бросил взгляд на Эрилу. Она встала, но я положила ладонь ей на плечо:

– Кристофоро, ей известно все, что известно нам. Ей я бы доверила свою жизнь. И теперь, я считаю, она должна услышать все остальное.

Он удивленно смотрел на нее некоторое время – так, словно увидел впервые. Эрила кротко склонила голову.

– Ну, так что ты еще желаешь знать? – спросил он устало.

– Они не... Я хочу сказать...

– Нам повезло. Тюремщиков куда больше занимали текущие новости, чем текущая работа. Мы нашли его до того, как произошло худшее. – Я хотела поподробней расспросить его, но не знала, как лучше это сделать. – Не беспокойся, Алессандра. Твой драгоценный художник по-прежнему сможет держать кисть.

– Благодарю вас, – сказала я.

– Пожалуй, тебе еще рано меня благодарить. Ты еще не дослушала. Его отпустили, но обвинения против него остаются в силе. Как иностранец, он подвергнется изгнанию. Причем немедленно. Я поговорил с твоей матерью и написал ему рекомендательное письмо к моим знакомым в Риме. Там он окажется в безопасности. Если его дарование не пропало, думаю, оно пригодится ему там. Он уже выслан.

Уже выслан! А я чего ожидала? Уже выслан. Что за его свободу не придется ничем платить? Мир, казалось, пошатнулся за несколько секунд. Я поняла, что жизнь способна в одночасье ввергнуть человека в пучину отчаяния. Но я не должна допустить, чтобы это произошло со мной. Я видела, как муж смотрит на меня, и мне показалось, что на лице у него грусть, которой я никогда не замечала прежде. Я сглотнула.

– А что еще можно предпринять для спасения Томмазо? Он пожал плечами:

– Будем продолжать поиски. Если он во Флоренции, мы его найдем.

– О, не сомневаюсь.

У него был очень усталый вид. На столе стоял кувшин с вином. Я поднесла ему кубок, наклонившись, насколько позволял мне живот. Он сделал большой глоток, потом снова откинул голову на спинку кресла.

Мне показалось, что за эту полную тревоги ночь его кожа пожелтела и повисла, теперь на меня смотрело лицо старика. Я положила руку на его руку. Он поглядел на нее, но никак не отозвался.

– А что творится в городе? – спросила я. – Состоялся суд Божий?

Он покачал головой:

– О, эта история с каждым новым поворотом становится все глупее. Теперь францисканец заявил, что согласен пройти через огонь только с Савонаролой и ни с кем другим. И вот уже вместо францисканца тоже назначили другого монаха.

– Ну, тогда все это вообще бессмысленно.

– Да, разве что они докажут в очередной раз, что огонь жжется. Они с таким же успехом могли бы пройтись по Арно, чтобы рассудить, у кого ноги намокнут.

– Почему же Синьория не положит этому конец?

– Потому что толпа уже неистовствует в ожидании зрелища и сейчас, если просто отменить его, случится бунт. Можно лишь отделаться от позора, свалив все на этих монахов. Эти в Синьории – как крысы на тонущем корабле: хотят спрыгнуть, а воды боятся. Ну, из их окон все равно откроется лучший в городе вид, когда пламя начнет лизать пятки глупцам монахам.

В прежние времена от подобной новости у меня бы, наверное, по коже побежали мурашки от возбуждения и ужаса одновременно, и я бы, пожалуй, начала придумывать разные способы вырваться на свободу и присоединиться к толпе, чтобы своими глазами посмотреть на историческое событие. Но сейчас мне было не до того.

– Противно слышать, как мы низко пали. Вы пойдете смотреть?

– Я? Нет. У меня есть другие дела, да и к чему мне смотреть на унижение моего города? – Он повернулся к Эриле. – А ты? Насколько я знаю, ты знаешь обо всем, что происходит в городе, больше, чем многие государственные мужи. Ты не пойдешь поглядеть на это зрелище?

Она спокойно выдержала его взгляд.

– Я не люблю запах горелого мяса, – ответила она хладнокровно.

– Вот и хорошо. Остается лишь уповать на вмешательство Господа!

Так оно и вышло.

Может быть, вы не слышали эту историю. Во Флоренции она уже сделалась легендой: безумные монахи позорили свой сан, пререкаясь и брызжа слюной, пока Бог ударом грома не положил конец этому фарсу.

Если бы нужно было найти определение этому греху, то в голову само приходило слово «гордыня». А если бы нужно было установить, кто в нем был больше всего повинен, то, несомненно, первыми следовало назвать доминиканцев.

Суд назначили на следующий день – канун Входа Господня в Иерусалим. Небеса к полудню сделались свинцовыми. Францисканцы явились вовремя и, по словам их сторонников, вели себя с подобающим смирением и благочестием. Их соперники, научившиеся театральным эффектам у своего вождя, напротив, явились с вопиющим опозданием. Они вышли на площадь стройной процессией, неся перед собой огромное распятие. За ними следовали толпы приверженцев, распевая «Laudate»^[19] и псалмы. А позади всех шествовал сам Савонарола, горделивый и непокорный, держа в высоко поднятых руках освященную гостию.^[20]

Для францисканцев эта картина оказалась невыносимой: они потребовали, чтобы гостию немедленно вынули из рук отлучника. Спор усугубился, когда назначенный Савонаролой монах, фра Доменико, заявил о своем намерении пронести с собой чрез огонь и гостию, и распятие. Тогда францисканец вообще отказался идти в огонь. Потом, после долгих и ожесточенных пререканий – а костер тем временем разгорался все выше и горячее, – фра Доменико согласился распятие оставить, но настаивал на том, чтобы взять с собой гостию.

Они все еще препирались, как дети, когда Господь, разгневанный их самонадеянностью и крикливостью, с грохотом разверз небеса и обрушил потоки воды на пылавший костер, окутав всю площадь клубами дыма и смятением. Сделались сумерки, и Синьория, безмерно обрадовавшись, что наконец вместо нее кто-то другой разрешил это дело, объявила о провале суда и велела толпам расходиться по домам.

И всю ту ночь Флоренция варилась в собственных ядовитых соках позора и разочарования.

Вставайте.

– Что такое? Что случилось? – От страха я немедленно проснулась.

– Ш-ш. Тихо. – Эрила, склонившаяся надо мной, была полностью одета. – Не задавайте вопросов. Просто вставайте и одевайтесь. Живо. Только не шумите.

Я повиновалась, хотя теперь дитя мое было таким тяжелым, что даже простые движения отнимали много времени.

Она дожидалась меня внизу лестницы. Стоял самый черный час ночи. Я открыла было рот, но Эрила приложила палец к моим губам. Потом, взяв меня за руку, она быстро пожала ее и повела меня к задней части дома, а там отперла дверь для слуг. Мы выскользнули на улицу. Нас обдало холодом: в воздухе еще живы были воспоминания о зиме.

– Послушайте меня, Алессандра. Мы должны идти. Хорошо? Вы можете идти?

– Сначала скажи, куда и зачем.

– Нет. Я же сказала: не задавайте вопросов. Лучше, если вы не будете знать. Я серьезно говорю. Доверьтесь мне. У нас мало времени.

– Тогда скажи мне хотя бы, далеко ли идти?

– Довольно далеко. До Порта-ди-Джустициа.

До городских ворот, где совершаются казни? Я снова открыла было рот, но Эрила уже пропала во тьме.

Мы были не единственными прохожими. По городу, взбешенному после вчерашнего разочарования, слонялись ватаги мужчин, искавших себе забавы. Мы тщательно покрыли головы и шли проулками, где ночная тьма была всего гуще. Дважды или трижды Эрила вдруг останавливалась, придерживала меня и прислушивалась, и один раз я явственно расслышала за нами какой-то шорох, может быть, чьи-то шаги. Она немного отошла назад, чтобы проверить, что это, вперила взгляд в темноту, затем снова ринулась вперед и потащила меня за собой еще быстрее. Мы миновали остатки вчерашних костров, но не пошли через площадь, а повернули к северу неподалеку от дома моего отца, затем срезали путь за Санта Кроче, а потом свернули на улицу

Мальконтенти – мрачную тоскливую улицу, по которой проходят осужденные в сопровождении монахов в черном.

Ребенок у меня в животе ворочался, хотя теперь места для этого оставалось совсем мало. Я почувствовала, как он сильно пихнул меня локтем или коленкой.

– Эрила остановись. Пожалуйста. Я не могу идти так быстро.

Она нетерпеливо ответила:

– Надо. Нас не станут ждать.

За нами колокола Санта Кроче пробили три часа – начало новой стражи. Здесь улицы сменились монастырскими огородами и садами, раскинувшимися по обе стороны, а впереди показались ворота и высокие городские стены. Помнится, Томмазо рассказывал мне, что летом такие места становятся отличными площадками для игр – для всех, кто любит игры. Я тогда представляла себе молодых женщин с соблазнительными улыбками, но он, похоже, имел в виду совсем другое. Однако теперь городу не до подобных шалостей, и на поросшем кустарником пустыре, что тянулся до самых ворот, не было видно ни души.

– Боже милостивый, надеюсь, мы не опоздали, – прошептала Эрила. Она подтолкнула меня в тень раскидистого дерева. – Ни шагу отсюда, – приказала она. – Я сейчас вернусь.

Она растворилась во мраке, и я прислонилась к стволу. Я задыхалась от быстрой ходьбы, ноги у меня дрожали. Слева мне послышалось какое-то движение, я быстро повернулась, но ничего не увидела. У ворот, наверное, были солдаты: в три часа ночи происходила смена караула. Почему мы так сюда спешили?

Стояла глубокая тишина, а тьма, разливавшаяся вширь, казалась еще более пугающей, чем темнота узких улиц. Я почувствовала короткую резкую боль внизу живота, но не поняла, было ли это движение ребенка или просто страх. И увидела, как от черной стены отделяется фигура. Это была Эрила – она почти бежала. Приблизившись, она схватила меня за руку:

– Алессандра. Теперь мы должны возвращаться. Немедленно. Я понимаю, вы устали, но пойдете как можно скорее.

– Но...

– Никаких «но». Я все расскажу вам, обещаю, только не сейчас. Сейчас пойдете, прошу вас. – В ее голосе звучал ужас, какого я

никогда раньше не слышала, и это заставило меня умолкнуть. Она взяла меня за руку, а когда я выбивалась из сил, поддерживала меня под локоть. Мы двинулись с пустыря обратно к городским улицам. Эрила рыскала взглядом по сторонам, словно читая темноту. Когда мы дошли до площади перед Санта Кроче, я остановилась. Над нами высилась громада церковного фасада с его каменной кладкой.

– Я должна отдохнуть, иначе мне станет дурно, – сказала я дрожащим от усталости голосом.

Эрила кивнула, по-прежнему вертя головой во все стороны. В неверном лунном свете площадь казалась серым озером, а единственное окно-роза смотрело на нас с огромной церкви, словно глаз Циклопа.

– Ну же, рассказывай.

– Потом. Я вам...

– Нет, сейчас. Рассказывай. Я с места не двинусь, пока не расскажешь.

– О, Боже правый, у нас нет сейчас времени!

– Тогда мы остаемся здесь. И она поняла, что я не шучу.

– Ну хорошо. Сегодня вечером, после того, как вы уснули, я сидела у себя в комнате, и тут ваш муж приходит в помещение для слуг. Он говорил со своим лакеем. Я слышала весь их разговор. Он сказал слуге, что тот этой же ночью должен отнести пропуск к воротам Порта-ди-Джустиция. Он говорил, что это срочное дело: один человек, художник, должен покинуть город в три часа ночи и ему нужен документ, чтобы стража пропустила его. – Эрила зажмурила глаза. – Клянусь вам: именно это он говорил. Потому-то я и притащила вас туда. Я думала...

– Ты думала, я увижу его там. А где же он был?

– Его там не было. Ни его, ни того слуги. Там никого не было.

– Значит, это были не те ворота. Нам нужно пойти...

– Нет! Нет. Послушайте меня. Я точно помню, что я слышала. – Она умолкла. – Теперь мне кажется, что все это говорилось нарочно – для моих ушей.

– Что ты хочешь этим сказать? Она оглянулась по сторонам:

– Мне кажется, ваш муж...

– Нет... Боже мой, нет! Кристофоро ничего не знает. Откуда бы он узнал? Это невозможно. Никто не знает, кроме тебя и меня.

– А вы думаете, ваш брат не мог догадаться? – возразила она сердито. – В тот день, когда застал вас вдвоем в часовне?

– Думаю, он что-то заподозрил, но он просто не успел бы рассказать об этом Кристофоро. Я наблюдала за ними каждую минуту, пока они были вместе. Он не рассказывал ему. Я знаю. А с тех пор они не виделись, потому что Томмазо все еще не нашелся. – Она поглядела на меня с удивлением, а потом опустила взгляд в землю. – Или нет? – И, едва я это произнесла, я почувствовала, что отчаяние, будто тошнота, подступает к самому горлу. – О, Боже праведный. Если ты права... Если это была западня...

– Послушайте, я уже сама не знаю, права я или нет. Только знаю, что если мы сейчас не вернемся домой, нас точно раскусят.

Я видела, что ее охватил страх. Она не привыкла ошибаться, моя Эрила, и сейчас не время было колебаться.

– Послушай меня, – сказала я решительно. – Я рада, что ты так поступила. Рада. Понимаешь? Не тревожься. – Теперь настал мой черед успокаивать ее. – Я хорошо себя чувствую. А теперь пойдём.

Мы быстро зашагали, идя тем же путем, так что ночная тьма надежно окутывала нас почти всю дорогу. Если бы за нами кто-то следовал, мы бы непременно это заметили. Ребенок уже утомился, хотя напряжение сказывалось, и я ощущала легкую ноющую боль внизу живота. Отовсюду долетали какие-то крики. Южнее Собора мы чуть не наткнулись на ватагу хриплых вооруженных юнцов, которые направлялись к Соборной площади. Эрила быстро утянула меня в тень, и они прошли мимо. На заре в Соборе начнется месса в честь Входа Господня в Иерусалим, а раз сам Савонарола не мог читать проповедь, его место на кафедре должен был занять один из его последователей. В городе, где азартные игры вот-вот вернутся на улицы, я бы не стала биться об заклад, что дело дойдет до проповеди.

Когда мы снова двинулись в путь, я почувствовала резкую боль в поясице и чуть не вскрикнула. Эрила обернулась, и в ее глазах я увидела отражение собственного ужаса.

– Все в порядке, – сказала я, попытавшись рассмеяться. Но вышло это у меня плохо. – Это просто судорога.

– Боже милостивый, – пробормотала она. Я взяла ее за руку и крепко сжала ее.

– Говорю же тебе, со мной все хорошо. У нас с ним уговор, с ребенком. Он не родится, пока городом правит Савонарола. А Монах еще не ушел. Пойдем. Тут уже совсем близко, так что давай чуть помедленнее.

Дом был погружен в молчаливую тьму. Мы тихо проскользнули внутрь через заднюю дверь, поднялись по лестнице. Дверь в комнату мужа была закрыта. Я так устала, что у меня не осталось сил раздеться. Эрила помогла мне, а потом, не раздеваясь, улеглась на тюфяке возле двери. Я понимала, что ее встревожили мои боли. Она вытащила какие-то капли из мешочка со снадобьями своей матери и дала мне проглотить. Прежде чем уснуть, я положила руки на живот. Но если раньше эта гора вздымалась очень высоко, почти до самых ребер, то теперь ребенок переместился ниже, и его тельце давило своей тяжестью мне на мочевой пузырь. Если верить календарю, ему оставалось просидеть у меня в животе еще три недели. К тому времени должны подыскать и повитуху, и кормилицу.

– Потерпи, малыш, – прошептала я. – Теперь уже недолго ждать. Мы подготовим для тебя и город, и дом.

И ребенок, держа обещание, которое мы дали друг другу, дал мне спокойно заснуть.

Когда я проснулась, Эрилы не было, а во всем доме стояла тишина. После сна я чувствовала себя разбитой. Целебное питье Эрилы сработало. Некоторое время я лежала, пытаюсь понять, какое сейчас время суток. Должно быть, уже разгар дня, сиеста, и все отдыхают. Ноющие боли в животе вернулись: казалось, будто кто-то грубой щеткой скребет изнутри мою утробу.

Я подошла к двери и позвала Эрилу. Никакого ответа. Я надела платье и медленно спустилась по лестнице. И кухня, и помещение для слуг оказались пусты. Рядом с кладовкой была каморка, где хранились мешки с мукой и висели окорока. Когда я проходила мимо, оттуда донеслось какое-то мурлыканье. Там на полу, перед горкой изюма, сидела старшая дочь повара, делила ее на мелкие кучки и засовывала в рот ягоды. Она была крепче здоровьем, чем сестра, и уцелела во время чумы, но ум ее был развит меньше, чем тело; вернее сказать, его изрядно не хватало. В ее годы я уже читала наизусть Данте и спрягала греческие глаголы. Впрочем, сейчас в подобных умениях проку мало.

– Танча? – Мой голос заставил ее вздрогнуть. Она торопливо накрыла юбкой горку изюма. – А где твой отец?

– Отец?.. Он пошел воевать.

– С кем воевать?

– Воевать с Монахом, – ответила она так, словно речь шла о какой-то веселой забаве.

– А другие слуги?

Она передернула плечами. Пока я жила здесь, мы с ней едва ли перемолвились парой слов, и она, похоже, меня боялась. С неубранными волосами и огромным животом я, наверное, представляла собой жуткое зрелище.

– Ответь мне. Здесь никого нет?

– Господин сказал, что все могут уходить, – сказала она громко. – А мне не разрешил.

– Моя невольница тоже ушла? Она смотрела на меня тупо.

– Чернокожая женщина, – нетерпеливо пояснила я. – Эри-ла. Она тоже ушла?

– Не знаю.

И как только она сказала это, меня сковал первый приступ боли; словно железный обруч стиснул мне нижнюю часть живота, да так сильно, что я испугалась, как бы мои внутренности не выпали на пол.

– А-а-а...

От боли у меня перехватило дыхание, и пришлось ухватиться за дверь, чтобы не упасть. Судорога длилась десять или пятнадцать секунд, а потом все прошло. Только не сейчас. О Господи, только не сейчас, прошу тебя. Я еще не готова.

Когда я подняла голову, то увидела, что девочка глазеет на мой живот.

– Ребенок такой большой, госпожа.

– Да, да, большой. Танча, послушай меня. – Я заговорила медленно и внятно. – Я хочу, чтобы ты сделала кое-что для меня. Мне нужно, чтобы ты отнесла записку в другую часть города, в дом моей матери возле площади Сант Амброджо. Понимаешь?

Она уставилась на меня, а потом издала смешок:

– Я не могу, госпожа. Я не знаю, где это, и господин сказал, что остальные могут идти смотреть на войну, но я должна оставаться здесь.

Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. О Боже, прошу тебя, если мне суждено рожать сейчас, дай мне хотя бы Эрилу в помощь. Не оставляй меня в доме одну с полоумной девчонкой. Не может быть, чтобы все произошло сейчас. Не может быть. Я просто утомлена и напугана. Лучше отправиться в постель и снова уснуть. А когда я проснусь, дом снова оживится голосами и со мной будет все хорошо.

Я стала осторожно подниматься по лестнице. Добравшись до второго этажа, я услышала какой-то шум. Что это – скрип стула или, может, оконный ставень повернулся на петлях? Звук доносился из галереи. Я осторожно прошла по коридору, поддерживая живот снизу, и толкнула дверь.

В галерее лучи раннего весеннего солнца заливали золотым светом и мощенный плитамы пол, и сами статуи. Тело Дискобола казалось теплым и живым.

– Доброе утро, жена.

Теперь настал мой черед вздрогнуть. Я обернулась и увидела, что он сидит в другом конце галереи, с книгой на коленях, перед статуей Вакха, в хмельной истоме чуть не валящегося со своего пьедестала.

– Кристофоро! Вы меня напугали. Что происходит? Куда все подевались?

– Решили присутствовать при историческом событии. Как ты когда-то мечтала. Сегодня утром толпа сорвала службу в Соборе. Доминиканцы бежали и укрылись в Сан Марко, и теперь монастырь осажден.

– Боже мой! А Савонарола?

– Тоже там, внутри. Синьория уже издала указ о его аресте. Теперь это лишь вопрос времени.

Значит, все в самом деле подходит к концу. Я снова почувствовала ноющую боль внизу живота. Похоже, младенец чувствует политические перемены. Может быть, это все-таки дитя моего мужа.

– А Эрила? Она тоже отправилась смотреть?

– Эрила? Только не говори мне, что твоя верная Эрила покинула тебя. Я думал, она сопровождает тебя повсюду, куда бы ты ни отправлялась. – Он умолк. До меня слишком поздно дошел подспудный смысл его слов. – Ты так поздно проснулась, Алессандра. Наверное, совсем не спала ночью. Может, расскажешь почему?

– Я... я устала, Кристофоро, и, мне кажется, ребенок появится на свет раньше, чем мы ожидали.

– В таком случае тебе лучше снова лечь в постель.

Да, теперь ошибиться было невозможно: в его голосе звучала холодная пустая учтивость. Когда же он переменялся? Может быть, уже тогда, когда принес весть об освобождении художника? Неужели я настолько утратила чуткость, что, несмотря на предостережения Эрилы, не обратила внимания на его перемену?

– Известно ли что-нибудь о Томмазо? – спросила я.

– А почему ты об этом спрашиваешь?

– Я... я просто молилась о том, чтобы он нашелся.

Он отвернулся от меня и поглядел на свои статуи. Не будь Дискобол так сосредоточен на своей задаче, можно было бы поверить, что он тоже слушает.

– Ты знаешь, наверное, изречение о том, что великие художники способны в своих произведениях говорить только правду. Ты согласна с этим, Алессандра?

– Я... я не знаю. Пожалуй, согласна.

– А согласишься ли ты, что ребенок есть произведение Божье?

– Конечно.

– В таком случае возможно ли обнаружить ложь в ребенке? Я почувствовала, как моя кожа покрывается холодным липким потом.

– Не понимаю, о чем вы говорите, – сказала я и сама расслышала легкую дрожь в своем голосе.

– Не понимаешь? – Он немного выждал. – Твой брат в безопасности.

– О! Благодарение Богу. Что с ним?

– Он... переменялся. Думаю, это наиболее подходящее слово.

– А там не удалось...

– Не удалось – что? Вытянуть из него правду? С Томмазо этого трудно добиться. Порой он лжет убедительнее, чем говорит правду.

Я сглотнула.

– Пожалуй, вам следует вспоминать об этом, прежде чем верить каждому его слову, – сказала я мягко.

– Пожалуй. А может быть, его необычайные способности к вранью – семейная черта всех Чекки?

Я посмотрела на мужа в упор:

– Я никогда не лгала вам, Кристофоро.

– Правда? – Он тоже посмотрел мне в глаза. – Кто отец твоего ребенка – я?

Я перевела дух. Теперь отступить было некуда.

– Не знаю.

Еще мгновение он не сводил с меня взгляда, потом отложил книгу в сторону и поднялся.

– Что ж, благодарю тебя хотя бы за честность.

– Кристофоро... Вы совсем не то подумали...

– Я ничего не подумал, – сказал он холодно. – Условием нашего договора был ребенок. А еще, насколько я помню, мы уговаривались с тобой о благоразумии – не о верности. Сам этот брак был ошибкой. Мне следовало бы усвоить урок из прошлого твоей матери. А теперь извини, меня ждут дела.

– Что это значит – прошлое мое матери? – Но он уже направлялся к двери. – Нет! Не уходите, Кристофоро, пожалуйста! Такой правда тоже не бывает. – Я умолкла. Что я могла ему сказать? Какими словами можно было передать и мою нежность, и мою муку? – Вы должны знать, что мы испытывали... – И тут снова я почувствовала, как

сжимается обруч боли, на этот раз быстрее. Мне пришлось набрать полную грудь воздуха, чтобы пережить эту схватку. – А... ребенок... Пожалуйста, останьтесь, прошу вас... пока Эрила не вернется. Я не могу рожать одна.

Он поглядел на меня. Может быть, он решил, что я снова лгу. А может быть, мое тело, которое вызывало у него отвращение, даже когда было нетронутым, теперь обещало лишь устрашающую картину женской боли и крови.

– Я пришлю кого-нибудь, – сказал он и, повернувшись, вышел из галереи.

Как только дверь за ним закрылась, боль накинута с новой силой: судорога сжала мне плоть стальным кольцом. Я представила себе змия в саду, который нашептывал Еве на ухо, а потом, когда она уступила, обвился вокруг ее живота и сдавливал, сдавливал его до тех пор, пока оттуда не выскользнул крошечный уродец. Так, одновременно, родились грех и мука. На этот раз от боли я согнулась вдвое, и мне пришлось ухватиться за каменное тело Вакха, чтобы переждать схватку. Она оказалась длиннее и сильнее предыдущей. Я досчитала до двадцати, потом до тридцати. Лишь на счет «тридцать пять» боль начала притупляться и угасать. Если ребенок придерживается своей части уговора, значит, Савонаролу наверняка уже схватили.

Конечно, я слышала рассказы о том, как происходят роды. Какая беременная женщина после Евы их не слышала? Я знала, что они начинаются чередой ритмичных ускоряющихся схваток, во время которых утроба постепенно раскрывается, готовясь выпустить ребенка. И знала, что, если правильно дышать и не поддаваться страху, их можно пережить, ведь они не длятся вечно. А потом настанет миг, когда головка ребенка начнет проталкиваться наружу, и тогда все, что от меня требуется, – это тужиться и молить Бога о том, чтобы моя плоть не разорвалась, как это случилось раньше с моей теткой и матерью.

Но я не стану сейчас о них думать. Сначала мне нужно добраться до своей комнаты. Я дошла до середины площадки, когда меня настигла следующая схватка. Теперь я была к ней готова. Я схватилась за каменную балюстраду и попыталась снова вести счет. Воздух вырывался из меня чередой низких стонов. Боль нарастала, достигла

предела, задержалась на нем, а затем начала понемногу стихать. У тебя получится, сказала я себе. У тебя получится. Но по-видимому, мои стоны были громче, чем мне казалось, потому что внизу, в углу двора, я заметила Танчу, которая смотрела на меня округлившимися от страха глазами. – Танча... мне...

Я так и не договорила. Выпрямившись, я вдруг почувствовала сильнейший позыв помочиться. Я отчаянно пыталась удержаться, ухватившись за живот, но давление было чересчур велико. Тут что-то внутри меня раскрылось, и вдруг на каменный пол подо мной хлынули мутные воды, потекли по ногам, на площадку, а оттуда вниз, по ступенькам. Танча завопила от испуга и куда-то убежала.

Не помню, как я добралась до комнаты. Следующая волна боли оказалась такой яростной, что у меня выступили слезы. Я опустилась на колени, уцепившись руками за край кровати. Боль была везде: в паху, в спине, в голове. Мы с ней слились, образовали одно целое, в котором не осталось места ни мысли – ничему вообще. На этот раз схватка, казалось, не кончится никогда. Я пыталась дышать ровно, но дыхание получалось резким и поверхностным, а когда наконец стальной обруч начал понемногу ослабевать, я услышала, что кричу от страха.

Я села на кровать и заставила себя сосредоточиться. Один раз в жизни я видела море – на побережье возле Пизы, куда приходили отцовские корабли, груженные тканями. Наверное, я была тогда совсем маленькой, потому что мне запомнился лишь бескрайний горизонт и шум волн. Каждая волна как будто жила своей жизнью, она колыхалась и изгибалась, она поднималась из морского чрева и бежала к берегу, а потом закручивалась и обрушивала пенный гребень, растекаясь и пропадая в шуршащем песке. В тот день отец рассказал мне, как однажды в дни его юности его корабль потерпел крушение недалеко от берега и как он, барахтаясь в воде, добирался до суши. Он научился принаравливать к движению валов: взмывал на вершину каждой волны и двигался вместе с ней, но за одной волной он не поспел, и она накрыла его с головой и потянула за собой, заставив наглотаться воды и натерпеться страху за собственную жизнь.

Я понимала теперь, что мне тоже нужно выплывать на поверхность и спасти свою жизнь. Только я барахталась в море боли, где каждая новая волна оказывалась свирепее прежней, и мне

оставалось только уповать на то, что я не утону в них, а сумею выбраться невредимой. И вот очередная волна стала зарождаться где-то вдалеке, и я закрыла глаза и представила себе, как сама вздымаюсь и плыву вместе с ней...

– Алессандра!

Голос прозвучал далеко-далеко. Но я сейчас не могу к нему прислушиваться, иначе захлебнусь в воде.

– Держись, дитя мое. Становись на четвереньки. – Теперь уже ближе, громче, повелительней. – Опускайся. Так будет легче.

Я рискнула и послушалась. Когда мои руки коснулись пола, я почувствовала, как чьи-то ладони упираются в мою поясницу и крепко, сильно надавливают. Волна достигала вершины, закручивалась витым гребнем.

– Дыши, – велел голос. – Дыши. Вдох... выдох... Хорошо, молодец. Снова вдох... выдох... – И до меня донесся низкий стон, очевидно, мой собственный, а белая пенная волна тем временем уже с шумом помчалась к берегу, плавно разбилась о камни и отступила.

Подняв голову, я увидела глаза, а в них страх и гордость вперемешку и поняла, что все кончится хорошо. Пришла моя мать.

Я чуть не упала.

– Я...

– Не трать силы. Какие промежутки между схватками?

Я мотнула головой:

– Пять минут, четыре – они делаются все чаще.

Она придержала меня, как могла, и, стащив с кровати подушки, разложила их на полу, чтобы я могла на них опираться.

– Послушай меня, – сказала она спокойно. – Эрила отправилась за повитухой, но та, как и весь город сейчас, где-то на улице. Они придут, но пока ты должна потрудиться сама. Еще кто-нибудь есть в доме?

– Танча, дочь повара.

– Я приведу ее.

– Нет! Не бросай меня одну!

Но мать уже ушла, и ее голос раздавался на лестничной площадке громко и властно, как звон церковного колокола. Если девчонка могла не повиноваться мне, то ее она послушается наверняка. Когда боль снова подступила, матушка уже вернулась. На этот раз она была

вместе со мной с самого начала схватки, крепко упираясь руками мне в поясницу, помогая избавиться от впившегося в меня стального обруча.

– Алессандра, послушай меня, – приказала она. – Ты должна найти способ справиться с болью. Думай о муках Господа Нашего на кресте. Будь мыслями с Ним – и Христос поможет тебе выдержать ее.

Но мои грехи слишком велики, чтобы теперь Христос пришел мне на помощь. Вот моя расплата за них: я буду терзаться так вечно...

– Не могу.

– Нет, можешь! – Ее голос звучал теперь почти сердито. – Сосредоточься. Погляди на свадебный сундук, который стоит перед тобой. Выбери лицо или фигуру и, не сводя с нее глаз, начинай дышать. Давай, девочка, призови на помощь свой ясный разум, чтобы обуздать боль. Ну же – дыши.

Потом, откинувшись на подушки, я увидела в дверях Танчу с круглыми от ужаса глазами. Когда мать принялась отрывисто объяснять девочке, что нужно делать, я вдруг ощутила внезапную злость, оказавшуюся даже сильнее страха, и неожиданно для самой себя принялась вопить и ругаться, словно в меня бес вселился. Обе они замолкли и уставились на меня. Наверное, Танча снова бросилась бы наутек, но мать успела захлопнуть дверь перед ней и закрыть на задвижку.

– Тебе хочется тужиться? Да, хочется?

– Не знаю. Не знаю! – завопила я. – Что сейчас будет? Что мне делать?

Меня охватил ужас, но тут мать удивила меня, неожиданно улыбнувшись:

– Делай то же самое, что делала, когда зачинала ребенка. Повинуйся своему телу. Бог и природа сделают все остальное.

И вдруг все действительно переменялось. Из моей муки внезапно выросло непреодолимое желание тужиться, выталкивать из себя ребенка. Я попыталась подняться, но мне это не удалось.

– У-у, он уже лезет, я чувствую. Мать схватила меня за руку:

– Вставай. На полу будет больнее. Иди сюда, девочка. Держи свою госпожу. Просунь руки ей под мышки. Давай. Вот так. Поддерживай ее сзади, чтобы спина была прямая. Давай, смелее, принимай на себя ее вес. Поднимай ее. Вот.

Девчонка, хоть и несмышленная, оказалась очень сильной. Я висела у нее на руках, дрожа всем телом. Мои юбки были перекинута мне за плечи, ноги широко расставлены под огромным животом. Мать сидела на корточках у моих ног. Теперь, когда снова пришли потуги, я принялась тужиться и тужилась до тех пор, пока не выбилась из сил, пока лицо у меня не побагровело, а глаза от напряжения не заслезились, и мне уже казалось, что я вот-вот разорвусь.

– Еще разок! Тужься! Головка уже показалась. Я ее вижу. Он вот-вот выскочит.

Но у меня не получалось. Потуги так же внезапно прекратились, и я обмякшим и дрожащим телом снова упала ей на руки; меня словно сняли с дыбы: руки и ноги дрожали от боли и страха. Я чувствовала, как по лицу бегут слезы, из носа течет; я бы разрыдалась, если бы не боялась, что на это уйдут последние силы. Но времени передохнуть не было: вот уже оно пришло снова, это жуткое желание изгнать, вытолкнуть, выпихнуть из себя ребенка. Но только у меня никак это не получалось. С каждой потугой я чувствовала, что сейчас лопну. Что-то было не так с ребенком: наверное, голова у него чудовищно деформирована и так велика, что ей никогда не выйти наружу. Это – кара за грех его зачатия: так мы и останемся навсегда, это дитя и я, и оно будет вечно терзать меня, стремясь вырваться из моего тела.

– Не могу... Не могу. – Я услышала в своем голосе панику. – Я слишком мала для него. Это Бог наказывает меня за грехи.

Голос матери звучал так же твердо, как все семнадцать лет моей жизни, он уговаривал, увещевал:

– Ты что думаешь, у Бога есть время заниматься твоими грехами? Да в эти самые минуты Савонаролу пытаются за ересь и измену. Его вопли разносятся по всей площади. Что по сравнению с его виной – твоя? Сохраняй силы для ребенка, дыши. Вот, опять. Теперь тужься, тужься изо всех сил. Давай!

Я снова стала тужиться.

– Еще, еще, давай! Вот же он. Он почти уже вылез!

И я почувствовала, что все у меня внутри растягивается до предела, но так ничего и не вышло.

– Не могу, – простонала я, задыхаясь. – Мне страшно. Мне так страшно.

На этот раз матушка не стала кричать на меня, а опустилась на колени рядом со мной, обхватила ладонями мое лицо и отерла с него пот и слезы. Но если руки ее были нежными, то в голосе звучал металл:

– Послушай меня, Алессаидра. Ты наделена сильнейшим духом, какой я только видела у девушки, и не для того ты так далеко зашла, чтобы умереть на полу спальни. Потужься еще один раз. Один раз – и он выйдет. Я тебе помогу. Просто слушай меня и делай все, как я велю. Появилась новая потуга? Да? Тогда набирай побольше воздуха. Полную грудь! Вот, хорошо. Теперь задержи дыхание. А теперь тужься, тужься. Не переставай. Тужься. Еще. ТУЖЬСЯ.

– А-А-А-А-А! – Мой голос, казалось, заполнил всю комнату, но тут я словно услышала еще один звук, как будто мое тело лопнуло, выпуская головку наружу.

– Да! Да!

Мне и не нужно было об этом рассказывать. Она вышла. Я ощутила этот огромный, быстрый, скользкий напор – а вслед за ним такое чувство облегчения, какого я никогда в жизни не испытывала.

– Вот, он уже здесь. Он вышел. Ах, погляди, погляди на него!

Мы с Танчей рухнули на пол, и я увидела у своих ног крошечного блестящего уродца, сморщенного, скрюченного, перепачканного калом, кровью и слизью.

– О, да это девочка, – сказала мать приглушенным голосом. – Красивая, красивая маленькая девочка.

Она подняла липкое тельце, перевернула его вниз головой, взяв за ноги, и дитя закашлялось, как будто успело наглотаться воды. Потом мать сильно шлепнула младенца по попе, и тот издал сердитый дрожащий вопль – первый протест против безумия и насилия того мира, в котором он очутился.

А поскольку поблизости не оказалось ни ножа, ни ножниц, мать зубами впиалась в пуповину и перекусила ее. Затем она положила малышку мне на живот, но я так тряслась, что едва могла удержать ее, и Танче пришлось перехватить тельце, уже начавшее сползать на пол. Но потом она снова положила ее ко мне, и пока мать надавливала мне на живот, помогая вытолкнуть послед, я лежала на полу, прижимая к себе эту теплую, скользкую, сморщенную маленькую зверушку.

Так родилась моя дочь. Вымыв и туго запеленав, ее снова поднесли мне, поскольку кормилицы пока не было, и все мы с каким-то трепетом наблюдали, как она по запаху, словно слепой червячок, нашла мою грудь. Ее десны с такой силой стиснули мой сосок, что от боли и неожиданности я вскрикнула, а крошечный ротик сосал и сосал до тех пор, пока из меня со сладкой болью не потекло молоко. И лишь потом, насытившись и оторвавшись от моей груди, она соизволила уснуть и дала уснуть мне.

Прошло несколько дней, и я влюбилась: глубоко, нежно, бесповоротно. И если бы эту девочку увидел мой муж, думаю, она и его бы покорила – чудесными крохотными ноготками, серьезным немигающим взглядом с сияющей в нем искоркой божественности. А пока мой мир сужался до ее зрачков, там, на улицах, свершалась история. Матушка оказалась права: мы мучились одновременно. В то самое время, когда мое нутро корчилось и разрывалось под натиском новой жизни, Савонарола слушал собственные вопли, а его сухожилия с треском рвались на дыбе. В то утро со штурмом Сан Марко закончилась эра его господства над новым Иерусалимом. Хотя верные ему монахи оборонялись, как настоящие воины (рассказывали о невероятной силе некоего отца Брунетто Датто – доминиканца-великана с кожей как пемза, который орудовал ножом с особой неистовой радостью), в конце концов толпа осаждавших одолела их и ворвалась в монастырь. Савонаролу нашли распростертым в молитве на ступенях алтаря. Оттуда его в цепях доставили в тюремную башню Дворца Синьории, куда за шестьдесят лет до того заключили великого Козимо Медичи по такому же обвинению в государственной измене. Но если у Козимо нашлись средства обаять и подкупить своих тюремщиков, то фра Джироламо уже не на что было надеяться.

Сначала его подвергли пыткам, а потом вздернули на дыбе. С каждым новым вывихнутым суставом и сломанной костью он признавал себя виновным в очередном грехе: в лжепророчестве, ереси и измене, соглашался со всем, что от него хотели услышать, лишь бы прекратили истязания. Потом его сняли с дыбы и перенесли в келью. Тогда, оправившись от боли, он отрекся от признаний и стал выкрикивать, что его сломила пытка, а не вина, и стал взывать к Богу, дабы Он снова вернул его к свету. Но с первым же новым рывком веревки он вновь во всем сознался, и на этот раз палачи мучили его до тех пор, пока у него не осталось ни голоса, ни отваги вновь все отрицать.

Так Флоренция избавилась от тирании человека, который вознамерился обратить ее к Богу, а под конец обнаружил, что Бог оставил его самого. Но хоть у меня и были все основания его

ненавидеть, я испытывала к нему только жалость. Эрила, сидя возле моей кровати, подсмеивалась над моим состраданием и уверяла, что у женщин после родов обычно происходит размягчение мозгов. И миновало два дня, а о моем муже так и не было ничего слышно.

Утром третьего дня, проснувшись, я увидела яркое солнце и Эрилу, что-то горячо обсуждающую с моей матерью на пороге комнаты.

– Что случилось? – спросила я, не вставая с постели. Они повернулись и быстро переглянулись. Матушка подошла ко мне и остановилась возле кровати.

– Милое дитя мое... Принесли известия. Мужайся.

– Кристофоро! – догадалась я, потому что все эти дни я чего-то ожидала. – Что-то случилось с Кристофоро, да?

Она приблизилась ко мне, взяла меня за руку и, начав рассказ, уже не сводила с меня глаз, пытаясь прочесть мои чувства. История была в общем-то обычная для нашего времени: в дни, последовавшие за штурмом Сан Марко, город оказался охвачен жаждой крови, и люди принялись сводить старые счеты, выслеживать старых врагов. Но не все убийства совершались по справедливости, и было обнаружено несколько трупов ни в чем не повинных людей. Среди них и тело, найденное в переулке Ла-Бокка возле Понте-Веккьо, славившемся тем, что под покровом ночи там велась бойкая торговля и мужским, и женским телом. И вот там, при свете нового дня, в месиве кровавых ран кто-то распознал ошметки дорогой ткани и породистые черты лица.

Я слушала слова матери, похолодев и окаменев, словно одна из статуй нашей галереи.

– Мужайся, Алессандра, – повторила мать, и ее голос унес меня в те времена, когда я была еще ребенком, а она учила меня разговаривать с Богом так, словно Он – мой отец и Господь одновременно. – Судьбы человеческие в Его руке, и не нам оспаривать Его волю. – Она крепко обняла меня, а потом, видя, что я не сломлена внезапным горем, добавила уже более мягким тоном: – Дорогая моя, у твоего мужа нет другой родни. Если у тебя достанет сил, тебя просят явиться и опознать тело.

По-видимому, родовые муки не только смягчают сердце, но и воздействуют на память: одни мгновенья запоминаются четко и навсегда, а другие почти сразу же бесследно улетают в прошлое.

Хотя кормилицу уже нашли, мы взяли малышку с собой, потому что мне непереносима была мысль даже о короткой разлуке. Помню, когда мы выходили, слуги стояли на пороге дома, опустив глаза: новость угрожала их будущему. По пути мы задержались у Баптистерия. Поскольку моего мужа не стало, больше некому было сделать запись о рождении ребенка, а по закону сделать это нужно было в течение первых шестидесяти часов. Белый боб – для девочки, черный – для мальчика. Под золотым куполом, изнутри которого мерцающая кубиками смальты мозаика рассказывала о жизни Господа Нашего, боб упал в ящик, возвещая о новой жизни.

Слепящее солнце освещало улицы, усыпанные мусором. Недавние беспорядки напоминали о себе валявшимися повсюду палками, булыжниками, сточными канавами, забитыми разнообразным мусором. Но, несмотря на ясную погоду, настроение в городе оставалось мрачным. Флоренция перестала быть республикой Божьей, и теперь уже никто не понимал, стоит ли этому радоваться.

Чума выкосила столько народу, что на другом берегу реки власти устроили временную мертвецкую, заняв под нее несколько комнат больницы Санто Спирито. Пока нас вели лабиринтами позади церкви, я вспоминала о своем художнике, о том, как он ночами изучал человеческие тела, ставшие добычей смерти. Я еще крепче прижала к себе дитя и сама, следуя за матерью и со служанкой у меня за спиной, словно вернулась в детство.

Чиновник, сидевший в дверях, оказался грубым мужланом, от которого несло прогорклым пивом. Он держал самодельную конторскую книгу, куда были вписаны столбцы цифр и кое-где корявым почерком выведены имена. Разговор повела моя мать. Она рассказала ему нашу историю так же, как делала все: спокойно, достойно и внятно. И люди всегда слушали ее. Когда она закончила рассказ, чиновник сполз со стула и прошел вместе с нами в комнату.

Перед нами открылась страшная картина, будто поле битвы после ухода победителей. На полу рядами лежали трупы, завернутые в грязные куски холстины. На некоторых было столько крови, что

поневоле брал страх: а вдруг они брошены сюда живыми и вместе с кровью из них утекают в грубые саваны последние капли жизни.

Тело моего мужа лежало на тюфяке в глубине комнаты. В иную эпоху еще можно было надеяться, что знатные мертвецы удостоятся несколько больших почестей, но теперь, когда сама Флоренция истекала кровью, было не до церемоний.

Мы встали в ногах у покойника. Чиновник взглянул на меня:

– Госпожа готова?

Я передала младенца на руки матери. Она улыбнулась мне.

– Не бойся, дитя мое, – сказала она. – Есть силы куда более могучие, чем наши с тобой.

Чиновник наклонился и откинул покров. Я закрыла глаза – и через миг открыла их. Передо мной предстало окровавленное лицо мужчины средних лет, которого я ни разу в жизни не видела.

Эрила, стоявшая возле меня, издала скорбный вопль:

– О, господин, о, господин мой, что же с тобой сделали? – Когда я повернулась, она бросилась ко мне, вцепилась в меня и запричитала: – Ах, бедная моя госпожа, не смотрите, не смотрите! Какой ужас! Что же с нами теперь будет?

Я попыталась стряхнуть с себя ее руки, но она висела на мне как пиявка.

– Ты что, с ума сошла? – в ужасе прошептала я. – Это же не Кристофоро! – Но она продолжала выть. Я беспомощно поглядела на мать, которая сразу же подошла к нам. Чиновник внимательно за нами наблюдал. Наверное, он уже насмотрелся на женщин, охваченных горем, и потому был готов ко всяким неожиданностям.

Мама посмотрела на тело, потом на меня. Взгляд у нее был пронзительный.

– Милая моя, милая доченька, – сказала она громко, – я понимаю твои чувства. Ты не в силах понять, как Господь мог попустить подобное горе и в одночасье отнять у тебя любимого. Оплачь же его, оплачь своего Кристофоро, и да упокоится он в мире. Там, где он теперь, ему лучше.

Я стояла, разинув рот в немой оторопи, когда моя новообетенная нежная женственность сама пришла мне на помощь: я заплакала. Торопливые крупные слезы, хлынув, уже не могли остановиться. Крошка проснулась и тоже подняла крик. Так мы и стояли все вместе,

являя картину неутешного женского горя, и чиновник взял перо и поставил напротив имени моего мужа жирный крест.

Мы снова оказались в неудобном, таком неудобном парадном зале. Эрила, у которой слезы просохли в тот самый миг, когда мы вышли из здания больницы, принесла вина, приправленного специями, заставила меня глотнуть питья, приготовленного из снадобий, что хранились в ее заветном мешочке, а потом обняла меня и вышла, плотно закрыв за собой дверь. Малышка лежала у меня на руках и, моргая, глядела на меня. Я обратилась к матери.

– Ну, – сказала я, все еще находясь в оцепенении, – где же он?

– Уехал.

– Куда уехал?

– В глушь. Вместе с Томмазо. Утром того дня, когда ты рожала, он зашел за мной и рассказал о том, что между вами произошло. Сообщив мне о своем решении, он распорядился, чтобы был найден труп с запиской в руке, которая навела бы власти на наш след – для опознания. Прости, что я причинила тебе боль этим маскарадом. Я не сказала тебе сразу всей правды, потому что опасалась, что в нынешнем состоянии ты не сумеешь притвориться как следует. – Мать говорила спокойным, будничным тоном, словно государственный муж, чья повседневная работа – принимать важные решения и потом разъяснять их смысл перепуганному народу. Но мне доставало ее хладнокровия.

– Но... я ничего не понимаю. Почему? Неужели так важно, что ребенок был не от него? Ведь это...

– Ведь это точно не известно? Не тревожься, Алессандра. Я все знаю. И не берусь тебя судить. На это есть иной суд, и на том суде, наверное, мы с тобой однажды будем стоять бок о бок. – Она вздохнула. – Он ушел не из-за ребенка. Просто он... Да нет, я не буду говорить за него. Он попросил, когда все откроется, вручить тебе вот это. Хотя, мне кажется, потом было бы благоразумно его уничтожить.

И мать достала из-за лифа платья письмо. Я взяла его дрожащими руками. Дочка захныкала у меня на руках. Я убаюкала ее, а потом взломала печать.

У него был такой изящный почерк. Какой разительный контраст с грубыми каракулями в книге записей из Санто Спирито! От одного вида этого почерка я испытала удовольствие. Удовольствие и признательность.

Моя дорогая Алессандра,

Когда ты будешь читать это письмо, мы будем уже далеко. А ты, с Божьей помощью, уже разрешишься от бремени здоровым ребенком. Томмазо сейчас нуждается во мне. Увечья, нанесенные ему, ужасны, и теперь, когда от его красоты не осталось и следа, а тело изуродовано, я нужен ему больше, чем когда-либо. Я не могу не отдавать себе отчет в том, что моя похоть в какой-то мере воспитала его, а значит, теперь мой долг – облегчить причиненное по моей вине страдание. Мой долг. И мое желание – да, это так. Если бы мы с тобой продолжали жить вместе, я бы ощущал эту боль всю оставшуюся жизнь и был бы невеселым спутником для тебя и для твоего ребенка.

С моей смертью перед тобой открывается иное будущее. Так как у меня нет других родственников, которые могли бы претендовать на мое имущество, я составил завещание, по которому Томмазо достается достаточная сумма денег, чтобы обеспечить нам с ним скромное, но безбедное существование, остальное же мое состояние отходит к тебе. Само по себе это необычно, и, быть может, найдутся такие, кто станет оспаривать мою волю, и тем не менее она совершенно законна и подлежит обязательному исполнению. Твое будущее – в твоих руках. Ты достаточно молода, чтобы снова выйти замуж. Может быть, ты решишь вернуться к родителям или даже отважишься жить одна. Я несколько не сомневаюсь в твоей отваге. Впрочем, мне кажется, у твоей матери на этот счет имеются соображения, к которым тебе стоит прислушаться.

Прошу тебя простить мне резкие слова, сказанные в галерее. Несмотря на наше соглашение, я привязался к тебе больше, чем полагал возможным, и потому твоя измена больно ранила меня. Как и моя – тебя. Я хочу, чтобы ты знала: я испытывал к тебе такие сильные чувства, на какие только был способен. И буду испытывать впредь.

Ключ, вложенный в это письмо, – от шкафа для манускриптов в моем кабинете. Тебя удивит его содержимое. Я предпочитаю видеть этот манускрипт в твоих руках, нежели в чьих-нибудь еще, поскольку мы оба прекрасно понимаем, что иначе он стал бы военной добычей или – хуже того – пищей для огня, хотя, я уверен, иные назвали бы

это кражей. Ты разбираешься в великом новом искусстве нашего города ничуть не хуже, чем многие знакомые мне мужчины. Твой отец мог бы гордиться тобой. Остаюсь твоим любящим мужем,
Кристофоро Ланджелла.

Я крепко сжала ключ и прочла письмо во второй раз. Потом в третий. Через некоторое время матери пришлось забрать его у меня из рук, потому что мои слезы уже размывали ровные строки, делая из них чернильные ручьи, а содержание письма было таково, что сейчас не подобало затемнять его смысл. Эрила права. После родов мозги у женщины размягчаются. В таком состоянии мы готовы полюбить кого угодно – даже человека, который бросил или предал нас. Теперь, похоже, мне предстоит воспитывать дочь не только без мужа, но и без родного деда. «Твой отец мог бы гордиться тобой». Как легко перевернуть мир вверх тормашками всего несколькими словами.

Наконец я подняла глаза и встретила прямой взгляд матери. Он бы никогда не написал такой фразы, если бы вначале не поговорил с ней!

– Вы знаете, что там написано? – спросила я, когда ко мне вернулся дар речи.

– Все, что касается твоего будущего и моего прошлого, мы обсудили с ним до того, как он написал это письмо. Остальное адресовано лично тебе.

Но она не отводила взгляда. В течение всей моей жизни она излучала тихую, спокойную мудрость, которой неизменно усмиряла мятежные порывы и шквалы вопросов, которые я обрушивала на нее. И мне никогда не приходило в голову, что когда-то и сама она могла испытывать подобные бури или что ее приятию Божьей воли и вере в Его бесконечную милость предшествовали душевные борения. Но теперь-то я знаю, что дочерям нелегко думать о матерях как о неких отдельных от них существах, с собственной жизнью и желаниями. И точно так же, как я в дальнейшем прощала эту неспособность своей дочери, моя мать наверняка прощала ее мне. Надо отдать ей должное, в тот день она не стала избегать моих вопросов и ни в чем мне не солгала.

– Ну, – произнесла я наконец, – надпись, сделанная Лоренцо Медичи на томе сочинений Платона, который он подарил моему мужу, относится к семьдесят восьмому году. Это год моего зачатия. Но вы же

не были тогда при дворе, матушка? Звезда вашего брата взошла достаточно высоко, чтобы он успел подыскать вам хорошего мужа. Разве не эту историю мы все время слышали?

– Да, – сказала она спокойно. – Я уже была замужем. А раз уж мы с тобой об этом заговорили, то могу тебя заверить, это отнюдь не был несчастливый союз, что бы ты о нем ни думала. Этот брак уже принес мне троих здоровых детей, и Бог в своей великой милости избавил их и от болезней, и от ранней смерти. Я была поистине благословенна. Однако то, что ты говоришь про тот год, Алессандра, – это еще не вся правда. При дворе я находилась раньше – а в тот год снова ненадолго вернулась. Хоть и не все об этом знали.

Она умолкла. Я ждала. Казалось, сам воздух вокруг нас замер в ожидании.

– У моего брата имелись очень могущественные друзья, – наконец произнесла мать с улыбкой, искривившей ее губы. – При дворе было немало людей, обладавших глубокими знаниями и умом. Для девушки, которая привыкла думать и высказывать свои суждения, это был рай – рай до грехопадения. И хотя согласно платоническим представлениям нас, женщин, не следовало допускать до возвышенных дискуссий, эти платоники все же оставались *флорентийцами*, а потому даже величайшие из них легко очаровывались красотой, когда ей сопутствовала не меньшая восприимчивость к учености. Которой я была наделена, как и ты. И которая, как и для тебя, стала для меня и гордостью, и бременем.

Мой брат, понимавший, какие опасности таит в себе подобная чистота, позаботился о том, чтобы поскорее выдать меня замуж, но даже он оказался бессилем, когда меня призвали ко двору вновь.

Начало лета семьдесят восьмого года Лоренцо с придворными проводили на его вилле в Кареджи. Я была в числе нескольких приглашенных гостей... Это было так давно. – Она снова умолкла, и я вдруг подумала, что на этом ее рассказ оборвется, что она действительно заставила себя забыть прошлое. Но она, вздохнув, продолжила: – Там была музыка, разговоры, искусство, природа – одни сады являли собой рай земной. Красота тела была таким же предметом обсуждения, как красота духа. И то и другое рассматривалось как ступени на лестнице, ведущей к любви Господней. Я не воспитывалась в жеманстве. Я была такой же серьезной и в каком-то смысле такой же

невинной, как ты. Но, как и тебя, меня притягивала мудрость, образованность и талант, И если однажды я нашла в себе силы противиться, то к тому лету моя влюбленность длилась так много лет, что я не сумела устоять.

Мне снова вспомнились ее слезы при виде тела Лоренцо в часовне Сан Марко. Что мне нашептывал Томмазо в тот день: что, несмотря на его уродство, герцог умел своими любовными стихами разжигать огонь в самых холодных женских сердцах? Я вздохнула и поглядела на сияющее безмятежностью личико дочери, спящей у меня на руках. Как знать, насколько вытянется ее нос, когда она подрастет, или заострится подбородок? Хотя это будет зависеть еще и от того, кто же на самом деле ее отец.

– Что же, теперь я, по крайней мере, знаю, отчего я уродлива, – сказала я тихо.

– Нет, Алессандра, ты не уродлива. Ведь своей красотой ты почти вскружила голову содомиту!

Мать произнесла это с удовольствием и гордостью. Тишину тускло освещенного старомодного зала нарушало только сладкое сопение моей дочки, и был какой-то покой в мысли о том, что больше между нами не осталось никаких тайн.

– Ну а что же будет теперь? – наконец спросила я. Мать немного помолчала.

– Ты не хуже меня знаешь, какой остается выбор.

– Я не выйду замуж снова, – твердо заявила я. – Второй брак лишит мою дочь наследственных прав, а этого я не допущу.

– Это верно, – спокойно согласилась матушка.

– Вернуться домой я тоже не могу. У меня теперь должна быть своя жизнь. А значит, я останусь здесь и буду жить одна.

– Алессандра, такое решение представляется мне крайне неблагоприятным. Наш город жесток к вдовам. Вы с дочерью окажетесь изгоями – одинокими и отверженными.

– Но у нас же есть вы.

– Я не вечна.

И эта мысль обдала меня ледяным холодом.

– Что же мне тогда делать?

– Есть еще один выход. Мы об этом еще не говорили. – Голос ее звучал очень ровно. – Обручиться с Богом.

– Обручиться с Богом? Мне? Вдове с кистью, ребенком и черной невольницей! Скажите на милость, матушка, какой же монастырь нас примет?

И тут на ее лице появилась лукавая улыбка.

– Какой монастырь, Алессандра? Ну конечно же тот самый, о котором ты всегда мечтала.

10 мая 1498 года от рождества Христова мы – вдова с кистью, черная невольница и дитя – покинули город. Тот день стал прощальным не только для нас. На большой площади перед зданием Синьории в течение последних недель складывали большой костер: Савонаролу и двух его верных доминиканцев должны были казнить через повешение и сжечь. Флоренция наконец дожидая до запаха жареной человечины.

Моя Эрила рвалась поглазеть на казнь – просто чтобы своими глазами увидеть заключительный миг этой истории, – но я ей запретила. Мир вокруг моей дочери сверкал яркостью и новизной, и я не хотела, чтобы до нее долетел даже запах страдания. Мы ехали мимо людских потоков, стремившихся к площади, но на карнавал это не было похоже. При всей ненависти к Савонароле многие его все-таки любили, и в дни насилия, разразившегося после его ареста, нашлось, наверное, немало людей, пожалевших о падении нового Иерусалима, пускай на деле не столь совершенного, как в помыслах.

И все же враги Монаха не отступались. За несколько дней до суда по городу, словно едкий дымок, разносимый ветром, поползли новые слухи об отступничестве Савонаролы. В частности, из тюрьмы просочился рассказ о самом преданном его стороннике – том самом монахе Брунетто Датто, который дрался в последней битве с отчаянным остервенением и должен был умереть вместе с ним. Оказалось, он помешался на благочестии и под пыткой сознавался в самых страшных грехах: в том, что заколол юную девушку, которую встретил на улице после наступления темноты, и разрывал зубами ее плоть, в том, что оторвал срам у потаскухи и ее дружка в церкви Санто Спирито, и даже в том, что отмужичил молодого содомита, вогнав ему в задницу его собственный меч. Но весь ужас заключался даже не в самих признаниях, а в упоении, с которым монах рассказывал об этих зверствах, похваляясь тем, что Бог избрал его своим вестником и орудием, дабы вернуть грешников на верную стезю. Он изрыгал эти мерзости до тех пор, пока его мучители не выдержали: они затолкали ему в рот кляп и пригрозили поджечь его, если тот не прекратит выкрикивать свои непристойности.

В тот день, когда Эрила принесла мне эти новости, я в первый и единственный раз в жизни увидела ее потрясенной. Особенно поразило ее, по-видимому, последнее деяние – она рассказала мне о нем, усевшись на край моей кровати, где рядом со мной лежала крошка и глядела вверх своими серьезными глазенками. Оказывается, прежде чем тому монаху заткнули рот, он объяснил, что тело последней жертвы – молодой потаскухи, которой он отрезал груди, – он бросил разлагаться в крипте церкви Санти Апостоли.

Тут я вспомнила замогильный голос, спугнувший меня на улице в ночь накануне моей свадьбы, а также громадного монаха, который окровавленными руками поманил нас в темный переулок, и поняла, что, хоть я порой и чувствовала себя обделенной Божьей милостью, на самом деле я пребывала под Его мощной защитой. И вновь ощутила горячую и нежную благодарность к Господу.

Впрочем, в тот день, сидя в моей спальне, мы с Эрилой не говорили о подобных вещах. Вместо этого мы принялись во второй раз наполнять свадебный сундук, складывая в него рисунки, книги и – самое ценное сокровище – толстый непереплетенный манускрипт, извлеченный из шкафа в кабинете моего мужа и бережно упрятанный в ворох пестрых сорочек и бархатных покрывал.

Незадолго до отъезда мы навестили моих родных в старом доме у Сант Амброджо. Лука, чье ангельское лицо еще было покрыто синяками от последних стычек, держался угрюмо и явно не находил себе места (как, бывало, и в прежние времена). Однако, прежде чем, ссутулившись, уйти к себе в комнату, он успел пожелать мне на прощанье всего хорошего. Плаутилла, у которой живот возвышался как гора, плакала до тех пор, пока Маурицио не одернул ее так строго, что она ошеломленно замолкла. А мой отец... отец подарил мне штуку своего любимого алого сукна, чтобы было из чего шить платья в моем новом доме. Я поцеловала его, пожелала ему всяческого добра и не стала ни единым словом выводить его из заблуждения. Потом он покорно взял руку моей матери и позволил ей увести себя обратно, к счетам и книгам. Такими я увидела родителей в их доме в последний раз – материнский взор, чистый и ясный, и закрывающиеся двери отцовского кабинета.

И вот майским утром мы выехали из города с конюхом моего мужа и двумя другими его слугами, которые стали для нас

проводниками и носильщиками, побуждаемые к тому обещанием отпустить их на свободу по окончании нашего странствия. Было тепло и солнечно, утренняя дымка предвещала дневной зной. Мы выехали через Порта-ди-Джустициа – ворота Правосудия и, оставив позади городские пределы, услышали гул, подобный мощному раскату грома. Мы поняли: это пушечный выстрел, знаменующий зажжение костра на площади, – стало быть, палач сделал свое дело и троица монахов уже болталась на виселице в ожидании пламени. Мы перекрестились и произнесли молитву за тех, кто ныне предстал пред Господом, призывая Его смириться над всеми грешниками, мертвыми и живыми.

И, медленно взбираясь по склону долины к видневшимся вдалеке холмам, мы увидели далеко позади столб дыма, который поднимался над морем черепичных крыш и растворялся в ароматном летнем воздухе.

Завещание сестры Лукреции
Монастырь Санта Вителла, Лоро-
Чуфенна,
Август 1528
Часть четвертая

Мое второе обручение – обручение сестры Лукреции с Господом – оказалось гораздо счастливее первого. Что я могу рассказать о своем новом доме? Когда мы впервые сюда попали, тут был поистине рай на земле. Монастырь Санта Вителла спрятался в тосканской глуши, далеко к востоку от Флоренции, где леса, покрывающие округлые холмы, постепенно переходят в виноградники и оливковые рощи на покатых склонах: при виде этого пейзажа невольно приходит в голову мысль, что Господь Бог был первым и лучшим художником на свете. Внутри монастырских стен в ту пору жизнь была ключом: две крытых галереи (над украшением одной из них, большей, потрудился Лука делла Роббиа: с арок глядели изображения тридцати двух святых из бело-голубой майолики, и каждое неуловимо и восхитительно отличалось от соседнего); пышные сады, не только красивые, но и полезные, ибо снабжали почти всем необходимым монастырский стол; трапезная и часовня – еще маленькая в те дни, но в последующие годы ей предстояло разрастись и украситься. И всем этим управляли женщины. То была настоящая женская республика, основанная если не на добродетели, то на творчестве.

Нас было там очень много – женщин, которые по разным причинам не ужились в миру, женщин, которые любили жизнь не меньше, чем Бога, но оказались отрезанными от нее, заточенными в монастырские стены. Наша судьба была следствием преуспевания городов (приданое полагалось все богаче, и потому все меньше знатных семей могло выдать дочерей замуж), а новая свобода и образование наделили нас смелостью. Но мир оказался не готов принять нас, и очень многие закончили жизненный путь в местах вроде монастыря Санта Вителла. И если каждую в отдельности едва ли можно было счесть богачкой, наше общее приданое составляло немалое состояние, обеспечивавшее нам свободу. В конечном счете это была простая логика: если исключений становится слишком много, меняются правила. Нам с Эрилой повезло. Мы явились как раз тогда, когда это случилось.

Все мы принесли с собой опыт зрелости и воспоминания. О былых нарядах, или о прочитанных книгах, или о юношах, которых

целовали – или хотя бы мечтали целовать. За стенами обители мы почитали Бога и возносили Ему молитвы, но часто давали волю своему воображению, и оно уносило нас в разные пределы. Иные, более легкомысленные, превращали свои кельи в настоящие обиталища кокетства, все свободное время щебеча о своих платьях или повязывая апостольники так, чтобы выпустить на волю завитой локон, или перешивали рясу, дабы из-под нее могла мимолетно сверкнуть лодыжка. Наибольшее удовольствие им доставляло слушать собственные голоса в хоре или предаваться беседам, и хотя монастырские стены были высоки, а ворота закрыты, иной раз ночью можно было услышать их смех, к которому примешивались более низкие, мужские голоса, эхом отдававшиеся под арками галерей.

Но не все наши грехи были плотскими. Одна женщина из Вероны была одержима такой страстью к слову, что целыми днями сочиняла пьесы, полные благородства и страдания, повествующие о безответной любви. Мы их ставили: лучшие швеи шили костюмы, а те из нас, кто был наиболее склонен к публичной игре, исполняли все роли – и женские, и мужские. А еще была монахиня из Падуи, чья страсть к учености превосходила даже мою: она годами противилась родителям, отказываясь выходить замуж. Когда те наконец поняли, что из нее не выбить любви к мудрости, ее отправили к нам. В отличие от ее родителей, мы с радостью приняли ее. Ее келья стала нашей библиотекой, а ее ум – нашей сокровищницей. В первые годы после поступления в монастырь я часто проводила с ней вечера, беседуя о Боге, о Платоне и об устремленности человека к божеству, и временами она заставляла меня задумываться куда глубже, чем учителя моей юности. Эта ученая монахиня была среди нас самым уважаемым человеком, и, когда Плаутилла выросла, то она – наряду со мной – стала ее наставницей.

Плаутилла...

Первый месяц у моей дочери не было имени. Но когда из Флоренции пришло известие о том, что моя сестра умерла, родив крепкого сына, я, оплакав ее, нарекла ее именем дочь и сохранила таким образом память о ней.

Разумеется, она сделалась в монастыре всеобщей любимицей, В первые годы она вытворяла что хотела – всеми обласканное,

избалованное дитя. Но едва она немного подросла, мы взялись за ее образование с таким усердием, словно воспитывали юную герцогиню. К двенадцати годам она уже умела читать и писать на трех языках, вышивать, играть на музыкальных инструментах, исполнять роли в спектаклях и конечно же молиться. В отсутствие сверстников у нее естественно развилась недетская серьезность, но это ей шло, а как только я заметила, что она обладает легкой, послушной глазу рукой, я извлекла из своего кассоне затрепанного Ченнини, заточила уголь и залевкасила самшитовую дощечку толченой костью со слюной, чтобы дочка попробовала рисовать серебряным карандашом. А поскольку здесь она могла не стесняться своего таланта, то смело взялась за дело, и я поняла, чья она дочь, не только по отцовским зелено-серым кошачьим глазам.

Эрила тоже расцвела. Должность *конверсы*, придуманная специально для невольниц, традиционно была низкой – служить тем, кто служит Богу, – но поскольку наш монастырь не был вполне традиционным, я заплатила выкуп за ее освобождение, и вскоре она нашла себе другую роль: выполняла разные поручения, разносила сплетни и служила гонцом между монастырем и ближайшим городком (с которым у нас велась оживленная торговля запретными предметами роскоши), так что ей удалось скопить на этом немалое состояние. Вскоре ее уже в равной степени боялись и любили: так, наконец, Эрила стала свободной женщиной. Впрочем, к тому времени она была настолько необходима сестрам и сделалась такой родной нам с Плаутиллоу, что предпочла не расставаться с нами.

Что до меня самой... В ту зиму, когда мы прибыли в монастырь, там затеяли строительство новой часовни, а с нею появилось и дело для меня – дело, о котором я мечтала всю жизнь. Мать настоятельница была проницательной женщиной – не случись ей подпасть чарам женатого богача-соседа, она могла бы стать матерью знатного семейства в Милане. В каком-то смысле здесь ей досталось под начало семейство не менее благородное. Памятуя о том, что наши вольности следует искупать нашими подвигами, она распорядилась монастырскими средствами с большей рачительностью, чем банкиры Медичи, и за короткое время у монастыря появились деньги на украшение новой часовни. Епископ, наделенный меньшим обаянием, чем она, но заслуживавший большего снисхождения (костлявая рука

Савонаролы никогда не добиралась до здешней глуши), навещал нас дважды или трижды в год. В обмен на наше изысканное гостеприимство (утонченная кухня была для нас одним из многих нетрадиционных способов прославления Господа) он приносил нам последние сплетни из больших городов об искусстве и о художниках и давал свое благословение на новые замыслы, которые зарождались в основном в голове настоятельницы, имевшей склонность к зодчеству. Она видела мысленным взором свет и пространство, отвечавшие классическим пропорциям, однако стены, когда наконец их возведение было завершено, оказались голыми.

Тут-то, наконец, мне и поручили расписывать алтарь.

В то лето, прежде чем приступить к росписи, я сидела у себя в келье и работала над предварительными набросками, а Плаутилла плела цветочные гирлянды во фруктовом саду, в окружении смешливых молоденьких послушниц, которые видели в ней свою любимую игрушку. Мне предстояло изобразить жития Иоанна Крестителя и Девы Марии. Имея в распоряжении лишь воспоминания, лишенная руководства мастера-наставника, я взяла за образец иллюстрации Боттичелли и старательно изучала манеру его молниеносного пера – как оно едва ли дюжиной штрихов одушевило каждую из тысяч несхожих человеческих фигур, населявших рай и ад, подробно повествуя об отчаянии и радости.

На создание фресок ушел немалый кусок моей жизни. Плаутилле было почти семь лет, когда я приступила к росписям. Поначалу я мало чему могла ее научить, потому что сама знала слишком мало: полжизни, проведенные за книгами, да складки юбок святой Екатерины не сделали из меня художника. Но Эрила, используя свои связи, отыскала в Вероне молодого человека, недавно закончившего обучение у мастера; по ее мнению, он был достаточно предан своему делу и благоразумен, чтобы проводить время в обществе столь мирских монахинь. И вот он взялся нас учить, а мы – учиться. А когда он уехал двадцать месяцев спустя, леса уже были возведены, и я стала сама покрывать стены штукатуркой, а Плаутилла – толочь и смешивать для меня краски. Пройдет еще совсем немного времени – и она начнет помогать мне с росписями. По мере того как часовня заселялась святыми и грешниками, рассказы епископа об иноземных гениях все больше разжигали мое любопытство. Он приезжал из Рима и хотя

ничего не мог поведать о моем художнике, зато всю превозносил величие этого города, превзошедшего в любви к искусству саму Флоренцию. Он рассказывал, что во многом слава Рима держится на даровании строптивного молодого флорентийца – художника, обладающего столь великим даром Божиим, что даже Папа бессилен приказывать ему. Последним произведением, которое заказал ему родной город, стала гигантская статуя Давида, высеченная из цельной глыбы мрамора, – образ столь величественный и исполненный такой мужественной человечности, что беднякам флорентийцам, покоренным его красотой, пришлось разбирать арки и разрушать дома, чтобы перевезти статую из мастерской на главную площадь города. Теперь, говорил епископ, она стоит перед входом во Дворец Синьории, и готовность Давида сокрушить Голиафа служит постоянным предостережением всем, кто осмелился бы впредь покуситься на Флорентийскую республику. Величавые пропорции этого каменного тела очаровывали каждого, кто его видел, однако иные люди, продолжал епископ, с не меньшей теплотой отзывались о другой, гораздо более ранней работе этого мастера, которую он выполнил еще подростком. Это было распятие в человеческий рост из белого кедра, хранившееся в церкви Санто Спирито: тело Иисуса казалось таким юным и совершенным, что у всех, кто его видел, на глазах проступали слезы.

Так, спустя много лет, я наконец услышала имя Микеланджело Буонарроти и подивилась тому, что судьба занесла и моего художника, и того, кто стал проклятием его жизни, в один город. Но хотя такие рассказы и подстегивали во мне интерес, я не позволяла им растравлять мне душу. Пускай поэты утверждают иное, но страсть угасает, если ее ничем не подпитывать. А может быть, это лишь новое доказательство Божьей милости ко мне: с тех пор, как родилась Плаутилла, Он избавил меня от тоски по тому, чем я не могла обладать. И подобно тому, как блекнут на солнце краски, постепенно поблекли мои воспоминания о художнике.

Им на смену пришло известное удовольствие, которое доставляли мне обряды и монастырские правила. Дни мои протекали просто: после пробуждения на рассвете и молитвы я проводила первые утренние часы, покрывая штукатуркой участок стены, который предстояло расписать в течение дня. Затем – утренняя трапеза: летом

мы ели холодное мясо с овощами, зимой – копченые окорока, пироги с пряностями и бульон. Поев, я наносила краски на стену, прежде чем штукатурка успевала высохнуть, а солнце – опуститься за окно: тогда моей кисти уже не хватало бы света. Если когда-то я мечтала посмотреть на мир, расстилавшийся за пределами дома, то теперь все мое внимание было сосредоточено на малом квадрате стены, влажном от штукатурки, который мне предстояло заполнить цветом и линией, весь смысл которых станет понятным лишь тогда, когда будет закончена вся фреска.

Так, спустя годы, Алессандра Чекки наконец научилась добродетели терпения, и когда каждый вечер, с наступлением сумерек, она откладывала кисти и проходила под сводами галерей, возвращаясь к себе в келью, пожалуй, всякий сказал бы, что она счастлива и спокойна.

И это ощущение сохранялось много лет – вплоть до весны 1512 года.

Роспись часовни была уже наполовину завершена, когда однажды, ближе к вечеру, мне сообщили, что ко мне пришел гость. Учитывая вольность нашего устава, гости посещали монахинь нередко – хотя обо мне нельзя было этого сказать. Мать навещала меня раз в два года, она гостила здесь по несколько недель, любуясь подросшей внучкой. Но с недавних пор зрение у нее стало ухудшаться, к тому же в последнее время она неотлучно находилась с отцом, который сделался немощным и совсем нелюдимым. В последний раз письмо от нее гонец привозил несколько месяцев назад. Луку наконец женили на девушке, крепкой как вол, которая принялась печь ему сыновей одного за другим, словно вознамерилась снарядить целый полк; Маурицио же, после смерти моей сестры взявший себе другую жену – с приданным побогаче, зато воспитанием похуже, – снова овдовел. От Томмазо и Кристофоро никаких известий не приходило. Они словно в воздухе растворились. Иногда я представляла себе, как они живут на окраине какого-нибудь городка, на изысканной вилле, словно двое бойцов, уцелевших в жестокой войне, окружая нежной заботой тело и душу друг друга – до тех пор, пока одного из них не настигнет смерть. И все эти годы я не слышала никаких вестей, которые развеяли бы эти мои фантазии.

Итак, ко мне пришел гость.

Я попросила провести его в библиотеку, где помещалось наше небольшое, но достойное собрание книг и рукописей как светского, так и духовного содержания, и сообщить ему, что я приду чуть позже, когда отмою от краски руки и кисти. Я и позабыла, что там, за письменным столом в библиотеке, уже сидит Плаутилла, трудясь над иллюстрациями для недавно переписанной псалтыри, так что когда я тихонько отворила дверь, то увидела их прежде, чем они – меня. Они сидели рядышком за столом, омываемые медовым светом позднего, уже предзакатного солнца.

– Теперь видишь? Так линия выходит тоньше, – говорил он, отдавая ей перо.

Она мгновенье глядела на бумагу.

– А кто вы?

– Я старый друг твоей матушки. Ты часто иллюстрируешь Священное Писание?

Плаутилла повела плечами. Хотя с тем молодым художником, что обучал нас, ей удавалось беседовать вполне непринужденно, она по-прежнему робела мужчин. Совсем как я в ее возрасте.

– Я спрашиваю об этом, потому что у тебя живое перо. Я даже думаю, что такое ловкое владение им порой должно отвлекать тебя от самих слов.

Я услышала, как моя дочь цокает языком: эту ужимку, означавшую сдерживаемую досаду, она переняла у Эрилы.

– Ах, да как же вы можете так думать! Ведь чем лучше получается изображение, тем ближе оно подводит молящегося к Христу. Напишите имя Господа нашего, потом изобразите рядом Его самого и скажите: что рождает больше чувства – слово или образ?

– Не знаю. Разумно ли задаваться таким вопросом?

– О, еще как разумно! Человек, который сказал это, – очень мудрый художник. Вы, наверное, его не знаете – он прославился совсем недавно. Его зовут Леонардо да Винчи.

Художник рассмеялся:

– Леонардо? Никогда про него не слышал. А откуда ты знаешь, что говорит этот Леонардо?

Плаутилла поглядела на него серьезным взглядом:

– Мы здесь не настолько отрезаны от мира, как может показаться. А среди новостей всегда есть действительно важные. А откуда вы?

– Он из Рима, – сказала я, выступая из сумрака навстречу их медовому свету. – А до того побывал во Флоренции и в монастыре на самом берегу моря, где зимы такие холодные, что ресницы покрываются инеем, а на носу повисают сосульки.

Он обернулся, и мы поглядели друг на друга. Я бы узнала его сразу – и в этом модном наряде, и без него. Он был теперь куда крепче телом – от юной худобы не осталось и следа. И красив – теперь это было очевидно; впрочем, наверное, еще и потому, что он сам это признавал. Уверенность в себе – опасная вещь: если ее недостает – ты пропал, если ее чересчур много – из нее проистекают другие грехи.

А я? Что увидел он в монахине, которая предстала перед ним в рясе, запачканной краской, с лицом, потным от сосредоточенной работы? Фигура моя не переменилась. Я была по-прежнему

нескладной, по-прежнему смахивала на жирафа, хотя рядом с ним, таким высоким, я всегда забывала о собственном росте. В остальном... что ж, хотя в ту пору в нашем монастыре и имелись запретные ныне зеркала, я давно перестала в них глядеться. Было даже приятно отказаться от всех этих искушающих прихорашиваний и охорашиваний. За годы, проведенные в монастыре, наши кокетки иногда склоняли меня к своего рода обмену мастерством, и я украсила полдюжины келий благочестивыми росписями – в обмен на одежду лучшего покроя или притирания для кожи. Но в мои намерения никогда не входило никого прельщать. Мои пальцы привыкли к мужскому труду – и работая с кистью, и – порой – наведываясь в мои собственные кущи (как поэтически выражалась Эрила). В результате я незаметно для самой себя превратилась из девушки в зрелую женщину.

– Матушка!

– Плаутилла!

Она глядела теперь во все глаза на нас обоих. Теперь в комнате сияли две пары кошачьих глаз. У меня даже голова закружилась. Я легонько коснулась головы дочери:

– Почему бы тебе не прерваться, дитя мое? Сейчас такое чудесное освещение – ступай в сад, попробуй запечатлеть дела Божьи в природе.

– Но я уже устала рисовать!

– Тогда полежи на солнышке, пускай его лучи позолотят тебе волосы.

– Правда? Можно?

Боясь, как бы я не передумала, она быстро собралась и вышла из библиотеки. Провожая ее взглядом, я вновь увидела перед собой ее тетку, торопливо расплетавшую такие же пышные каштановые косы, чтобы скорей выбежать из комнаты и оставить меня наедине с матерью, – и как потом мы в воцарившейся тишине повели тяжелый разговор о брачных делах. Сколько времени уже миновало – а то мгновенье запечатлелось в моей памяти так ярко, словно все это было вчера.

Мы стояли молча, и между нами сразу словно пролегло полжизни.

– Какая у нее уверенная линия, – сказал он наконец. – Ты неплохо ее обучила.

– Дело не в выучке. Она уже родилась с твердой рукой и верным глазом.

– Как у матери?

– Скорее как у отца, хоть я и сомневаюсь, что его первые наставники сейчас узнали бы его в столь суетном наряде.

Он откинул край плаща, показав мне ярко-красную подкладку:

– Тебе не нравится? Я пожала плечами;

– На отцовских складах я видела ткани и получше. Но это было очень давно, в ту пору, когда художника гораздо больше заботил цвет его красок, нежели собственной одежды.

Он слегка улыбнулся, как будто мой язвительный язык порадовал его. Плащ снова запахнулся.

– Как же ты нашел нас?

– Это оказалось нелегко, Я много раз писал твоему отцу, но он так и не ответил. Три года назад я поехал во Флоренцию и зашел в твой дом, но там никого не оказалось, а слуги были мне незнакомы и не стали мне ничего рассказывать. А потом, этой зимой, я провел вечер в обществе некоего епископа, который хвастался, что в одном из его монастырей есть монахиня, которая сама расписывает часовню, а помогает ей в этом родная дочь.

– Понятно. Что ж, я рада, что римская жизнь позволяет тебе участвовать в пирушках с такими собутыльниками, хотя я надеялась, что художник, которого я некогда знавала, добьется большего, чем знакомство с людьми вроде епископа Сальветти. Впрочем, если вино лилось достаточно щедро, ты, наверное, даже не запомнил его имени.

– Почему же, запомнил. Но еще лучше мне запомнился тот трепет, с которым я слушал его рассказ, – ответил он ровным тоном, угадав за моими колкостями лишь поспешную защиту от нахлынувшего чувства. – Я так долго искал вас обеих, Алессандра.

Я ощутила, что вся горю. Эрила права: женщинам не следует забывать о мужчинах. Иначе они оказываются уязвимы, когда те возвращаются.

Я покачала головой:

– Все это было целую жизнь назад. Могу поспорить, мы с тех пор сильно изменились.

– Я не вижу в тебе особых перемен, – сказал он нежно. – Твои пальцы так же перепачканы, как и всегда.

Я поспешно поджала пальцы – по детской привычке.

– А вот твой язык стал куда медоточивее. – Голос мой все еще звучал строго. – Куда, скажи на милость, подевалась твоя прежняя робость?

– Моя робость? – И он на секунду умолк. – Часть моей робости покинула меня во время того сошествия во ад, что я совершил за несколько недель в часовне. Еще часть оставила меня в тюрьме Барджелло. А остатки я держу под замком. Рим – город не для робких и не для не уверенных в себе. Хотя уж тебе-то не стоит судить меня по одежке. Когда я был совсем юн, мне повстречалась девушка, у которой были и богатые наряды, и острый язычок. И все же душа у нее оказалась куда шире и добрее, чем у многих, кто рядится в одежды святых.

И страстность, с которой он это говорил, затронула струны моей души. Я почувствовала, как внутри меня шевельнулось что-то знакомое, но такое давнее, что я уже сама не понимала, радость это или страх.

Дверь отворилась, в нее просунулось румяное лицо молодой монашенки. Она совсем недавно прибыла к нам из Венеции, где родителям никак не удавалось удержать ее дома по ночам, и еще не успела у нас пообвыкнуться. Увидев нас вместе, она хихикнула. Когда девчонка убежала, все еще усмехаясь, художник спросил:

– А есть в твоём монастыре такое место, где нам никто не будет мешать?

Когда дверь за нами закрылась, моя келья, которая прежде была достаточно просторной, чтобы вмещать всю мою жизнь, вдруг показалась мне совсем тесной. Над моей постелью висел полноразмерный эскиз Рождества Богородицы: облик очаровательно-пухлого малютки был заимствован с сотен набросков нашей дочери. Я наблюдала, как его лицо расплывается в улыбке.

– Она и в твоей часовне есть? Я пожала плечами:

– Это всего лишь набросок.

– И все же они такие живые. Как женщина с ребенком в Рождестве Богородицы Гирландайо. Я снова зашел в ту капеллу, когда в последний раз был во Флоренции. Пожалуй, это лучшая живописная работа, какую я только видел.

– Правда? – сказала я. – А вот наш епископ другого мнения. Он все время превозносит новый римский стиль.

Он покачал головой:

– Я не уверен, что тебе сейчас понравилось бы искусство Рима. Оно сделалось в последнее время слишком... плотским.

– Человек не менее важен, чем Бог, – сказала я, вспомнив недавние ночные беседы с нашей ученой монахиней.

– В руках некоторых художников – да.

– А в твоих?

Он отошел от меня к окну. По крытой галерее стайка молодых монахинь шла гуськом к вечерне, и их смех мешался со звоном колоколов.

– Порой трудно бывает плыть против течения. – Он повернулся и посмотрел на меня. – Пожалуй, нелишне сообщить, что я явился к тебе, надев свои лучшие одежды.

Мы стояли и глядели друг на друга. Нам столько нужно было сказать друг другу. Но мне вдруг стало трудно дышать. Словно в келье кто-то разжег костер и в нем выгорел весь воздух.

– А я думаю, нелишне тебе сообщить... – тут я помедлила, – нелишне тебе сообщить, что теперь я посвятила себя Богу, – договорила я твердо. – И что Он простил мне прежние грехи.

Он взглянул мне прямо в глаза, и взгляд его кошачьих глаз был на этот раз серьезен.

– Понимаю. Я тоже достиг мира с Богом, Алессандра. Но не было ни единого дня в этой мирной жизни, чтобы я не думал о тебе.

Он сделал шаг в мою сторону. Вместо ответа я замотала головой. Я так привыкла к своей самодостаточности, что теперь было больно в один миг лишаться ее.

– У меня ребенок. И алтарь, который мне нужно расписывать, – яростно возразила я. – У меня нет теперь времени на подобные вещи.

Но, пока я это произносила, во мне уже проснулась прежняя Алессандра. Я увидела шевельнувшееся в ней желание – словно дракон приподнимает голову, пробуждаясь от долгой дремоты, нюхает воздух и ощущает в животе напор огня и мощи. Художник тоже это почувствовал. Мы стояли так близко друг к другу, что его дыхание оевало меня со всех сторон. Пахло от него приятнее, чем раньше, несмотря на дорожную пыль. Когда-то давно смелой была я, а его сковывал страх.

Теперь наступил его черед. Он взял меня за руку и сплел свои пальцы с моими. Наши перепачканные красками руки соединились, как соединяются краски в единую палитру. Нас всегда влекло друг к другу – даже в ту пору, когда мы ничего не знали о желании. Я сделала последнюю попытку.

– Мне страшно, – вырвалось у меня помимо воли. – Я совсем по-другому жила последние годы, и теперь мне страшно.

– Понимаю. Ты забываешь, что и мне в свое время было страшно. – Он притянул меня к себе и стал нежно целовать, посасывая мою нижнюю губу, и язык его скользнул внутрь, призывая меня к игре. И оказался таким теплым, что мне сразу все вспомнилось, хотя мы были тогда почти детьми... Он оторвался от меня. – Но теперь я не боюсь. – И его улыбка осветила оба наши лица. – Ты даже представить себе не можешь, как долго я ждал этого мгновенья, Алессандра Чекки.

Он медленно раздел меня, одно за другим снимая с меня одеяния и всякий раз разглядывая меня заново, пока, наконец, на мне не осталось даже сорочки, и я предстала перед ним нагая. Больше всего я стеснялась своих стриженных волос, которые когда-то составляли мою городость, но теперь уже не могли упасть мне на спину рекой черной лавы. Но, когда плат был снят, короткие непослушные волосы вырвались на волю, как жесткая трава, и он провел по ним рукой, игриво взъерошив их, словно увидев в них красоту и великую радость.

Я слышала рассказы о том, что некоторые мужчины мечтают овладеть монахиней. Конечно, это тягчайший грех – прелюбодеяние, таящее в себе вызов Богу. Можно предположить, что именно в этом страшном вызове Господу любители острых ощущений находят особое удовольствие, так что им обычно нужно опьянить себя войной или вином, прежде чем решиться на такое. Но мой художник был не из числа подобных сладострастников. Он опьянялся только нежностью.

Он положил руку между моих ног, проведя черту по внутренней стороне бедер, просунул палец в мою ложбину, поиграл с набухшими складками, которые нащупал там, и взгляд его был так же смел, как и прикосновения: он смотрел на меня неотрывно, постоянно изучая. Потом он снова поцеловал меня, а оторвавшись, принялся повторять снова и снова мое имя. И все это время я дивилась тому, как мужчина, некогда столь неловкий и застенчивый, сумел сделаться таким уверенным и умелым.

– С каких это пор ты стал таким искушенным в любовных делах?

– С тех пор, как ты отослала меня прочь, – ответил он нежно и вновь поцеловал меня, накрыв мои веки своими губами. – А теперь прекрати думать, – прошептал он мне на ухо. – Хоть раз усмири свой неумный блестящий ум.

Он лег рядом со мной и, ни на миг не сводя с меня глаз, бережно и в то же самое время настойчиво стал проникать пальцами в сокровенные глубины моего лона, и постепенно во мне начали играть сладкие соки. В тот вечер он показал мне много такого, о чем я и не догадывалась: он потчевал меня радостями страсти, диковинками желания. Больше всего мне запомнилось прикосновение его языка – будто ласковая кошечка быстро-быстро лакала молоко. Всякий раз, как я испускала стон, он поднимал голову и проверял, с ним ли я, и глаза его блестели так, словно еще миг – и он рассмеется.

Я не раз слышала, что в раю Божий свет преобразует даже самую субстанцию материи, так что сквозь твердые предметы можно видеть то, что находится за ними. И в ту ночь, пока свет переходил в сумерки, мне показалось, что я начинаю видеть сквозь его тело самую его душу. Хотя Эрила, наверное, предпочла бы свое любимое музыкальное сравнение и сказала бы, что наконец-то, спустя столько лет, мне удалось услышать сладость верхней лютневой струны.

Узнав о таланте художника, мать настоятельница разрешила ему ненадолго остаться у нас. И вот, обучая меня по ночам искусству плотскому, днем он наставлял меня в мастерстве живописи. Находя ошибки в сделанной мною росписи часовни, он как мог исправлял их, а там, где видел точность без огня (а таких изображений у меня было много), он одним касанием кисти добавлял искорку жизни. Я понимала, что он видит одни недостатки – впрочем, он на них не задерживался.

А когда он был не со мной, то проводил время с Плаутиллой, и под его опекой ее душа расцветала. Я видела, как его знания разжигают и в ней любопытство, как в беседах об искусстве они понимают друг друга все лучше.

И чем больше времени они проводили вместе, тем больше я утверждалась в мысли, что мне делать дальше.

Даже не появившись он, Плаутилла рано или поздно покинула бы меня. Я всегда это понимала. Даже в самом снисходительном из

монастырей ей бы не позволили жить до бесконечности, не принимая обета, а этого я ни за что бы не допустила. Перед ней расстилалось слишком большое будущее, чтобы запереть ее в монастырских стенах, а я больше ничему не могла научить нашу дочь. Ей было почти четырнадцать – в этом возрасте молодому дарованию необходимо найти учителя, чтобы оно могло расцвести. Коль скоро Учелло наставлял в своей мастерской родную дочь, значит, и он сумеет. А если и есть город, где на общепринятые правила смотрят сквозь пальцы и где может найти себе приют странствующая юная художница, то именно таким городом в ту пору был Рим. Остальное будет зависеть от нее самой.

Было решено, что они уедут до наступления самой страшной летней жары. Разумеется, когда я сказала об этом Плаутилле, она пришла в отчаяние и ужас и вначале наотрез отказалась уезжать. Я разговаривала с ней мягко, памятуя о том, как суровость моей матери всегда лишь делала меня еще более упрямой. Когда все мои уговоры так и не помогли, я рассказала ей историю про молодую женщину, которая столь страстно мечтала о живописи, что это завело ее на путь греха, и теперь величайшее желание в ее жизни – дать своей дочери то, чего не выпало на долю ей самой. Выслушав мой рассказ, Плаутилла наконец согласилась покинуть меня. Она оказалась, как я теперь понимаю, покладистой меня. Но не стоит сейчас задумываться о том, что именно мое бунтарство и определило ход моей жизни.

В ее дорожный сундук, вместе со своими надеждами и мечтами, я уложила и манускрипт, бережно укутанный в бархат. Мне он больше не был нужен, да и сам он заслуживал лучшей участи, нежели гнить в сыром кассоне стареющей монахини. Перед тем как я в последний раз упаковала иллюстрации, художник долго любовался ими. Наблюдая, как его пальцы благоговейно скользят по тонким штрихам, я поняла, что он будет заботиться об этой рукописи не менее бережно, чем я, и таким образом она не затеряется для истории.

В ночь перед их отъездом мы лежали с ним на моей жесткой постели, и наши липкие тела вбирали в себя летний зной. Мы были томными и сонными от усталости, накатившей вослед утоленному желанию. Он окунул пальцы в миску с водой и прочертил холодную влажную линию от кисти моей руки до плеча, затем продолжил ее по моей груди, а потом провел пальцем по другой руке, нежно остановившись на запястье, где до сих пор виднелся тонкий белый шрам.

– Расскажи мне еще раз, – тихо попросил он.

– Ты же слышал эту историю десятки раз, – передернула я плечами. – Нож соскользнул и...

– И ты решила раскрасить себе тело собственной кровью. – Он улыбнулся. – А где ты раскрашивала? Здесь? – Он дотронулся до моего плеча. – Потом здесь? – Его палец опустился мне на грудь. – А потом вот тут? – И палец двинулся по животу к моему лону.

– Нет! На такое даже у меня не хватило бы фантазии.

– Не верю, – возразил он. – А ведь это, должно быть, неплохо смотрелось: алое на фоне твоей смуглой кожи. Хотя есть и другие цвета, которые пошли бы тебе не меньше...

Я улыбнулась и оставила его руку лежать там, куда она добралась. Завтра я надену рясу, вернусь в часовню и вновь стану монахиней. Завтра.

– Если б ты только знала, сколько раз я рисовал твое тело в воображении...

– Один раз ты действительно изобразил меня – на потолке часовни.

Он покачал головой:

– С тебя никогда не удавалось написать Мадонну. У тебя всегда был чересчур смелый взгляд. Как ты думаешь, почему я так долго тебя боялся? Ты же всегда была Евой. Впрочем, с твоим умом змий вряд ли бы совладал.

– Наверное, все зависит от того, чье лицо у змия, – ответила я.

– А, значит, ты по-прежнему не веришь, что у змия было женское лицо? По-прежнему споришь с Мазолино?

Я пожала плечами.

– Я думаю, – сказала я и улыбнулась, видя, как его губы беззвучно повторяют одновременно со мной, – я думаю, что Священное Писание не дает никаких оснований для подобной трактовки. Впрочем, я хотела бы увидеть художника достаточно смелого, чтобы его оспорить.

Так в нашу последнюю ночь к нам в постели присоединился змий. И хотя я признаю: то, что мы делали, является настоящим богохульством, я ничуть о нем не жалею, ведь под его кистью выросло непокорное зелено-серебристое тело, которое извивалось по моим грудям, затем опускалось по животу, а потом исчезало в моей тайной поросли, и там, посреди самой чащобы, он изобразил тончайшие контуры своего собственного лица. И пока он работал, я вновь переживала давний миг одиночества и восторга, когда я любовалась телом попрошайки, медлительной похотью его мышц, играющих под блестящей кожей.

На следующее утро я поднялась с постели, скрыв чудесную живопись, которой было украшено теперь мое тело, под рясой, и проводила моего любовника и нашу дочь.

Но я потратила столько сил, убеждая Плаутилле отправиться в путь, что у меня совсем не осталось их на то, чтобы утешиться самой. В дни, последовавшие за их отъездом, на меня, словно болезнь, навалилась тоска, окутавшая меня жгучим холодом одиночества, и чем большее расстояние отделяло меня от моих любимых, тем больше мне делалось, как будто это не мили, а мои собственные внутренности раскручивались и растягивались вдоль дороги.

Когда-то я обвиняла своего возлюбленного в грехе уныния. А теперь сама поддалась ему. Моя часовня оставалась нетронутой, житие Девы Марии было едва начато. Ночами я лежала в постели, по извивам змеиного тела воскрешая память о некогда владевшем мною желании. Но лето уже раскалилось до предела, а зной принес с собой ночную испарину, пыль и грязь, и вскоре блестящие краски стали тускнеть, совсем как богатые ткани моего отца, выставленные на солнце. А вместе с ними начал угасать и мой дух.

Некоторое время мать настоятельница потакала моей слабости, но дело стояло, и она стала терять терпение. В конце концов меня выручила Эрила, хотя я уже начинала бояться, что и она оставила меня. Путь до Флоренции из Лоро-Чуфенна неблизкий, а красильщики

из окрестностей монастыря Санта Кроче – гильдия замкнутая, так что, даже когда она добралась до убогих улочек у реки, где их хлипкие мастерские сверкали иглами и крадеными красками, они вовсе не изъявили желания раскрывать свои секреты какой-то незнакомке. Впрочем, никто не умел долго противиться Эриле. А того попрошайки, сообщила она потом, давно и след простыл.

Она вернулась однажды вечером, в час, когда освещение всего красивее, и открыла маленький кожаный ларец, выложив на полу возле моего тюфяка его содержимое: лекарства, мази, тряпицы, иглы, скребки и множество маленьких бутылочек. Цвета внутри каждого флакона казались тусклыми и грязноватыми, по густоте это были скорее чернила, чем краски. Лишь когда в коже были сделаны проколы и надрезы и краситель просачивался внутрь, в одну крошечную ранку за другой, проявлялась вся его яркость. О, какие же это были изумительные оттенки: свежие и яростные, словно первые мазки Господней кисти, творившей сады Эдема! При виде того, как они смешивались с каплями моей крови, во мне, кажется, зажглось прежнее пламя. В ту первую ночь мы работали при свечах, и к рассветному часу у меня на плече самый кончик змеиного хвоста засверкал прежними красками, а тело мое изнемогало от наслаждения, которое доставляла ему неизбежная боль.

День за днем работа у нас шла все быстрее, а я делалась все жизнерадостнее. Змея становилась под нашими пальцами все более соблазнительной, а мы учились все искусней владеть иглой и определять на глаз, сколько маленьких уколов нужно сделать, чтобы расцветить очередной участок мускулистого змеиного тела. Когда змея перекатилась по моим грудям и сладострастно опустилась мне на живот, я уже смогла сама взяться за иголку. И так получилось, что, дойдя до того места, где прятались поблекшие очертания лица моего возлюбленного, я уже трудилась одна, и было некое сладостное очищение в жестокости моей иглы, когда я дорисовывала язычок, взметнувшийся из его рта навстречу моему лону. Так ко мне возвратилось желание жить, и я вновь приступила к росписи алтарных стен.

Наступили беспокойные времена. Весной следующего года умер мой отец: его нашли на привычном месте в кабинете, а перед ним

лежали счета и конторские книги. Управление домом взял на себя Лука, а матушка удалилась в один из городских монастырей, где принесла обет молчания. В своем последнем письме она желала, чтобы на меня снизошла милость Божья, и увещевала меня исповедаться в своих грехах, как она исповедалась в своих.

Тем временем в ее любимой Флоренции разгромленная Республика вновь приняла Медичи после десятилетий ссылки. Но Джованни Медичи, ныне Папа Лев X, оказался лишь бледной тенью своего просвещеннейшего отца. Толстый увалень, мой единокровный брат – именно так, сколь это ни поразительно, – угодил в самое горнило низкопоклонства и безрассудного расточительства. Под новым понтификатом Рим сделался таким же дряблым и жирным. Даже его искусство ожирело. В письмах от моего возлюбленного говорилось о молодой художнице, своим мастерством обещающей вскоре сравняться с мужчинами, но рассказывалось в них и о городе, который заживо разлагался, о пирах, тянувшихся едва ли не сутками, об их устроителях, настолько богатых, что после каждой перемены блюд они швыряли серебряную посуду в Тибр (впрочем, ходили слухи, что потом они приказывали слугам выуживать ее со дна).

На следующий год мой художник с нашей дочерью покинули Рим и направились во Францию. В прошлом он уже получал приглашения из Парижа и из Лондона – городов, где новая ученость пребывала еще во младенчестве и где художникам, державшимся старого стиля, легче было найти покровителей. И вот, взяв с собой кисти и манускрипт, они пустились в дорогу. Я прослеживала их путь по карте, которую моя ученая подруга-монахиня раздобыла мне у одного миланского картографа. Их корабль причалил к берегу в Марселе, откуда они направились в Париж. Однако приглашение не оправдало надежд и не обернулось щедрыми заказами, так что в конце концов, чтобы прокормиться, им пришлось продать часть рукописи «Божественной комедии». Так они странствовали по Европе, но в их письмах говорилось о растущей неприязни к господствующей церкви и ее – как считали некоторые – идолопоклонному искусству. Наконец они достигли пределов Англии, где молодой король, возвращенный на идеалах нашего искусства, привечал художников, желая прославить свой двор. Первые несколько лет они писали мне, рассказывая о народе, вечно мокнущем под дождем, о его грубом языке и еще более

грубых ухватках. И я невольно вспоминала о монастыре, взрастившем художника, и удивлялась поворотам судьбы, вновь забросившей его в края, где господствует серый цвет. Но потом письма перестали приходить, и вот уже несколько лет как я ничего о них не знаю.

Но у меня почти не оставалось времени на то, чтобы скорбеть. Вскоре после того, как росписи в часовне были завершены, на нас ополчилась Церковь. Наш образ жизни казался недопустимым даже по меркам тогдашних весьма вольных нравов. Мы понимали, что рано или поздно слухи о нас достигнут неблагосклонных ушей. Старый епископ скончался, а человек, назначенный на его место, был скроен из куда более грубой материи, и по его пятам явились церковные ревизоры, которые видели козни дьявола буквально во всем: в фасоне наших ряс, в душистых покрывалах в наших кельях, в большинстве книг, стоявших у нас на полках. И лишь мой алтарь избежал их испытующего взгляда, ибо к той поре человечность подобного искусства уже сделалась вполне привычной. Мой алтарь – и мое тело. Но это уже дело наше с Господом Богом.

Те из нас, кто уже проходил через нечто подобное раньше, приняли все это спокойно. Мы понимали, что бороться бесполезно. Соппротивление немногих было сломлено – их перевели в другие монастыри. Все оказалось не так страшно. Мы расстались с нашей сочинительницей, с большинством наших швей и цирюльниц, но ученая монахиня осталась, хотя ее библиотека и поредела. Привезли нам и новую настоятельницу – чистую, непреклонную. Бог, живший в ее душе, оказался куда взыскательнее нашего Бога. Когда работа над часовней была окончена, у меня обнаружился сильный голос, красиво звучащий на вечерне, а свои странности я спрятала за молитвенником. Такая уступчивость всех устраивала, к тому же я была чересчур стара и ни для кого не представляла угрозы. Разумеется, я лишилась всех материалов, необходимых для занятий живписью. Зато мне оставили перья, и я взялась писать историю моей жизни, и некоторое время это спасало меня от одиночества и скуки, воцарившейся с установлением нового порядка.

Моей величайшей утратой стала Эрила. Разумеется, в этом строгом новом мире не было места для ее бойкого своевольства. Чтобы остаться в монастыре, ей пришлось бы вновь взять на себя те обязанности прислуги, которые всегда были ей не по нраву, к тому же

она уже постепенно вросла в мирскую жизнь. С моей помощью и благодаря собственным сбережениям она обосновалась в аптекарской лавке в ближайшем городке. Это тихое место еще никогда не знавало такой неукротимой женщины, и конечно же сразу нашлись такие, кто счел ее колдуньей, практикующей, как это ни забавно, более белую, нежели черную магию. Но вскоре жители городка уже привыкли во всем полагаться на ее советы и снадобья – точно так же, как прежде наши монахини. Так Эрила добилась какого-никакого положения в обществе. Мы с ней вместе смеемся над этим, когда ей бывает позволено навещать меня; порой жизнь готовит самые причудливые концовки человеческим судьбам.

Я закончила эту рукопись два месяца назад и тогда же решила, как мне быть дальше. Дело даже не в том, что я страдаю – теперь воспоминания о прошлом ослабли так же, как мои глаза, – а скорее в том, что годы раскатываются передо мной, как тонкое тесто, и мне невыносима мысль об этой суровой бесконечности, о долгом и медлительном соскальзывании в дряхлость. Приняв решение, я конечно же обратилась к Эриле за помощью. В последний раз. Опухоль была ее выдумкой. Она несколько раз видела их вблизи – страшные образования, жестоко и таинственно выраставшие прямо из-под кожи. У женщин они особенно часто появляются на груди. Они растут и внутри, и на поверхности, глубоко въедаясь в жизненно важные органы до тех пор, пока человек не начинает захлебываться в муках собственного разложения. Такие опухоли не поддаются лечению, и даже так называемые врачи страшатся их. Говорят, что те, кого поразила эта болезнь, скрываются от людей, как раненые звери, которые воют от боли в темноту, ожидая смерти.

Со свиным пузырем тоже было неплохо придумано: мне пришлось лишь наведаться на кухню, пока все были на молитве. Эрила помогла мне наполнить его и прикрепить к груди, а также снабдила меня порошками и мазями, с помощью которых можно изредка вызывать рвоту или жар – чтобы сделать мою болезнь явной для других. И именно она, когда потребуется, принесет мне яд – вытяжку корней одного из лекарственных растений, которые она выращивает у себя в огороде. Он причинит мне боль, говорит Эрила, и за быстроту его действия она не может поручиться, зато в исходе можно не

сомневаться. Остается лишь один вопрос: что сделают с моим телом после смерти. В нашем монастыре опять сменилась настоятельница – теперь это последняя свидетельница его прежних дней, та самая ученая монахиня, которая за истекшие годы сумела понять, что ее подлинное призвание – иночество. Разумеется, я не могу рассказать ей обо всем, но я попросила ее о единственном одолжении: не прикасаться к моему телу и не снимать с него одежды. Я не собираюсь подвергнуть сомнению заведенные ею правила. Я слишком люблю и уважаю ее. А поскольку она это знает и отчасти помнит о моих былых проступках, то она не стала задавать больше никаких вопросов, а просто согласилась.

Вас, наверное, удивляет выбранная мною смерть? А как же грех самоубийства и полная невозможность Божьего прощения?

Я тоже много думала об этом.

Прежде чем расстаться с иллюстрированным манускриптом, я долго рассматривала эти густо заселенные круги ада. Да, самоубийство – тяжкий грех. Пожалуй, самый тяжкий. Но в том, как описывает его Данте, я усматриваю чуть ли не утешение. За каждый грех – подобающая кара: так, те, кто пожелал покинуть этот мир раньше времени, в аду оказываются навеки сплетенными с ним. Души самоубийц уходят корнями глубоко в землю, они вотканы в тела деревьев, их окаянные ветви и стволы служат живой пищей всевозможным гарпиям и хищным птицам. В середине той песни Данте рассказывает о том, как свора псов, что гонится за грешниками, врывается в чащу и на бегу растерзывает в щепки небольшое деревце, и его душа жалобно кричит им вослед, умоляя собрать и вернуть ему листья.

Травля собаками! Я всегда так ненавидела легенду об Онести – не оттого ли, что мне было суждено разделить участь ее героини? Но меня ждет не одна только боль. Я хорошо усвоила географию Дантова ада. Лес самоубийц расположен недалеко от огненной пустыни, где казнятся содомиты. Иногда они пробегают мимо, стряхивая пламя, которое вечно терзает их обожженные тела, и, как рассказывает Данте, порой останавливаются и беседуют с другими проклятыми душами об искусстве, о книгах и о тех грехах, за которые все мы осуждены. Мне по душе такое будущее.

Я уже простилась с миром. Однажды среди дня я сняла с головы плат и, подставив лицо солнцу, улеглась в саду на земле, возле смоковницы, которую мы посадили вскоре после прибытия в монастырь; по ее росту мы мерили и рост Плаутилы. Я даже не удосужилась пошевелиться, когда меня застала там молодая монахиня – и она убежала прочь, вереща что-то о моем «проступке». Что они обо мне знают? Жизнь прошла уже так давно, а старые монахини так неприметны. Они шаркают ногами, улыбаются водянистыми глазами и бормочут что-то над кашей и над молитвенниками: всему этому я научилась превосходно подражать. Они и понятия не имеют, кто я такая. Большинство из них, распевая в часовне, даже не подозревают, что именно мои пальцы покрыли ее стены сверкающими росписями.

И вот я сижу в своей келье и жду Эрилу, которая придет ко мне сегодня вечером, чтобы принести снадобье и навсегда проститься. Эту рукопись я вверю ей. Она давно уже не рабыня и вольна распоряжаться остатком своей жизни так, как ей заблагорассудится. Единственное, о чем я ее попросила, – это доставить рукопись по последнему адресу, с которого приходили письма от моего возлюбленного и нашей дочери, – в той части города, что называется Чипсайд. Обе мы помним, что мой отец никогда не выпустил бы из рук ни одного сколько-нибудь ценного документа или договора, не имея копии или уведомления от своего агента о получении, но даже и в последнем случае он, наверное, застраховался бы от случайной пропажи. С недавних пор Эрила заговорила о желании путешествовать с такой страстью, которая знакома, пожалуй, только тем, кому суждено умереть на чужбине. Если кто и сумеет разыскать мою дочь, то только она. А я больше ничего не могу сделать.

Ночь опускается жарким и влажным покрывалом. Когда Эрила уйдет, я быстро проглочу яд. В согласии с пожеланием матери, я приготовила свою исповедь, а за священником уже послали. Остается надеяться, что духом он окажется стоек и на язык сдержан.

Эпилог

Я еще кое о чем позабыла. О моей часовне. На нее ушло так много времени – в каком-то смысле она стала трудом всей моей жизни, – а я между тем сказала о ней так мало. Жития Девы Марии и Иоанна Крестителя. Те же сюжеты, что Доменико Гирландайо изобразил в алтаре Капеллы Маджоре в церкви Санта Мария Новелла, который мы с матушкой увидели, когда мне было всего десять лет. Тогда я впервые и поняла, что значит прикоснуться к истории, и если эти росписи стали ярчайшим флорентийским воспоминанием для моего художника, то то же самое я могу сказать и о себе. Потому что пускай есть лучшие живописцы и более великие достижения, но фрески Гирландайо повествуют не только о жизни святых, а еще и о славе и человечности нашего великого города, и именно это, по-моему, делает их необычайно правдивыми.

И потому, в духе той истины, которая некогда составляла сердцевину новой учености, я буду правдива.

Моя часовня прискорбно заурядна. Случись будущему знатоку нашего нового искусства набрести на нее, он лишь окинет ее мимолетным взглядом и пройдет дальше, отметив лишь дерзновения слабого художника, жившего в могучую эпоху. Да, там есть чувство цвета (оно меня никогда не покидало), и ткани порой струятся там как вода, и в некоторых лицах виден характер. Но сами композиции неуклюжи, а многие фигуры, несмотря на все мое тщание, остались застывшими и безжизненными. Если выказать в равной мере доброту и честность, то можно сказать, что это работа художницы-самоучки, которая старалась изо всех сил, и потому и ее достижения, и ее усердие заслуживают того, чтобы сохраниться в памяти людей.

Но если вам послышится в этих словах, сказанных старой женщиной под конец жизни, признание собственного поражения, то могу вас искренне разуверить: это вовсе не так.

Потому что, если рассматривать мою работу наряду со всеми прочими – со всеми свадебными панно, подносами ко дням рожденья, свадебными сундуками, фресками, алтарными картинами, которые были созданы в те головокружительные дни, когда мы изо всех сил старались приблизить Бога к человеку ... тогда вы, пожалуй,

воспримете ее в верном ключе – а именно как одинокий голос, затерявшийся в многоголосом людском хоре.

И звучание этого хора в целом таково, что мне делается радостно уже при одной мысли о том, что в нем пела и я.

От автора

Распятие из белого кедра Микеланджело пропало после вторжения Наполеона в Италию, и много лет о нем ничего не было известно. Его обнаружили лишь в 60-х годах XX века, установили авторство, недавно реставрировали, и теперь оно висит в ризнице церкви Санто Спирито на южном берегу реки. В юности Микеланджело также работал в качестве подмастерья при Доменико Гирландайо, помогая создавать фрески в Капелла Маджоре в церкви Санта Мария Новелла. Иллюстрации Боттичелли к «Божественной комедии» Данте исчезли из Италии вскоре после того, как были созданы, и лишь столетия спустя обнаружили в разных частях Европы. В 1501 году имя художника было названо в письме, брошенном в один из церковных ящиков для доносов, и он предстал перед Ночной Стражей по обвинению в содомии. Между учеными ведутся споры относительно того, было то обвинение клеветой или правдой.

Ночная Стража совершала свои обходы по Флоренции в течение всего XV века и позже, выискивая случаи содомии и иных непристойностей. За исключением периода религиозной диктатуры Савонаролы (1494–1498) контроль этих блюстителей нравственности был там значительно слабее, чем в других городах.

В начале XVI века, когда за невестами стали давать все более богатое приданое, из-за чего заметно возросло число незамужних женщин, в Северной Италии появилось несколько монастырей, где действовали необычайно вольные правила. Позже Церковь выявила нарушителей, и монастыри, признанные виновными, подверглись чисткам или были упразднены.

Примечания

1

Медичи – знаменитый род торговцев и банкиров (впоследствии представители его носили титул великих герцогов Тосканских), игравший важную роль в истории средневековой Италии и в течение трехсот лет (с перерывами) правивший во Флоренции. Свое огромное состояние Медичи щедро тратили на покровительство искусствам и наукам. Правление Лоренцо Медичи Великолепного стало эпохой наивысшего расцвета Флоренции. (Здесь и далее прим. перев.).

2

Не трогай... не трогай (лат.).

3

Синьория (приорат) – орган городского самоуправления в средневековой Италии.

4

Нарядный сундук-ларь, распространенный в Италии в средние века и в эпоху Возрождения; его стенки украшались позолотой, резьбой, живописью на светские сюжеты. Кассоне расписывали и крупнейшие художники XV века – Учелло, Боттичелли.

5

Бартоломео ди Джованни (1480–1510) – флорентийский художник, ученик Доменико Гирландайо.

6

См. «Декамерон» Боккаччо, VIII новеллу 5-го дня. Брачные покои в одном из флорентийских домов были расписаны Сандро Боттичелли, выбравшего именно этот жестокий сюжет.

Имеется в виду место из сочинения древнегреческого историка Фукидида («История», II, 35–46).

8

Савонарола Джироламо (1452–1498) – монах-доминиканец, настоятель монастыря Сан Марко, выступал против Медичи и обличал папство, призывал к аскетизму и отрицанию гуманистической культуры.

9

Иезекииль, 7:19.

10

Притчи, 4:14.

Притчи, 5:3–5.

12

Притчи, 1:23–28.

13

Узы мира (лат.).

Здесь и далее строки Данте цитируются в переводе М. Лозинского.

15

Старый рынок (ит.).

16

Имеется в виду флорентийский живописец Паоло Учелло (ок.1397–1475), чье имя означает по-итальянски «птица». Учеллино – уменьшительная форма от Учелло.

Народный язык, то есть итальянский (в противоположность литературному латинскому).

Восхвали (лат.).

19

Хвалите (лат.).

Лепешка из пресного теста для совершения причастия у католиков.

Содержание

[Сара Дюнан Рождение Венеры](#)

[Пролог](#)

[Завещание сестры Лукреции Монастырь Санта Вителла, Лоро-
Чуфенна, Август 1528 Часть первая](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

[19](#)

[Завещание сестры Лукреции Монастырь Санта Вителла, Лоро-
Чуфенна, Август 1528 Часть вторая](#)

[20](#)

[21](#)

[22](#)

[23](#)

[24](#)

[25](#)

[26](#)

[27](#)

[28](#)

[29](#)

[30](#)

[31](#)

[32](#)

[33](#)

[34](#)

[Завещание сестры Лукреции Монастырь Санта Вителла, Лоро-
Чуфенна, Август 1528 Часть третья](#)

[35](#)

[36](#)

[37](#)

[38](#)

[39](#)

[40](#)

[41](#)

[42](#)

[43](#)

[44](#)

[45](#)

[46](#)

[Завещание сестры Лукреции Монастырь Санта Вителла, Лоро-
Чуфенна, Август 1528 Часть четвертая](#)

[47](#)

[48](#)

[49](#)

[Эпилог](#)

[От автора](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20